

**Н.В. УСТЯЛОВ**

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ



**Н.В. Устрялов**

# НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ



*Избранные статьи 1920-1927 гг.*

*Редактор-составитель М.А.Колеров*



Издание книжного магазина «Циолковский»  
Москва  
2017



# **«Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Устрялова**

*Модест Колеров*

Трудно представить себе, кто ещё в России XX века пользовался таким громким влиянием на публичную политическую дискуссию и политическую борьбу в самых верхах власти, каким пользовался Николай Васильевич Устрялов (1890–1937), не будучи совершенно никем, кроме как просто «практическим философом» и публицистом, одиночкой, в чьи формулы решили вцепиться большевистские вожди Ленин, Бухарин, Троцкий, Сталин, нарицательное имя, жупел, от чьих формул шарахались вожди белой эмиграции. Когда настал этот интеллектуальный и властный триумф, Устрялову едва исполнилось тридцать лет. Когда триумф этот преодолел свой зенит, Устрялову едва исполнилось тридцать пять. Всё дальнейшее в его жизни было осознанной жертвой: причём в жертву, призванную подтвердить высшую ценность и искренность своей мысли, Устрялов принёс не только себя, вернувшись в Россию-СССР как раз накануне Большого террора, но и свою семью, последовавшую за ним.

Он заплатил своей жизнью, и тюремное фото Устрялова перед его расстрелом, кажется, говорит о его полном сознании. В его взгляде нет обычных для идущего на более чем вероятный расстрел растерянности и дискомфорта, хорошо знакомых по тюремным фото вчера ещё властвовавших советских интеллигентов и палачей. С тюремного фото Устрялова в вечность смотрит человек, по-прежнему имеющий идейную власть, хоть последние его сочинения, уже во внутрисоветской жизни, слабы, оппортунистичны и очень нехороши.

Это – власть поступка. Может быть, власть личной победы русского интеллигента тогда, когда «сдача и гибель советского интеллигента» начала звучать как едва ли не законный художественный жест.

Но надо сразу сказать: вожди Советской России вовсе не были очарованы сочинениями Устрялова, они отнюдь не торопились признать его влияние и особую действительную идейную власть. Они сами создали и прямо вручили ему идейную власть над подсоветской интеллигенцией и маску лояльного врага для советской пропаганды, сначала включив его в рукотворный советский проект «сменовеховства», затем – когда заведомо фальшивое и продажное «сменовеховство» провалилось – пустив его в самостоятельное пропагандистское плавание во главе придуманного самим Устряловым **национал-большевизма**.

Устрялов стал автором почти гениальной формулы национал-большевизма. То есть формулы *использования интернационалистской и антинациональной большевистской власти – в национальных, суверенных и независимых общегосударственных целях, исторически постоянных и не зависящих от режима*. Её центром и приоритетами были поняты преемственная государственность, безопасность и военно-экономическая мощь.

И здесь надо тоже сразу сказать: Устрялов не был первым и главным, кто в России выдвинул эту систему приоритетов, освободив их от конкретных политических режимов. Он – первым столь ясно и ярко применил эти приоритеты к большевикам, буквально навязав им государственно-национальный смысл ещё тогда, когда их большинство ещё бредило мировой революцией и не переставало разрушать Россию, укрепляя её лишь настолько, насколько это требовалось для экспорта революции и сохранения диктатуры. Устрялов лишь применил этот пафос национальной и религиозной государственности, выработанный поколениями русской мысли и особенно громко прозвучавший в знаменитом сборнике «Вехи» (1909), который он впитал мальчишкой и ретранслировал ещё совсем молодым человеком.

И в этом он был не уникален и не одинок. Но именно он, как никто другой, связал в тесный узел отталкивающую большевистскую практику с рафинированными вершинами русской социально-политической мысли, показав, что владеет формулами этих вершин так свободно, как пианист клавиатурой. Пока сильные характеры ещё в 1918-м призывали к власти в стране

хоть какую-нибудь диктатуру, которая могла бы остановить хаос и Брестскую капитуляцию, и слабые души уже в 1920-м, публично фальшивя, начинали нащупывать только им самим видный большевистский государственный смысл, из крайнего эмигрантского далека, из Харбина, уже в начале 1920 года Устрялов начал – ещё без формулы – говорить о неприятном. Неприятной для Белого движения была военная победа большевиков, основанная не только на террористическом «военном коммунизме», но и на ясно выраженной воле народного большинства и ясном выборе старого офицерско-генеральского активного большинства в пользу Красной армии. Он первым побивал идеологию Белого дела в его самой прагматической части: вы хотели централизованной власти и армии? – большевики построили их; вы требовали защиты России от расчленивателей-интервентов и протитирующих этнократов? – большевики сохранили ядро исторической России; вы сомневались, что большевики смоят своей кровью своё национальное предательство, явленное в капитуляции Брестского мира? – большевики – вместе с символом военных успехов императорской России генералом Брусиловым встали на защиту России от польской агрессии Пилсудского, которую так беспринципно поддержал белый главнокомандующий генерал Врангель...

С интересами национальной обороны большевики впервые столкнулись ещё в начале 1918 года, в ходе переговоров с Германией о заключении Брест-Литовского мира, когда германские войска почти беспрепятственно продвигались вглубь территории России и только редкие энтузиасты воинского долга во главе со старым офицерством в составе сил «завесы» хоть как-то обозначали отсутствующий фронт. С народным хозяйством большевики встретились фактически тогда же, когда система имперских Военно-промышленных комитетов в полном составе влилась в формат советского Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В 1920 году, когда Гражданская война подходила к концу, советская власть испытала ещё больший кадровый шок, к которому её обязывал переход от «военного коммунизма» и мобилизационной экономики хоть к какому-нибудь мирному управлению.

Так просто выглядел посыл, за которым следовала простая мораль для антисоветского политического класса (интеллигенции) в России: смиришься с победой большевиков, иди к ним на службу,

не претендуя ни на что, кроме счастья служить России, какая бы она ни была, забудь о свободе, забудь о себе – и утешься тем, что твоя Родина, даже иной раз обезображенная до неузнаваемости, жива и сильна. Этот посыл пыталась оспорить белая эмиграция. Его же успешно эксплуатировала большевистская власть, отнюдь не прекращая политических репрессий против тех, кто оставался от неё духовно независимым (против церкви), кто оспаривал её партийную монополию (против эсеров и меньшевиков), кто отстаивал своё независимое профессиональное и идейное влияние (против лидеров общественного мнения – в высылке 1922 года, призванной обеспечить монополию сменовеховцам на «представительство интересов» подсоветской интеллигенции).

Дар успешной банализации и формулирования идейной борьбы – большая редкость. В истории русской мысли фигур, что могли овладеть этим искусством, единицы – Глинка (Волжский), Иванов-Разумник, Милюков. Овладев этим искусством, они идеологически громко проиграли, ибо оказались в тени гораздо более сильных, но сложных, конфликтных, но творческих их конкурентов: что в движении «от марксизма к идеализму», что в мощной традиции неонародничества, что в истории прикладного и даже беспринципного либерализма.

Устрялов же выжил как индивидуальность, присвоил наследие и транслировал его, рассорившись почти со всеми, кто либо сразу же, заранее продался большевикам («сменовеховцы»)<sup>1</sup>, либо сде-

---

<sup>1</sup> Даже ангажированный рецензент фундаментального исследования практических, в том числе финансовых, связей большевиков со «сменовеховцами», не желающий признавать вполне определённое качество их отношений как *заказчика-исполнителей*, вынужден резюмировать: «На основе архивных документов показано, как сменовеховское движение субсидировалось и, в ряде случаев, возглавлялось большевиками» (*Илья Кукин*. [Рец.:] Квакин А.В. Между белыми и красными. Русская интеллигенция 1920–1930 годов в поисках третьего пути. М., 2006 // *Новый Журнал*. № 250. Нью-Йорк, 2008). Стыдливые сомнения критика явно запоздали, ибо необходимые данные на этот счёт сообщены историками давно и ясно: *Alexandre Kvachonkine. Histoire d'une manipulation: Les Bolhcheviks et le mouvement emigre «Changegement des Jalons» // Communisme. № 42/43/44. Paris, 1995; А.В. Квашонкин, А.Я. Лившин. Послереволюционная Россия (проблемы социально-политической истории, 1917–1927). М., 2000. С. 59–91. См. также глубокий и фактологически насыщенный очерк: Анастасия Гачева. Философская эмиграция. Сменовеховство // А. Гачева, О. Казнина, С. Семёнова. Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов. М., 2003.*



лал это позже (евразийцы), либо мгновенно маргинализировался в эмиграции (веховцы), потеряв лицо в приспособлении своего символического капитала к интересам право-монархических партийных сект.

Устрялов, конечно же, очень долго не понимал, что советская власть, устами вождей поминая его имя с самых высоких трибун и уделяя особое внимание его сочинениям, недобросовестна. Он искренне верил, что идейно влияет на власть (но был достаточно трезв, чтобы не вынашивать комичных надежд на идейное управление ею, которыми были больны евразийцы). Но на деле лишь влиял на её язык и помогал ей выглядеть чуть более ответственной и приличной – лишь потому, что де-факто она перестала быть партийной и пошла на службу своему же государству.

Пропагандистский путь признания советской власти со стороны несоветской и даже антисоветской интеллигенции (политического класса) России эксплуатировался большевиками столь усиленно и эффективно, что породил историографический и даже литературно-художественный миф о национал-большевизме как формуле перехода от враждебности к нейтралитету, от нейтралитета – к лояльной службе коммунизму.

В конце 1980-х гг., когда в СССР эволюция коммунистической власти свелась к разрушению централизованного государства, быстрой деградации коммунистической риторики и геометрическому росту этнократического национал-коммунизма, у некоторых русских коммунистов – помнивших историю и смысл национал-большевизма – наступил краткий момент «национал-большевизма наоборот», повторного. Так они пытались хоть как-то нормализовать обратный путь от советской лояльности к государственному национализму, чтобы он не превратился в обвал. Но он превратился в обвал и путь стал бегством, а государственный национализм был советской властью выброшен вон – вместе с СССР.

Но был ли нормальным первый переход, первый национал-большевизм 1920-х годов, пока его пропагандистские применения не взяли под контроль Политбюро ЦК и ГПУ? Он был жертвой, абсолютным приоритетом *идеи государства* и личным самопожертвованием. Эта жертва исходила из презумпции того, что текущая власть действует, в конечном счёте, адекватно национальным интересам. То есть на деле то была жертва не

государству, а текущей власти, которая не собиралась гарантировать жертвователю оправданности жертвы и следования государственным интересам, а лишь эгоистически принимала их совпадение с интересами собственной диктатуры. Таким образом, и первый, лоялистский национал-большевизм был советской властью быстро использован и быстро выброшен вон, пока не наступило 22 июня 1941 года.

Современный уровень знаний об эпохе и герое позволяет проследить контекст азбучных сведений о биографии Устрялова, которые никак не могут прорваться в энциклопедические справки и общедоступные поисковые системы, и сделать в их ряду несколько важных замечаний.

Во-первых, Устрялов – весьма ранняя для русского начала XX века научная звезда: окончив юридический факультет Московского университета учеником Б.П. Вышеславцева и Е.Н. Трубецкого, он уже в 22 года получил от них приглашение остаться в университете для приготовления к профессорскому званию. Из рук рафинированного социального философа и персоналиста Вышеславцева и яркого религиозного мыслителя и знатока древности Трубецкого – это очень высокая оценка. Уже в 1916 году Устрялов как равный принял участие в публичной дискуссии о национализме, начатой П.Б. Струве и опротестованной Е.Н. Трубецким, где – против Трубецкого – выступил в поддержку той всепожирающей «мистики государства»<sup>2</sup>, признание которой в итоге будет стоить ему жизни.

---

<sup>2</sup> См. антологию текстов, в том числе почти полный свод дискуссии 1916–1917 гг., включая статью Устрялова: Национализм. Полемика 1909–1917. Сборник статей / Сост. М.А. Колеров. 2 изд. М., 2015. Реферат содержания дискуссии: В.К. Романовский. Полемика о национализме на страницах либеральной печати в 1916–1917 гг. // Вопросы истории. М., 2016. № 5. Центром дискуссии был журнал Струве «Русская Мысль», а молодой Устрялов своей статьёй («К вопросу о сущности «национализма») присягнул («как возможен истинный национализм?»: Проблемы Великой России. № 18. 10(23) декабря 1916. С. 9) известной статье Струве «В чём же истинный национализм?» (1901) ввёл в дискуссию журнал «Проблемы Великой России», эксплуатировавший внешнеполитический концепт Струве о «Великой России», который он развил в главном в 1908–1912 гг. (см. также: П.Б. Струве. Великая Россия и Святая Русь // Русская Мысль. 1914. Кн. XII), но без участия Струве. Скорее всего, дискуссия в этом журнале продлилась бы, но его издание прекратилось. В журнале сотрудничали также уже авторитетный правовед

Во-вторых, 1917 год Устрялов встретил не только молодым либеральным карьеристом в составе кадетской партии, но и автором странного для государственника и империалиста трактата, в котором осудил империализм за войну и её жертвы («В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия)», а германский социализм — за капитуляцию перед имперским национализмом<sup>3</sup>. В условиях лета 1917 года этот трактат звучал как культурно изысканная поддержка большевистской борьбы за мир любой ценой и пролетарский интернационализм ценой поражения «собственного правительства». Отнюдь не случайно ни в одном из своих curriculum vitae Устрялов не стал упоминать этого своего сочинения<sup>4</sup>, которое внешне прозвучало как манифест «пораженца» и потому плохо укладывалось в авторский миф о негибавшем государственнике. Что это была за страница в интеллектуальной биографии Устрялова — не ясно, но факты самокритики, поиска, зыбкости — налицо. Настолько радикально они противостоят биографическому мифу и примерам иных, подчёркнуто риторических фигур русской «публичной философии».

В-третьих, Устрялов уже в 1918 году, под большевиками, до поступления на ответственную политическую службу к вер-

---

С.А. Котляревский и молодые юристы Ю.В. Ключников, Е.А. Коровин, которые весной 1918 года в Москве составили ядро либеральных публицистов, выступивших за государственность и диктатуру (Коровин затем стал видным советским юристом-международником, не затронутым репрессиями). Журнал ясно развивал философию русского империализма и потому спор о мистике государства и внеэтническом национализме был её несомненной частью (см.: *Н. Устрялов. К вопросу о русском империализме* // Там же. № 15. 15 (28) октября 1916; *А.М. Ладыженский. Идея Великой России и агрессивный империализм* (Ответ Н.В. Устрялову) // Там же. № 16. 1 (14) ноября 1916; *В.Л. Нужен ли России империализм?* // Там же. № 17. 15 (28) ноября 1916). О об этом журнале см.: *М.А. Колеров. «Проблемы Великой России»* (1916). Роспись содержания // *Исследования по истории русской мысли. [3] Ежегодник за 1999 год. М., 1999.*

<sup>3</sup> *М.А. Колеров. Неизвестная статья Н.В. Устрялова: П. Сурмин. В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) [1917]* // *Русский Сборник: Исследования по истории России. XVI. М., 2014. С.481–494.*

<sup>4</sup> См., например, документ с перечнем (весьма немногих) публикаций, представленный при поступлении на работу в Пермский университет: *О.В. Curriculum vitae Н.В. Устрялова (1918)* // *Исследования по истории русской мысли. [6] Ежегодник за 2003 года / Под ред. М.А. Колерова. М., 2004. С. 591–592.*

ховному правителю белой России адмиралу Колчаку, исчерпал свои теоретические аргументы против большевистской диктатуры – и, видимо, лишь исполнял свой долг, служа диктатуре антибольшевистской, надеясь, что за ней встанет *большой* государственный смысл и народная легитимность. Но уже с самого начала понимал, что победы она не добудет. Уже в январе 1918 года, в не учтённой библиографиями газетной статье Устрялов выступал с тем, что служило фундаментом будущего *национал-большевизма как доктрины внутреннего перерождения революции*. Он писал, когда Гражданская война ещё толком не началась, столица в Москву не была перенесена, а на Дону только собиралась белая Добровольческая армия:

«Спасение придёт, но не извне, не из определённого географического пункта, не с Украины, Дона, Сибири или Москвы. Оно явится из недр самой революции, когда будет до конца изжита её тьма. (...) За периодом разложения не может не наступить творческий период»<sup>5</sup>.

И уже тогда Устрялов обращал внимание на особую «природу» русского большевизма<sup>6</sup>, заставлявшую с ним считаться, а его единомышленник и коллега по московской кадетской газете, будущий автор струвианского антиреволюционного сборника «Из глубины» (1918)<sup>7</sup> В.Н.Муравьев начал чувствовать в едва установившейся большевистской диктатуре «собрание России»<sup>8</sup> и уже тогда заговорил об «империалистическом пафосе», то есть пафосе великой державы в большевистском лозунге «мировой революции»<sup>9</sup>, подсказывая большевикам, что «национализм – условие всякой идеологии, признающей государство»<sup>10</sup>. Спасаясь от

<sup>5</sup> Н. Устрялов. Во власти распада // Утро России. 21 января 1918. № 11. С. 1.

<sup>6</sup> Н. Устрялов. Новый враг // Заря России. 12(15) апреля 1918. № 7. С. 1.

<sup>7</sup> В газете «Заря России» сотрудничал также ещё один автор «Из глубины» и затем участник антибольшевистского подполья, в 1920 году пошедший на службу к большевикам, правовед С.А. Котляревский.

<sup>8</sup> В. Муравьев. Собрание России // Заря России. 13(26) апреля 1918. № 8. С. 1.

<sup>9</sup> В. Муравьев. Национализм и интернационализм // Заря России. 15(28) апреля 1918. № 10. С. 1.

<sup>10</sup> В. Муравьев. Национальная идея // Заря России. 1(14) мая 1918. № 19. С. 1.

большевистских арестов, Устрялов уезжал из Москвы, публично полагаясь на «реакцию» в мире мысли<sup>11</sup>.

Первую резкую грань между собой и ещё вполне активно действующим на территории России белым движением – анти-советской государственностью в белом Крыму и Таврии – Устрялов провёл ещё 24 февраля 1920 года в статье «Интервенция», которая затем вошла в его дебютный сборник «В борьбе за Россию». Белый плацдарм не только не мог бы существовать без иностранной поддержки, но и вполне рассчитывал на агрессивные планы Польши против Советской России, ставящие себе целью отчленение от исторической России Белоруссии и Украины. Но Устрялов писал:

«Я положительно затрудняюсь понять, каким образом русский патриот может быть в настоящее время сторонником какой бы то ни было иностранной интервенции в русские дела. (...) продолжение междоусобной борьбы, создание окраинных «плацдармов» и иностранные интервенции нужны и выгодны лишь узкоклассовым, непосредственно потерпевшим от революции элементам. Интересы же России здесь решительно не при чём».

Особый смысл этому выступлению придавало то, что буквально за неделю до него Советская власть предприняла первую попытку сформировать манифест лояльной, но очевидно не коммунистической интеллигенции, чтобы вокруг него развернуть целую пропагандистскую кампанию. Речь идёт о тщетной попытке с помощью опубликованной в «Известиях ВЦИК» 18 февраля 1920 г. «Декларации трудовой интеллигенции» нейтрализовать антисоветскую активность политического класса в русской эмиграции и глухое сопротивление интеллигенции подсоветской. Составленная, несомненно, советскими пропагандистами, «Декларация» эта гласила в гораздо более осторожном тоне:

«Можно не соглашаться со многим происходящим в России и подлежащим безусловному осуждению, но необходимо, чтобы отрицательные явления временного и преходящего характера не заслоняли от русской интеллигенции всего русского народа, для облегчения страданий которого следует идти по пути уступок, не останавливаясь

---

<sup>11</sup> Н. Устрялов. Возрождение // Заря России. 5(18) мая 1918. № 23. С. 1. См. также очерк: В.К. Романовский. Н.В. Устрялов о русской революции (по его публикациям 1917–1918 гг.) // Вопросы истории. М., 2005. № 1.

ни перед какими личными жертвами. (...) современное положение вещей повелительно требует:

1) Прекратить поддержку вооруженного вмешательства в исключительно внутренние дела России...»<sup>12</sup>

После октябрьского переворота 1917 года главным упрёком, который предъявил Струве к понимаемым им как единый процесс февральской и октябрьской революциям, был равный упрёк либералам и социалистам в создании антигосударственного хаоса, в необратимом для правящих революционных режимов разрушении самих государственности и народного хозяйства страны, в истинной «контрреволюции» против промышленного, политического и социального прогресса, погружающей Россию в архаику. Это было первейшее и на всю оставшуюся жизнь доминирующее впечатление Струве от революций 1917 года, которое даже поначалу мешало ему признать за ними право называться почитаемым им именем «революций», особенно права на столь дорогую для победивших в феврале либеральных и бюрократических англоманов аналогию с британской «славной революцией». Он писал:

«Если рассматривать события 1917 г. независимо от всей предшествующей эпохи, то им, конечно, нельзя дать почётного титула революции. Это солдатский бунт, «из политики» принятый интеллигенцией страны за революцию, в надежде превратить бунт в революцию. Надежда эта не оправдалась, и бунт превратился не в славную революцию, а в грандиозный и позорный *всероссийский погром*.

Но этот всероссийский погром есть, с более глубокой исторической точки зрения, лишь эпизод в движении, которое началось не в 1917 г. и не кончится в этом году. Русская революция ведёт своё начало не от петербургского солдатски-рабочего бунта февраля-марта 1917 г., постепенно разросшегося во всероссийский погром, нами переживаемый, и этим погромом не закончится. Русская революция началась гораздо раньше. Её начало, по меньшей мере, следует отнести к 1902 г.»

то есть к тому моменту, когда сам Струве был направлен русской социал-либеральной коалицией в эмиграцию создать нелегальный орган «Освобождение», вокруг которого к концу 1905 года создалась конституционно-демократическая партия,

---

<sup>12</sup> М.А. Колеров. На пути к лояльности: «Декларация трудовой интеллигенции» (1920) // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. VI. М., 2009. С. 174.

пришедшая к власти в марте 1917 года. «Но если всероссийский погром 1917 г. угодно называть русской революцией, — резюмировал Струве, — то я скажу прямо: главным преступлением старой власти является именно то, что она подготовила эту революцию и сделала её неизбежной. Справедливость, однако, требует прибавить: в этом преступлении соучаствовала вся прогрессивная русская интеллигенция тем безразборчивым и безрассудным характером, который она придала своей борьбе со старым порядком, в частности после событий 1905 г.»<sup>13</sup>

Так, с первых залпов радикальной, идейной контрреволюции (из любви к парадоксам и исторической лояльности к самому имени (подлинной) революции) был показан её антифевральский и в этом смысле антидемократический горизонт, отрицающий либеральную, февральскую альтернативу октябрьскому большевизму как хаосу, то есть перспективу диктатуры, альтернативной большевистской диктатуре, если не перспективу монархизма (к которому в эмиграции в середине 1920-х быстро эволюционировал Струве), противопоставленного равно либерализму и социализму. В горячке Гражданской войны Струве, абсолютно уверенный в неспособности большевиков к государственному строительству, выступил с заявлением, о котором, наверное, впоследствии не раз пожалел, но о котором, к счастью для Струве, никто из его оппонентов и даже оппонентов-продолжателей, как Устрялов, не смогли вспомнить. Струве затвердил в декабре 1919 года (а уже в феврале 1920 года, не ведая этого, с него практического отчёта потребовал Устрялов за эти слова):

«Если бы большевизм, как некогда французский якобинизм, объединял и сплачивал Россию, а не разлагал и разрушал её, русские патриоты, каковы бы ни были их воззрения на внутренние вопросы, их политические и социальные симпатии, нашли бы пути соглашения с большевизмом»<sup>14</sup>.

След Струве следует поискать и легко найти и в самой формуле национал-большевизма. Вслед за М.С. Агурским считается,

<sup>13</sup> *Петр Струве*. В чём революция и контрреволюция? Несколько замечаний по поводу статьи И.О. Левина // Русская Мысль. Пг., 1917. Кн. XI–XII. II отд. С. 57, 60–61.

<sup>14</sup> *Петр Струве*. Откровенное слово // Великая Россия. Севастополь, 13 (26) декабря 1919: Цит. по: ГА РФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 182. Л. 73.



что формула рождена в Германии (и известное письмо Устрялова к Струве от 15 октября 1920 года вроде бы это подтверждает: «я занял здесь весьма одиозную для правых позицию «национал-большевизма» (использование большевизма в национальных целях. Кажется, в современной Германии **такая точка зрения** тоже высказывается некоторыми)). М.С. Агурский в привычной ему манере трактовал эти предвосхищения расширительно, словно немецкие коммунисты Г. Лауфенберг и Ф. Вольфгейм, ставшие в 1918 году – в русской терминологии – «оборонцами», каковыми многие русские социал-демократы во главе с Г.В. Плехановым стали ещё в 1914 году – дали Карлу Радеку в 1919 году повод назвать их «национал-большевиками», что якобы было повторено Лениным в его брошюре «Детская болезнь “левизны” в коммунизме»<sup>15</sup>, увидевшей свет в Петрограде июне 1920 года и написанной в апреле-мае. Однако Ленин, чью брошюру Устрялов, конечно, прочёл, тогда не употребил имя «национал-большевизма»! В ней говорится лишь следующее: «Недостаточно отречься от вопиющих нелепостей «национального большевизма» (Лауфенберга и др.), который договорился до блока с немецкой буржуазией для войны против Антанты, при современных условиях международной пролетарской революции». А имя укрылось только в замечаниях по национальному вопросу, сделанных 25 июля 1920 г., то есть после публикации брошюры и впервые опубликованных лишь в 1942 году: «Verzeihung, Sie verfallen in «Nationalbolschewismus», indem Sie Deutschland für die einzige Nation in der Welt betrachten (простите, Вы впадаете в «национал-большевизм», рассматривая Германию как единственную нацию в мире)»<sup>16</sup>.

Значит, надо предположить, что Устрялов вряд ли читал выступление К. Радека 1919 года и не мог найти эту формулу у Ленина, а опирался на «точку зрения» и логику словообразования немецких понятий, легко подарившую ему имя национал-большевизма (Nationalbolschewismus). Для этого Устрялову было достаточно быть лишь образованным сыном своего времени и русской культуры, каковым он, несомненно являлся. Дело в том, что даже для самих немецких политиков шаблоном (или прецедентом) для образования понятия Nationalbolschewismus служило существовавшее ещё с конца XIX в. и активное и в начале XX века название Национал-либе-

---

<sup>15</sup> М. Агурский. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980. С.62, 63.

<sup>16</sup> В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 41. М., 1981. С. 60, 458–459.



ральной партии (Nationalliberale Partei), давшее жизнь довольно распространённой в русской политической мысли формуле «национал-либерализма» (Nationalliberalismus). «Я национал-либерал, либерал почвы, либерал земли», – декларировал в дневнике юный Струве<sup>17</sup>. И писал уже взрослый Струве исчерпывающе ясно о применении формулы к русской идейно истории: о либерально-консервативном мыслителе А.Д. Градовском – «недаром литературные противники из крайнего лагеря окрестили его русским национал-либералом – наименование, которое носит националистический либерализм немецкой буржуазии»<sup>18</sup>. След национал-либерализма в этом терминологическом ряду заметил и М.С. Агурский, но не придал ему значения, когда цитировал старого просвещённого марксиста и правящего советского идеолога А.В. Луначарского, в 1922 году выступившего с анализом социально-политической природы «сменовеховцев», словно она не было рукотворной: «Это национал-либералы, порою почти национал-консерваторы на славянофильской подкладке...»<sup>19</sup>. Да и сам Устрялов выстраивал свой национал-большевизм, прозрачно отталкиваясь от неудачи русского национал-либерализма: «наполеоновский мундир, готовившийся для Колчака русскими национал-либералами, не подошел к несчастному адмиралу» («О верности себе», 4 мая 1920). И известный Устрялову А.В. Карташёв, выступая в столь же известной Устрялову кадетской аудитории, в сентябре 1921 года призывал «разойтись и разделиться на национал-либералов и радикал-демократов»<sup>20</sup>.

Решив для себя задачу морально смириться с тем выбором, который сделала Россия, превратившись в Советскую, и приняв на себя полноту политической ответственности за первое признание поражения Белого дела в Гражданской войне, Устрялов, однако, не хотел оставаться в идейном одиночестве. И с самого

<sup>17</sup> М.А. Колеров. Юношеский дневник П.Б. Струве (1884) // Исследования по истории русской мысли. 8. Ежегодник за 2006/2007 год. М., 2009. С. 350.

<sup>18</sup> П.И. [П.Б. Струве]. А.Д. Градовский, как публицист // Северный Курьер. № 9. СПб., 9(21) ноября 1899. С. 1.

<sup>19</sup> М. Агурский. Идеология национал-большевизма. С. 160.

<sup>20</sup> Журнал заседания Константинопольской группы партии народной свободы от 10 сентября 1921 года // Протоколы заграничных групп Конституционно-демократической партии. Июнь-декабрь 1921 г. / Сост. Н.И. Кашицева. М., 1997. С. 276.

начала своего национал-большевизма приложил публичные усилия к тому, чтобы разделить идейное отцовство в порождении национал-большевизма со своим коллегой по белому правительству Верховного правителя адмирала Колчака, его министром иностранных дел Ю.В. Ключниковым, который уже в 1921 году стал главным политическим лицом и бенефициаром «Смены Вех». И почти сразу — главным политическим могильщиком этого проекта, превратившим его в инструмент своего личного трудоустройства в РСФСР/СССР.

Историю Устрялов начинал с дуэта, вспоминая свой разговор с Ключниковым в ноябре 1919 г., ещё в рядах правительства Колчака, о том, видимо, что именно делает в России антимо-нархическую и антифеодальную (буржуазно-демократическую) февральскую революцию 1917 года необратимой:

Ключников: «Победа нашего движения утвердит революцию». Устрялов: «А вдруг победят **они**? Что тогда? Умирать вместе со старым миром?» Ключников: «Ну, нет... Если победят они, значит они нужны России, значит, история пойдёт через них... Во всяком случае мы должны быть с Россией... Что же — встретимся с большевиками!»... Устрялов: «Можно ли, не изменяя себе, «встретиться с большевиками?»»<sup>21</sup>

*«Можно ли, не изменяя себе, «встретиться с большевиками?»»* Можно ли идейно не капитулировать перед большевиками, которые могут представлять собой победившую государственную власть? Как, оставаясь государственниками, то есть сторонниками самодостаточной «мистики государства», пойти на соглашение с большевиками, не переставая быть их противниками? Наверное, только вступая с ними в критическую коалицию, разделяя с ними практическую власть. Пойдут ли на это большевики? Пока они прагматически идут лишь на соглашение ради ослабления непримиримой белой эмиграции, выступающей за экономическую блокаду и военную интервенцию великих держав против России.

---

<sup>21</sup> Н.В. Устрялов. 1919-й год. Из прошлого / Публ. А.В. Смолина // Русское прошлое. Кн. 4 / Гл. ред. В.Г. Бортневский. СПб., 1993. С. 196–197. Ср. с текстом статьи Устрялова: «Если победят они, значит, они нужны России, значит, история пойдёт через них... Во всяком случае, мы должны быть с Россией. Что же, — встретимся с большевиками!» («Вперед от Вех! («Смена Вех»). Сборник статей. Прага, 1921 год»).

Все эти вопросы, однако, поставил перед Устряловым, мучительно борющимся против своего идейного одиночества, ещё до ноября 1919 вовсе не Ключников, а сам Устрялов, на деле задокументировавший свой собственный путь к измене «Вех» в дневнике: март 1919 г. — «Да, великая русская революция достойна Великой России!..»; май 1919 г. — «Большевики — как затравленные звери, умирают, но не сдаются. Честь им и слава!... за Россию всё спокойнее. Откровенно говоря, её будущее обеспечено — вне зависимости от того, кто победит — Колчак или Ленин»; июль 1919 г. — «величайший человек современности (тоже, к гордости нашей русской [как Колчак]) Ленин»; август 1919 г. — «Был бы смысл в победе большевиков, в объединении ими всей России. Но ведь этого нет!»; январь 1920 г. — «Большевизм побеждает, победит — я, по крайней мере, в этом почти не сомневаюсь. Он объединит Россию — честь ему и слава!... Помню, как-то в беседе с Ключниковым... он ещё говорил — “ну, если увидим, что ошибались — придёт время и встретимся с большевиками”... Он, может быть, прав, я соглашался... да здравствует Советская Россия!»<sup>22</sup>.

Тем временем, в публичной сфере Ключников в 1920 году составил и издал в Париже радикально антибольшевистский сборник о России с участием Струве, который дал в него текст «Большевизм и Ленин», соединив воинствующую контрреволюционную агитацию с личными отталкивающими воспоминаниями о «палаче-аскете» Ленине<sup>23</sup>. После начала крупномасштабной агрессии Польши против Советской России на Украине (Киев был взят поляками уже 7 мая), поддержанной Врангелем и, разумеется, главой врангелевской дипломатии Струве, острейший вопрос о цене Белой борьбы против большевиков, поддержанной империалистическими интересами Англии, Франции, Польши, Румынии, Японии против России, стал центральным для любой русской государственной мысли. Устрялов писал об этом:

---

<sup>22</sup> Н.В. Устрялов. Белый Омск. (Дневник колчаковца) / Публ. А.В. Смолина // Русское прошлое. № 2 / Гл. ред. В.Г. Бортневский. СПб., 1991. С. 293, 302, 305, 307, 325–326.

<sup>23</sup> Меньше чем через два года эту статью Струве Ключников упоминал уже в своей примитивной апологии Ленина, написанной по заказу большевиков: Ю.В. Ключников. На великом историческом перепутье [в оригинале: «перепутьи»] [1922] / Сост. О.А. Воробьёв. М., 2006. С. 151.

«Русская интеллигенция боролась против большевизма по многим основаниям. Но главным и центральным был в её глазах мотив **национальный**. Широкие круги интеллигентской общественности стали врагами революции потому, что она разлагала армию, разрушала государство, унижала отечество. (...) Большевизм не без основания связывался в общественном сознании с позором Бреста, с военным развалом, с международным грехом — изменой России союзникам. Так было. Но теперь обстановка круто изменилась. Брестский договор развеян по ветру германской революцией вместе с военной славой императорской Германии. (...) Но, главное, большевикам удалось фактически парировать основной национальный аргумент, против них выставлявшийся: они стали государственной и международной силой, благодаря несомненной заразительности своей идеологии, а также благодаря своей красной армии (...) И когда мне приходится читать теперь о боях большевиков с финляндцами, мечтающими "аннексировать" Петербург, или с поляками, готовыми утвердиться чуть ли не до Киева, или с румынами, проглотившими Бессарабию, не могу не признаться, что симпатии мои — не на стороне финляндцев, поляков или румын... (...) теперь уже нет выбора между двумя лагерями в России. Теперь нужно выбирать между Россией и чужеземцами» («О верности себе», 4 мая 1920).

Устрялов 25 сентября 1920 г., ещё до падения врангелевского Крыма, «выдавал» Струве с головой, обезоруживая его идейные претензии к нему, идейному наследнику и продолжателю, обнажающему, если не ответственность, то бессилие Струве в пределах своей политической философии обосновать своё отвержение большевизма образца 1920 года. Устрялов писал и Струве нечего было ему ответить:

«Ещё весной прошлого года П. Б. Струве прислал из Парижа в Омск пишущему эти строки следующие золотые слова: "Самое пристальное внимание и здесь, и в России должно быть обращено на противодействие силам, стремящимся закрепить слабость и расчленение России. Борьба с большевизмом не может вестись за счёт силы и единства России". Я доселе свято помню и незыблемо храню этот драгоценный завет давнишнего властителя моих политических дум. Но сам он ныне словно отрекается от этого завета, изменяет ему ради борьбы с большевизмом, ставшей самоцелью, поощряя всяческие сепаратизмы, менажируя кавказские "государства", помогая Польше, вступая

в разговоры даже с Петлюрой, даже чуть ли не уступая румынам Бессарабию... Грустно»<sup>24</sup>.

В те же дни, 15 сентября 1920 г., он, внешне прощая участие Врангеля и Струве в польской агрессии, оправдывал их антибольшевистский (и антигосударственный) радикализм нравственным романтизмом и утверждал своё понимание политической нравственности как признания силы (государственной мощи<sup>25</sup>), подходя к обвинению Врангеля и Струве в предательстве (как продолжателей Курбского) и признавая, что его, Устрялова, путь — не более чем *жертва*<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Н.В. Устрялов. Зелёный шум [1920] // Избранные труды / Сост. В.Э. Багдасарян, М.В. Дворковая. М., 2010. С. 143–144.

<sup>25</sup> Непременная для Струве (по его словам, позаимствованная в британской традиции, но громче звучащая у авторитетных для России в начале XX века Вернера Зомбарта и Макса Вебера) идея государственной мощи прямо воспроизводится и Устряловым как одновременно требование и как фактор признания большевиков: «Только бы Россия была мощна, велика, страшна врагам. Остальное приложится» («Из записной книжки 1920 года»). Вскоре Устрялов сформулировал это вполне цинично: «Сущность кризиса состоит именно в отказе небольшевистской общественности от самостоятельной **политической** роли при нынешних обстоятельствах и в добровольном согласии активно и честно работать в деле восстановления России **под знаком наличной власти**» («Смысл встречи (Небольшевистская интеллигенция и советская власть), 12 февраля 1922»).

<sup>26</sup> Устрялов вспоминал: «я отчетливо вспомнил наше последнее свидание с ним в Омске, в начале февраля 1919 года. ...Ключников: — ... мы должны принести в жертву себя... — Да, я тоже так думаю» («Вперед от Вех! («Смена Вех». Сборник статей. Прага, 1921 год»)). Как бы ни верил (напрасно: Устрялов был расстрелян в СССР 14 сентября 1937 года, а Ключников — 10 января 1938) в свою счастливую карьерную судьбу Ключников, он говорил ещё до возвращения: «Мысль о жертвенном возвращении в Россию нужна» (Протокол заседания Парижской группы партии народной свободы 7 июля 1921 // Протоколы заграничных групп Конституционно-демократической партии. Июнь-декабрь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1997. С. 77). О жертве позже писал и один из видных евразийцев: «В современности героическое состоит в величайшем самопожертвовании во имя идеала. Таким идеалом может быть отнюдь не *личный* «наполеоновский» идеал. Напротив, идеал, к которому надо стремиться и который надо создавать, — должен быть *общий*, всенародный идеал. А призыв к самопожертвованию относится опять-таки не к какому-то «герою русской революции» — а каждому из нас, к каждой отдельной личности, живущей в современности. (...) Россия без нас проживёт. Но вот — проживём ли мы без России? Но жить вместе

«**Романтизм в политике** есть великое заблуждение, вредное для цели, которую она должна осуществлять,— вредное для блага родины. (...) **Нравственная политика есть реальная политика.** (...) Ген. Врангель отказался пожать протянутую руку Брусилова, хотя она была протянута во имя России. И не только отказался, но в ответ на призыв примирения, согласно рекомендации французского генерального штаба, двинул свои войска на помощь полякам, чем, по-видимому, не только пролил достаточно русской крови, но и спас Варшаву. (...) Их путь фатально бесславен, каковы бы ни были они сами. (...) Тут они, скорее уже, напоминают кн. Курбского... Нет, нет, не они, националисты, творят ныне национальное дело, а полки центра под ненавистными красными знаменами. (...) путь примирения — тоже трудный, жертвенный путь, не сулящий каких-либо немедленных чудес. Но он настойчиво требуется теперь интересами страны» («Врангель»).

Несомненно, под впечатлением от польско-советской войны, харбинской публицистики Устрялова, так же ещё до падения врангелевского Крыма, Ключников начал идеологическую кампанию внутри кадетской эмиграции, тщетно пытаясь перехватить у бывшего кадетского вождя П.Н. Милюкова инициативу формирования «третьего пути» в пользу фактического примирения с большевиками. 17 мая 1920 г. Ключников говорил в кадетском собрании:

«Сейчас большевики, борясь с поляками, защищают интересы России. И когда перед нами ставится вопрос — с кем быть, с большевистской Россией или с Польшей, мы должны ответить, что мы с Россией, хотя бы и большевистской. Поддерживая же Врангеля, мы будем поддерживать поляков. Кроме того, военные действия увеличивают в России анархию. И если нам при нынешнем положении вещей удастся свергнуть большевистский режим, который как-никак является единственной властью, успевшей пустить хоть некоторые корни в стране, будет ещё хуже, ибо тогда в стране не будет никакой власти. Поэтому необходимо отказаться от вооружённой борьбы. Что же касается вопроса о соглашении с большевиками, то это вопрос будущего. Теперь же мы должны лишь заявить большевикам, что мы прекращаем борьбу с ними и возвращаемся в Россию для культурной

---

с Россией — это и значит идти по пути героическому» (К.А. Чхеидзе. Героическое в современности [1931] // Константин Чхеидзе. Путник с Востока: Проза, литературно-критические, публицистика, письма / Сост. А.Г. Гачева. М., 2011. С. 346).

работы. Возрождение России начнётся лишь тогда, когда большевики поймут кадетов и кадеты большевиков. Тогда мы будем иметь на своей стороне трудящиеся массы всего мира»<sup>27</sup>.

Но Ключников в этом кадетском собрании остался в одиночестве. После падения врангелевского Крыма в конце 1920 года, весной-летом 1921 года Ключников вступил в переговоры с самими большевиками о конкретных услугах. Перед этим он вновь искал поддержки в партийной среде, концентрировавшейся в европейской эмиграции, которая вполне компетентно улавливала настроения. Правый кадет и политический националист, яркий деятель русского религиозно-философского возрождения, конфиденгент таких деятелей, как Новгородцев, Булгаков, Струве, Мережковский, бывший член Временного правительства А.В. Карташёв хорошо видел логику событий, вполне трезво оценивая перспективы идейной капитуляции. Он верно оценил прецедентную роль в этом формально далёкого Устрялова. Милоков свидетельствовал 9 февраля 1921, приводя слова Карташёва: *«путь невооружённой борьбы фатально ведёт к соглашательству бессилия с силой. На продолжении этого пути находятся ультрафиолетовые к.д., которые говорят, как Устрялов, что есть только красная Россия...»*<sup>28</sup>. И прямо предупреждал партийцев о неизбежной капитуляции (как только они вступят в полемику с советским государством как государством, а не как с партийной стороной в Гражданской войне):

«переход от вооружённой борьбы к идейной борьбе с большевиками логически приведёт к тому соглашательству с ними (не идейному, понятно), глашатаями и инициаторами которого являются Ключников, Устрялов и другие... Поэтому я продолжаю стоять за идею вооружённой борьбы и интервенции и буду работать в этом направлении»<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Извлечения из протоколов Парижского группы партии народной свободы [17 мая 1920 г.] // Протоколы заграничных групп конституционно-демократической партии. Май 1920 г.— июнь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1996. С. 9–10.

<sup>28</sup> Дневник П.Н. Милокова. 1918–1921 / Сост. Н.И. Канищева. М., 2005. С. 648–649.

<sup>29</sup> Протокол заседания Парижского комитета партии народной свободы 9 февраля 1921 г. // Протоколы заграничных групп конституционно-демократической партии. Май 1920 г.— июнь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1996. С. 148–149.

Фактически анонсируя свой план сборника «Смена Вех», 17 февраля 1921 г. Ключников выступил с докладом «О новых задачах кадетизма» и предлагал партии «вступить с большевиками в договорные отношения», конечно, не ставя Устрялова об этом в известность:

«Сущность кадетизма есть служение прогрессу в условиях данного момента. Моё отношение к большевизму и исходит из духа, а не буквы кадетизма. Я ясно вижу, что наиболее реальное будущее как раз у большевизма, и хотя он в России, вероятно, распадётся, но в мире будет духовно торжествовать. Необходимо поэтому добиваться, как исторически законного, мирного сосуществования либерализма с революционным большевизмом, и, вместо борьбы с ним, которая только его усиливала, взять из него всё хорошее в порядке эволюционного творчества... В подтверждение своих мнений докладчик цитирует затем полученные им в разное время письма от нескольких молодых (в возрасте от 30 до 35 лет) кадетов — Устрялова, Потехина и своего брата, а также ссылается на публичные выступления Корovina и Лукьянова»<sup>30</sup>.

Но пока Ключников пытался, параллельно ведя переговоры с большевиками, договориться с кадетами, именно Устрялов прямо повышал градус идейной борьбы, надеясь перехватить знамя кадетского наследия не у «соглашателей» во главе с Милюковым, а у самого Карташёва. Он публично отвечал ему 15 мая 1921 г.:

«Страшными словами нас не запугаете. Мы — бывалые воробы, несмотря на нашу “наивную молодость”, и у нас слишком хорошая школа («Вехи», две революции), чтобы можно было нас провести на старой интеллигентской мякине оппозиции и пафоса гнева... (...) Государство имеет свою логику, свою “нравственность”, примиряемую с нормами индивидуальной морали лишь на известной метафизической высоте. Государство в некотором отношении неизбежно “потусторонно к добру и злу”, ибо его “добро” (а оно есть, и вполне реально) — в иной, несколько более углубленной или возвышенной плоскости. Я позволил бы себе по этому поводу припомнить прекрасные статьи гг. Муретова и Струве (их полемику с кн. Е. Н. Трубецким)

---

<sup>30</sup> Протокол заседания Парижского комитета партии народной свободы 17 февраля 1921 г. // Протоколы зарубежных групп конституционно-демократической партии. Май 1920 г.— июнь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1996. С. 162, 159–160.



о “морали и патриотизме”, печатавшиеся в “Русской Мысли” в эпоху войны. Большой вопрос, что более “пресно” — личный ли “морализм”, или мнимый “аморализм” государственной идеи» («Наша генеалогия»).

Нельзя сказать, что постоянно опровергаемый, уточняемый и всё равно привлекаемый в авторитетные предшественники и отцы догмы Струве настолько сузил своё сознание в ходе прямой военной и дипломатической борьбы против большевиков, что не видел пространства для этатистского признания большевизма. Он лишь упорно отрицал их государственные и экономические успехи, чтобы лишить их того главного, что могло оправдать их с точки зрения философии Струве — минимальной государственной эффективности. Струве было трудно смириться с тем, что этатизм «Вех» действительно послужил идейным прецедентом для хорошо выучивших идейные уроки большевиков и для буквально воспитанных «Вехами» Устрялова и евразийцев. Особенно потому, что сам Струве в 1920-е годы в эмиграции не предложил русской мысли ничего, кроме миметического монархизма и призывов к интервенции. Но Струве уже в 1920 году, ясно увидев вторичность, признал оригинальную преемственность евразийства и национал-большевизма<sup>31</sup>. Струве формулировал (первоначально для английского читателя) так, уже отступая перед «величием» и, видимо, пытаясь *подняться над красным и белым*:

«В русской историко-философской мысли есть традиция противопоставлять Россию остальному миру, традиция особого исторического “призвания” России, её особой “учительской” миссии. (...) И рядом с этим та же самая формально мысль под совершенно другим знаком! Это идея воинствующего осуществления социализма, вера атеистическая, вера даже не в Царство Божие на земле, а в безбожное преодоление всего исторического... (...) для великих исторических процессов существенны не только психологическая форма и окраска, а духовное содержание (...) Русская революция есть именно историческое столкновение таких двух духовных содержаний, и борьба в ней политических идеалов и социальных стремлений есть в известном культурно-философском смысле лишь поверхностное выражение

---

<sup>31</sup> В 1922-м, публикуя уже готовую статью об этом, Струве обоснованно не стал придавать отдельного идейного смысла «сменовеховству», упоминая этот сборник лишь в тени национал-большевизма.

и отражение этого глубинного духовного столкновения. (...) Отсюда — возникновение в наше время в России гибридных идеологий, которые представляют либо приспособление старых построений к новой исторической обстановке, либо попытки даже объединить как-то те два противоборствующих начала, в столкновении которых заключается духовное содержание русской революции. (...) К гибридным формам идеологий, порождённых революцией, принадлежат т.н. “евразийство” и т.н. “национал-большевизм”. (...) Национал-большевизм является попыткой идеализации большевизма с национальной точки зрения. В основе этой идеализации лежит предположение, что национальная стихия большевизма не только не совпадает с его интернационалистически-коммунистической идеологией, но действует даже в прямо противоположном смысле. (...) Действительность не даёт никаких опорных пунктов для национальной идеализации большевизма»<sup>32</sup>.

Поступив на службу к большевикам, но не порывая кадетские связи, — сначала в качестве заурядного писателя в примитивные, откровенно продажные просоветские рептильные заграничные газеты, — Ключников использовал новую трибуну для сведения счётов внутри кадетской партии. Первая же статья Ключникова в просоветской газете «Путь» (снабжённая комментарием «редакции» тоже, видимо, написанным самим Ключниковым, сообщала, что автор уже с 1919 г. пришёл к «сознанию необходимости признания Сов. власти и примирения с нею»<sup>33</sup>) излагала всё те же внутрикадетские дискуссии, но уже в антураже нужд советской власти и, главное, с прямо выраженным предложением о продаже группы творцов «нового русского политического сознания»:

«С некоторых пор в русских *либеральных* кругах, особенно за границей, начало складываться новое весьма серьёзное течение. Для него придумано уже несколько названий: “пробольшевизм”, “соглашательство”, “примиренчество”. По личным и географическим признакам его иногда называют “грескуловщиной” (в России), “ключниковщиной” и “лукьяновщиной” (в Париже), “устряловщиной” (в Харбине). Чисто внешние причины мешают пока этому течению сделаться стихийным,

---

<sup>32</sup> *Петр Струве*. Россия // Русская Мысль. Прага, 1922. Кн. III. С. 102, 103, 104, 105–106 (статья датирована 20 февраля 1920, но ясно, что тогда ни евразийства, ни национал-большевизма, ни «сменовеховства» просто не было — и ссылки на них были добавлены позже, скорее всего, в конце 1921 г.).

<sup>33</sup> Ю.В. Логика примирения // Путь. № 109. Гельсингфорс, 3 июля 1921.

открытым и решающим для современного русского самосознания... Кто же они, подготовители и носители нового русского политического сознания? По преимуществу, люди в 30-35 лет — профессора, приват-доценты, адвокаты, врачи, художники, писатели, артисты и журналисты, словом, все те, из кого обычно составлялся до сих пор «цвет русской интеллигенции»...»

Не стесняясь едва ли не текстуального совпадения с, впрочем, давно забытой «Декларацией трудовой интеллигенции» (февраль 1920 г.), Ключников тут же излагал программу «нового русского политического сознания»

«1. Будущее России всецело определится, с одной стороны, взаимоотношением между русскими силами, действующими в самой России, а с другой стороны, общим международным положением. (...) 4. Насильственное свержение существующего советского строя не обещает ничего, кроме разгула — ужасающей анархии. Ввиду этого всякие попытки искусственно прервать органический процесс перерождения России подлежат осуждению, а всеобщие усилия должны быть направлены на содействие здоровой эволюции нового политико-социального режима. 5. Необходимо всячески содействовать скорейшему экономическому возрождению России, применяясь к современным условиям русской действительности и к основаниям, выявившимся в процессе русской революции. Ввиду этого совершенно недопустима политика, направленная к экономической изоляции России. 6. Восстановление экономических сил России и возвращение её к участию в международном общении необходимо не только для самой России, но и для разрешения кризисов, переживаемых ныне большинством стран»<sup>34</sup>.

Тогда же, судя по всему, акт покупки Ключникова и состоялся. Устрялов понял это не сразу, несмотря на все сообщения прессы. И каждый новый конфиденент всё более цинично открывал ему глаза на суть проекта. Глава «сменовеховского» журнала «Новая Россия» И.Г. Лежнев откровенно, как, вероятно, участнику проекта, сообщал Устрялову 15 октября 1923 г. из Петрограда об изначальной «субсидной зависимости» его издания от большевиков<sup>35</sup>. Лично посетив Москву летом 1925 года

---

<sup>34</sup> А.В. Квакин. Между белыми и красными. Русская интеллигенция 1920–1930 годов в поисках Третьего Пути. М., 2006. С. 39–40.

<sup>35</sup> А.В. Квакин. Между белыми и красными. С. 12.

и познакомившись со всей историей проекта, Устрялов искал слова, чтобы печатно выразиться не слишком нелояльно. В его словах звучала катастрофа: *«Как и опасался, впечатление весьма плачевное. Познакомился непосредственно и с историей течения, его внутренними пружинами и внешними проявлениями, его эволюцией, похожей на вырождение...»*<sup>36</sup>. В дневнике в августе 1925 г. Устрялов записал о московских встречах ещё яснее: *«Встречался с Ключниковым несколько раз. Конечно, много говорили о “нашем течении”, о сменовеховстве. Увы, оправдались худшие вести и характеристики. Ключников рассказывал, что и первый, пражский сборник готовился в обстановке достаточно неприглядной...»*<sup>37</sup>, *«“Смена Вех” – парижский журнал – издавалась, оказывается, уже под непосредственным контролем большевиков, чувствовавших себя хозяевами журнала. Большевики давили слева. Усиливаясь, становились всё более надменными. Сменовеховский лимон выжимался довольно быстрыми темпами»*<sup>38</sup>.

А пока, уже 13 июля 1921 года Ключников зовёт Устрялова покинуть своё уединение в Харбине, поступить к нему в сотрудники и почти прямо сообщает, что нашёл в Советской России политический и финансовый источник для издания сборника «Смена Вех» и дальнейшего развития проекта (сборник – журнал – книга – газета):

«Наша ставка... на Россию и эвентуально на серьёзные иностранные элементы... Кроме проезда я бы обеспечил Вам и первые 3 месяца скромного европейского существования — всё, разумеется, при условии, что мы не ошибаемся в нашем прогнозе и что правильна и полезна именно наша линия поведения. (...) Мои личные материальные дела обещают немного поправиться: заказы на сборник, предложение редактировать еженедельник, сотрудничество в ряде

---

<sup>36</sup> Н.В. Устрялов. Россия (у окна вагона) // Н.В. Устрялов. Очерки философии эпохи [1926] / М., 2006. С. 212.

<sup>37</sup> А.В. Квакин. Между белыми и красными. С. 124.

<sup>38</sup> Анастасия Гачева. Философская эмиграция. Сменовеховство. С. 212–213, прим 97. См. также: А.Н. Артизов. Дневник Н.В. Устрялова писался не столько для души, сколько для возможных читателей из ежовского ведомства // Отечественные архивы. М., 1999. № 5.

изданий и выпуск за сборником моей книги — позволят мне существовать в дальнейшем, не нуждаясь»<sup>39</sup>.

Несмотря на состоявшуюся сделку, Ключников с непонятной целью решил — уже на страницах большевистского издания — продолжить свою борьбу внутри кадетской партии (решил сам — если прямо не получил такое указание от большевиков), в статье без подписи изложив на страницах газеты «Путь» отчёт о мало кому известном (в силу малого числа участников) заседании парижской группы кадетской партии от 7 июля 1921 г. с обширным изложением речи самого Ключникова, противопоставленной докладу Милюкова как «истории противостояния кадетской партии и Ю.В. Ключникова» и громким диагнозом «развал партии»<sup>40</sup>. «Развал партии» кончился логичным изгнанием Ключникова<sup>41</sup>.

В сентябре 1921 года сборник «Смена Вех» под редакцией Ключникова вышел из печати<sup>42</sup>. Ключников, развивая ссылки в своей статье на сборник «Вехи» (1909), включил в состав сборника и контаминацию национал-большевистских текстов Устрялова под названием «Patriotica», без сомнения, проводя прямую связь с известным предреволюционным сборником Петра Струве под этим же названием<sup>43</sup>. Другого наследия госу-

<sup>39</sup> Приложение. Из письма Ю.В. Ключникова Н.В. Устрялову 13 июля 1921 // Ю.В. Ключников. На великом историческом перепутье [1922] / Сост. О.А. Воробьев. М., 2006. С. 190–191.

<sup>40</sup> Развал к.д. партии // Путь. № 140. Гельсингфорс, 9 августа 1921.

<sup>41</sup> После этой статьи в газете «Путь» Карташёв на заседании парижской группы партии 11 августа 1921 поставил вопрос об исключении Ключникова: из-за его сотрудничества в газете, «придерживающейся явно большевистского направления». После обсуждения этого вопроса 15 августа, по итогам этого обсуждения Ключников 18 августа 1921 написал в комитет партии о выходе из группы (Протоколы заграничных групп Конституционно-демократической партии. Июнь-декабрь 1921 г. Сост. Н.И. Канищева. М., 1997. С. 191, 200–201; А.В. Квакин. Между белыми и красными. С. 43–46. С. 48–49).

<sup>42</sup> Анастасия Гачева. Философская эмиграция. Сменовеховство // А. Гачева, О. Казнина, С. Семёнова. Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов. М., 2003. С. 192.

<sup>43</sup> П. Струве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. При этом в современном «Смене Вех» контексте существовали и иные аналогии — в среде антисоветской эмиграции и советской пропаганды: Николай Авксентьев. Patriotica

дарственной либеральной и социалистической мысли, которая призывала бы подчиниться общенациональной государственности и подчинить ей свои революционные / контрреволюционные амбиции, кроме сборника «Вехи», в багаже русской мысли не было. Но и тот единственный, кто способен был вступить на равных, со знанием дела, в конфликтный идеологический диалог с «Вехами», Устрялов, был использован в политико-экономическом предприятии «Смены Вех» практически заочно. Интересы Ключникова располагались в политической сфере.

Итак, политическая и материальная история «сменовеховских» изданий предельно проста: они были созданы по решению Политбюро ЦК РКП(б) на советские деньги, под непосредственным контролем советского полпреда в Берлине Крестинского. Ими стали журналы «Смена Вех» и «Новая Россия», а также газета под названием «Накануне», прямо отсылающим к еженедельнику «Накануне» первой половины 1918 года, где всё те же издатель Ю.Н. Потехин, авторы Ключников и Устрялов в согласии с Булгаковым и Струве призывали на борьбу с хаосом диктатуру<sup>44</sup>. Теперь первые диктатуру нашли, а последний отказался видеть в ней *правильную* диктатуру. Но вскоре их редакции погрузились в склоки, борясь за статус наиболее радикального сторонника большевиков и, конечно, деньги. Сборник «Смена Вех» выходит в свет в Праге летом 1921 г., осенью 1921 г. начинает выходить еженедельник «Смена Вех» (сначала в Париже, затем в Берлине), в апреле 1922 года Советская Россия приняла официальное участие в Генуэзской конференции великих держав и их сателлитов, где большевики впервые выступили как единственная национальная власть, действующая в России, и на полях которой достигли политического и экономического признания со стороны новой, республиканской Германии. Красноречивой деталью этого события было то, что консультантом советской делегации в Генуе официально выступал Ключников – лидер «Смены Вех» и бывший министр иностранных дел антибольшевистского верховного правителя России адмирала Колчака.

---

// Современные Записки. Кн. I. Париж, 1920; *Е.М. Ярославский*. Патриотика  
// Правда. Москва, 15 марта 1921.

<sup>44</sup> *М.А. Колеров*. О еженедельнике «Накануне» (1918) // Исследования по истории русской мысли. [2] Ежегодник за 1998 год. М., 1998. С. 305–318.

В марте 1922 г., накануне Генуэзской конференции, из печати в Берлине и появляется сочинение Ключникова «На великом историческом перепутьи», которое он писал, судя по его переписке, как откровение, душевно дрожа. Оно состояло из трёх частей: «Мировой консерватизм. — Германия и Вильгельм II», «Мировой либерализм. — Америка и Вильсон», «Мировая Революция. — Россия и Ленин». Свою книгу Ключников посвятил Устрялову («Посвящаю эту книгу дорогому другу Николаю Васильевичу Устрялову»), принудительно сделав его свидетелем своего крайне неудачного и фальшивого сочинения<sup>45</sup>. Устрялов, прочитав его, испытал плохо скрываемое омерзение и записал в дневнике 28 июля 1922 г.:<sup>46</sup>

«Прочёл книжку Ключникова “На великом историческом перепутьи”. Хотя она и посвящена мне, но всю её концепцию я ощущаю, как нечто глубоко мне чуждое, несоизмеримо далекое. Больше того: книга эта просто представляется мне неудачной, неинтересной. Основная схема её, до уродливости искусственная и натянутая, в то же время идейно убога. “Мораль, право, политика — мировой консерватизм, мировой либерализм, мировая революция — Германия Вильгельма, Америка Вильсона, Россия Ленина”. Философские рассуждения о морали, праве и политике совершенно кустарны, — даже трудно поверить, что они принадлежат человеку, прошедшему философскую школу. (...) Можно ли молчать дальше и делать вид, что всё благополучно в сменовеховском королевстве?»<sup>47</sup>

Управляющий представитель советских собственников и кураторов в проектах «Смены Вех» П.А. Садькер очень многозначительно акцентировал внимание в заурядном обзорном тексте на логическом единстве (и, значит, равном интересе большевиков

---

<sup>45</sup> Известна дарственная надпись автора на титульной листе этой книги одному из самых радикальных большевистских вождей: «Многоуважаемому Николаю Ивановичу Бухарину от автора. Берлин, 1923» (Инскрипты С.Н. Булгакова (1896–1912), Ю.В. Ключникова (1923), Г.Г. Шпета (1928), П.Б. Струве (1911–1942), В.В. Зеньковского (1955) / Публ. М.А. Колерова // Исследования по истории русской мысли. 8. Ежегодник за 2006/2007 год. М., 2009. С. 517).

<sup>46</sup> Надо сказать, что и Ключников перестал нуждаться в Устрялове: «От Ключникова – ни строчки с самой Генуи», – записывал тот в дневнике 1 января 1923 (А.В. Квакин. Между белыми и красными. С. 89). Встретились они лишь в Москве летом 1925 года, чтобы больше не видаться и не общаться.

<sup>47</sup> Цит. по: Философский хронограф: [runivers.ru/philosophy/chronograph/476416/](http://runivers.ru/philosophy/chronograph/476416/)



к ангажированию) «сменовеховцев» и евразийцев, которые ещё не преодолели маргинального статуса. Он цитировал ещё одного эмигрантского юриста–международника, малоизвестного старшего коллегу Устрялова по Пермскому университету, находя в его брюзжании необходимый смысл: *«Смена Вех» это проявление шовинизма, разбуженного мировой войной. Это французская бравада, это Deutschland, Deutschland über alles... Она родственна Евразии. Евразия слева и справа сливаются. Не случайно, что во главе «Смены Вех» стоят Ключников и Устрялов. Им всё равно, на каком фланге стоять, им надо верить в мессианизм. Он перебрисился налево – и они там»<sup>48</sup>.*

В своих первых номерах журнал «Смена Вех» – крайне неосторожно, если бы он хотел выглядеть частью политического класса русской эмиграции, и совершенно логично, если знать его стопроцентное советское происхождение и содержание, – демонстрировал свою принадлежность именно советской повестке дня и даже хорошо известной по названиям рептильной и кондовой просоветской прессе в зарубежной Европе. Например, когда после дебюта «Смены Вех» в советской центральной и просоветской зарубежной печати<sup>49</sup> прозвучал залп монотонных приветствий, журнал аккуратно перепечатал его на своих страницах, демонстрируя не столько советское признание своего отнюдь не очевидного авторитета, сколько уже состоявшуюся прямую причастность к Советской власти. Из «Известий» (13 октября 1921 г.) была перепечатана статья их главного редактора, старого марксиста и крупного большевистского пропагандиста Ю.М. Стеклова. Он напоминал, что ещё 7 августа «чутко» анонсировал начало «перелома» и «отрезвления» в среде интеллигенции и что чутьё его не обмануло и «оформилось» в сборнике, авторы которого, неожиданно все ставшие «видными кадетами» (такowymi – недолго и в прошлом – были из них лишь Ключников и Устрялов), *«проверив свою совесть, нашли в себе мужество разбить свои старые кумиры и придти поклониться молодому*

<sup>48</sup> П. Садькер. «Вехи смен» (Лекция проф. А.М. Горовцева) // Смена Вех. № 11. Париж, 7 января 1922. С. 20.

<sup>49</sup> На новом пути // Новый мир. Берлин, 16 октября 1921; «Смена Вех» // Новый путь. Рига, 21 октября 1921; Идеология «второго дня» // Путь. Гельсингфорс, 25 октября 1921. Советские: Н. Гредескул. «Смена Вех» // Известия ВЦИК. М., 11 ноября 1921; Победит пролетарий! // Гудок. М., 15 октября 1921.



богу революции». И здесь же — эксплуатировал саму преемственность от старых «Вех», которую проекту невольно подарил сам Устрялов своей публицистикой 1920 года — так, что в 1921 году Ключников был обязан сделать её центром проекта. Коммунист Стеклов писал в своём наставлении (курсив Стеклова) о том главном, что хотел получить от проекта советский заказчик — нет, не идеологию великой державы, а капитуляцию — не перед государственностью, а перед революцией:

«В 1909 году, *после разгрома первой революции*, группа кадетов и раскаявшихся интеллигентов выпустила нашумевший сборник "Вехи", вполне ренегатского пошиба. В этих "Вехах" авторы ставили крест на революцию (...) Воспоминание об этом акте самобичевания интеллигенции стояло перед авторами нового сборника, выпущенного в Праге в половине 1921 года, *после разгрома контрреволюции*. (...) чтобы преклониться перед величием революции, совершаемой угнетёнными классами...»<sup>50</sup>.

И, не стесняясь своего хозяйского и руководящего тона, Стеклов обнажал инструментальную задачу: *«авторы сборника знают, что именно они выражают истинное настроение и интересы широких интеллигентских кругов, если не сегодняшнего, то завтрашнего дня»*<sup>51</sup>. В той подборке откликов печати повторено и то, что «веховскую» линию в «Правде» (14 октября 1921 г.) развил тоже старый большевик, создатель и первый глава советской цензуры, глава советской издательской монополии Н.Л. Мещеряков. Он назвал свою статью в рифму к известному эсеровскому сборнику статей, специально посвящённому критике старых «Вех» («Вехи», как знамение времени, 1910) — «Знамение времени». Он тоже барственно поставил перед «сменовеховцами» безальтернативные задачи, которые они были счастливы перепечатать: *«Мы сказали, что авторы книги сохранили ещё многие пережитки своей старой психологии. Но жизнь учит,*

---

<sup>50</sup> С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех») // Смена Вех. № 6. Париж, 3 декабря 1921. С. 12–13. Примечательно, что сам старый большевик Ю.М. Стеклов после 1909 года, а именно в 1911 году, будучи большевиком, настойчиво предлагал свои услуги как писателя — именно Струве (см. письма Стеклова к Струве от 2 мая и 6 июня 1911: РНБ, АДП. Ф.753. Ед.хр. 106).

<sup>51</sup> С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех»). С. 14.

*и они способные ученики. Логика жизни заставит их идти всё дальше и дальше по пути сближения с революцией. Авторы прокладывают новые вехи по пути сближения интеллигенции с революцией»<sup>52</sup>.*

Здесь надо сфокусировать внимание на перекличке высших партийных пропагандистов Стеклова и Мещерякова с Ключниковым и Устряловым о «Вехах», которая была важна для принципиального перехвата идеологического лидерства у «Вех» и их вождя Струве, который в 1920–1925 гг. стоял в центре идейной мобилизации антисоветской эмиграции, раскола его на движения наследников в национал-большевизме и евразийстве. Эта несомненная руководящая связь старых марксистов с молодыми учениками «Вех» вокруг идей «веховского» этатизма – свидетельство высшего уровня принятия решения о проекте «Смены Вех», наверное оставшегося полностью неизвестным для простых сотрудников проекта, даже руководителей второго уровня. Даже такой опытный советский агент, работавший ещё в репильной советской прессе за границей, глава журнала «Новая Россия» Исая Лежнёв считал нужным отрицать эту связь, ретранслируя позицию «сменовеховской» пехоты С.С. Лукьянова: *«Заглавие и отчасти первая статья сборника многих толкнули на мысль, что мы сменяем “Вехи”, а не вехи. Между тем, ни Ю.В. Ключников, ни я, ни другие участники сборника, а тем более – журнала, не исходили и не исходим из веховской идеологии»<sup>53</sup>.*

С особым вниманием журнал «Смена Вех» перепечатал выступление военного вождя и второго (после Ленина) по авторитету идеолога коммунистов Л.Д. Троцкого на Втором Всероссийском съезде политпросветов в октябре 1921 года, который, как знающий перспективы ответственный человек, рассказал о будущем проекта «Смены Вех» и о том, как он намерен использовать его в деле политического воспитания служащего в Красной Армии старого офицерства (в том числе, очевидно, и бывшего белого офицерства). Он говорил об авторах сборника и вменяемых им планах:

«Они остановились на полдороге, но на полдороге на пути к нам. Некоторые пойдут дальше по этому пути, и этот путь есть тот путь,

---

<sup>52</sup> Там же. С. 14.

<sup>53</sup> И. Лежнев. «Смена вех» // Новая Россия. Пг., 1922. № 1. С. 61.

по которому к нам приближаются лучшие элементы старого командного состава. Нужно, чтобы в каждой губернии был хоть один экземпляр этой книжки — «Смена Вех». Я думаю, что эта книга будет не единственной. Этот перелом в сознании эмигрантской патриотической интеллигенции обозначился. Вехи сменяются и будут другие книжки — издания этой группы. (...) Это нам для перевоспитания командного состава старой школы — дар великолепный. Его нужно уметь использовать на местах. Нужно оперировать с цитатами из книжки, разъяснять её...»<sup>54</sup>

Именно в таком плену, по-видимому, сначала неожиданно для него самого, и оказался Устрялов — как наиболее сильная интеллектуальная фигура, но изолированная в своём Харбине и от белого русского Парижа, и от красно-белого, «переходного» Берлина, и от красной Москвы.

Активная эксплуатация мифа и наследия «Вех», в которых большевики, рекламируя «Смену Вех», более всего акцентировали внимание на разрыве с либеральной интеллигенцией, а сами идейные наследники «веховства», идущие на примирение с большевиками, — на разрыве с революционной борьбой против власти и примирении с исторической государственностью, то есть компромиссе с действующей властью, заставила и самого Струве запланировать переиздание «Вех», сопроводив их своей новой интерпретацией<sup>55</sup>, и до того поторопиться — на правах «главного» автора сборника, ещё в 1909-м почти монополизовавшего его толкование — рассказать, как, по его мнению, следует применять наследие «Вех» в отношении к большевизму и советской России, советской власти.

---

<sup>54</sup> С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех»). С. 20–21. Об использовании сборника в коммунистической пропаганде коммунисты тогда же сами рассказывали откровенно: Коммунист о «нововеховцах» // Вестник литературы. № 1 (37). Пг., 1922 (январь). Агитпроп ЦК РКП(б) 30 сентября 1922 поставил задачи: «ведение сменовеховской агитации, особенно там, где невозможна или затруднена коммунистическая пропаганда, оказание материальной помощи, издание центрального сменовеховского студенческого органа, расширение студенческого бюллетеня при «Накануне», снабжать библиотеки в эмиграции сменовеховскими изданиями» (А.В. Квакин. Между белыми и красными. С. 12).

<sup>55</sup> М.А. Колеров. Материалы к творческой биографии П.Б. Струве // Вопросы философии. М, 1992. № 12.

Нет сомнений в том, что финансируя сборник, большевики делали длинную ставку на идеологическую борьбу за широкое официальное признание Советской России за рубежом, раскол и нейтрализацию политической антибольшевистской («белой») эмиграции, идейное подчинение интеллигенции, живущей в России и массово служащей в советских органах власти, чтобы обеспечить её полную политическую лояльность, то есть практически исключить любые её надежды на действительную «коалицию» с большевистской диктатурой и попытки влияния на принятие руководящих решений.

Похоже, персональным руководителем проекта «Смены Вех» в Политбюро был именно Сталин, выступавший за то, чтобы – ради влияния на эмиграцию – позволить ему в своих изданиях (в частности, газете «Накануне») идейно быть более самостоятельным, менее «советским», чем этого требовали штатные пропагандисты, а в Политбюро – сам Троцкий. Но быстрое превращение Ключникова в успешного советского чиновника в России, а газеты – в примитивный большевистский орган, заставило руководство большевиков летом 1924 года закрыть это предприятие в виду его политической бессмысленности. С марта 1922 года в России большевики издавали и специальный «независимый» журнал «Новая Россия», превратившийся в инструмент гонорарного подкупа художественной интеллигенции несоветского типа, но и он к 1926 году исчерпал свой пропагандистский смысл и был закрыт. В том же году Ключников предлагал Сталину создать под его, Ключникова, руководством в Советской России «беспартийную» газету, но тщетно. Политбюро решило на этом «закончить работу в отношении интеллигентских антисоветских группировок» в России, видимо, сочтя её исчерпанной<sup>56</sup>.

<sup>56</sup> См. письмо Н.Н. Крестинского И.В. Сталину от 23 августа 1922; письмо Л.Д. Троцкого в Политбюро ЦК РКП(б) от 29 августа 1922; постановление Политбюро о конфликте в редакции газеты «Накануне» от 7 сентября 1922; постановление Политбюро о «Накануне» от 21 сентября 1922; письмо Н.Н. Крестинского И.В. Сталину о «Накануне» от 29 апреля 1923; постановление Политбюро о газете «Накануне» от 3 июня 1924; постановление Политбюро о «Накануне» от 14 августа 1924; постановление Политбюро о закрытии издательства «Новая Россия» от 7 июня 1926; письмо И.В. Сталина Ю.В. Ключникову от 20 августа 1926 (Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 гг. / Сост. Л. Максименков. М., 2005. С. 55–56, 58–59, 62–65, 69–70, 76, 83, 112–113).

Советской властью сборник «Смена Вех» был не только издан за границей и разрекламирован в рептильной заграничной прессе, широко расхвален в центральной партийно-советской печати, но и советской политической цензурой сборник был допущен к продаже в России. Эта книга «оказалась первой из изданных за границей книг политического содержания, поступившей в продажу в Петербурге», – свидетельствовал орган петербургских несоветских писателей<sup>57</sup>. Не удовлетворившись этим, Советская власть уже в самом начале 1922 года переиздала сборник «Смена Вех» массовыми тиражами в государственных издательствах в Смоленске и Твери<sup>58</sup> и была настолько уверена в контролируемости процесса пропаганды, что даже позволила собрать и издать значительным (5000 экземпляров) фактически анти-«сменовеховский» сборник статей, составленный по итогам разрешённых публичных дискуссий о «Смене Вех» с участием бывшего участника сборника «Вехи» А.С. Изгоева, к тому времени уже неоднократно посидевшего в советских концлагерях. Находившиеся тогда ещё в России другие авторы «Вех» (Булгаков, Бердяев, Франк, Гершензон) к этой дискуссии привлечены не были. Изгоев в своём анализе весьма точно определил то главное, что связывает старые «Вехи» и «Смену Вех» и что, можно продлить его мысль, возлагает прямую интеллектуальную ответственность за поклонение сторонников «Вех» большевизму. Изгоев назвал это «мистикой государства», но законно усомнился, что тогдашние большевики готов будут принять признание, утверждая «классовый» характер Советской России<sup>59</sup>.

<sup>57</sup> Литературная хроника. В Петербурге // Летопись Дома Литераторов. № 4. Петербург, 20 декабря 1921. С. 10. Здесь же было размещено коммерческое объявление о продаже книги в книжном магазине на Литейном проспекте, 56.

<sup>58</sup> «Сборник «Смена вех» переиздается тверским отделением гос<ударственного> издательства» (Литературная хроника. В провинции // Летопись Дома Литераторов. № 1–2 (5–6). Петербург, 15 января 1922. С. 9).

<sup>59</sup> А.С. Изгоев. «Вехи» и «Смена вех» // О «Смене вех». Пб., 1922. С. 18. С этим докладом Изгоев выступил в петроградском Доме Литераторов 5 января 1922 (Чтения и доклады // Летопись Дома Литераторов. № 1–2 (5–6). Петербург, 15 января 1922. С. 7). Этот текст Изгоева перепечатал и Струве в своём эмигрантском журнале, скрыв имя автора, видимо, чтобы не подвергать его лишней опасности в России: [А.С. Изгоев.] «Вехи» и «Смена вех» // Русская Мысль. Прага, 1922. Кн. III. О генетической связи «Смены Вех» с «Вехами» см. современные сборнику подсоветские отклики: А.К<ауф>

Всё это происходит на фоне уже описанной в литературе непубличной активности советских властей, ни от кого ныне не скрытой и не скрываемой, но лишь для большинства биографов Устрялова непосильной настолько, что о ней они предпочитают молчать. Вот, например, появляется шифротелеграмма представителей НКВД РСФСР из Берлина главе НКВД Г.В. Чичерину и председателю СНК В.И. Ленину от 9 октября 1921 г. — о предложении Ю.В. Ключникова и В.Н. Львова («из группы “Новые вехи”») о сотрудничестве в деле советской пропаганды в США на условиях финансирования и предоставления инструкций: «эти люди в качестве наших агентов, действуя под нашим контролем, могут сделать большую политическую работу». Резолюция Ленина: «т. Молотову. оч. важно! надо поддержать». Информация о поддержке инициативы членами Политбюро ЦК РКП(б) Сталиным и Каменевым<sup>60</sup>. Вот решение Политбюро от 9 февраля 1922 г.: о «сменовеховских» изданиях за границей, в том числе газеты («особенно во время Генуэзской конференции»), «издание нового сборника «Смена Вех» признать желательным» и переиздать старый, одобрить кандидатуру Ключникова в качестве эксперта советской делегации на Генуэзской конференции<sup>61</sup>.

---

ман». О «Смене вех» // Вестник литературы. № 12 (36). Пг., 1921 (декабрь); К. Боженко. Рубка вех // Вестник литературы. Пг., 1922 (январь). № 1 (37).

<sup>60</sup> В жерновах революции. Российская интеллигенция между белыми и красными в пореволюционные годы: Сб. документов и материалов / Под ред. М.Е. Главацкого. М., 2008. С. 112. См. также о финансировании, издании, учреждении «сменовеховских» проектов, их руководстве: постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 22 ноября 1921; записка главы НКВД РСФСР А.В. Чичерина секретарю ЦК РКП(б) В.М. Молотову «О нашей печати в Германии» от 26 декабря 1921; постановление Политбюро от 9 февраля 1922: «О сменовеховских изданиях за границей»; постановление Политбюро от 13 марта 1922 «О финансировании новой берлинской газеты (Предложение т. Крестинского)»; постановление Политбюро от 11 мая 1922 о дополнительном ассигновании на газету «Накануне»; итоги личного обсуждения газеты «Накануне» В.И. Лениным с Л.Б. Красиным и И.В. Сталиным 19 сентября 1922 и т.д. (А.В. Квакин. Между белыми и красными. С. 128–133, 163).

<sup>61</sup> Там же. С. 118. Ключников горделиво писал Устрялову из Генуи 17 апреля 1922 г. — «в качестве юридического эксперта русской делегации. Первое практическое применение сменовеховства» (Приложение // Ю.В. Ключников. На великом историческом перепутье [1922] / Сост. О.А. Воробьев. С. 193).

В октябре 1921 г. в Париже начал выходить в свет еженедельный журнал «Смена Вех» под редакцией Ключникова, созданный специально для коммунистического влияния в среде эмиграции. Ближайший единомышленник Ключникова и бывший издатель еженедельника «Накануне» 1918 года Ю.Н. Потехин прямо соединял арьергардные счёты к «веховцам» с советской апологетикой. Споря с известными словами Булгакова из диалогов «На пиру богов» о факте «мистического заговора против России», Потехин восклицал: «Не за Россию ли?»<sup>62</sup>... Но продемонстрировать хотел, конечно, не столько борьбу вокруг интерпретаций «мистики государства», а свою и своих «Смены Вех» погружённость в «веховский» контекст, к которому принадлежит эта фраза из диалогов Булгаков. Ведь диалоги были написаны им в 1918 году для прямо продолжавшего сборник «Вехи» сборника «Из глубины», в авторском центре которого стояли те же Струве, Булгаков, Бердяев, Франк и Изгоев. Но поскольку этот сборник был запрещён советской цензурой, Булгаков отдельно издал свои диалоги в Киеве в 1918 году (чего Потехин не мог знать сугубо географически), а затем – в Софии в 1920 году: оба раза без указаний на «Из глубины». Только летом в Москве «Из глубины» был издан, наконец, незначительным числом экземпляров, но получил некоторую известность – именно в «веховском» кругу. Думается, что к этому кругу и хотел апеллировать Потехин, демонстрируя свою причастность и компетентность. Не исключено, что эту причастность он демонстрировал с подачи курировавших журнал советских специалистов по несветской интеллигенции. Наверное, именно кураторам была адресована финальная клятва в той статье Потехина: *«Путём естественного отбора коммунистическая партия сосредоточила в себе всё энергичное, волево, смелое и инициативное»*<sup>63</sup>.

14 ноября 1921 г. на собрании милюковской группы кадетов опытный журналист П.Я. Рысс сообщил однопартийцам: *«на ведущуюся “Сменой Вех” пропаганду деньги были получены её авторами от большевиков: часть в Праге, а другая – здесь, в Париже. Часть средств они употребляют на то, чтобы пе-*

<sup>62</sup> Ю. Потехин. Борьба за личность // Смена Вех. № 10. 31 декабря 1921. С. 8.

<sup>63</sup> Там же. С. 10.



чатать свои интервью во французских газетах (в «Журналь», «Эр-Нувель» и в других)»<sup>64</sup>.

Тогда же радикально антисоветская социалистическая газета известного разоблачителя Азефа и иных политических провокаций В.Л. Бурцева парижская «Общее Дело» опубликовала прямое указание на механизм финансирования журнала «Смена Вех» – по традиционному каналу большевистского официального и неофициального присутствия в Германии в 1921–1923 гг. – «марки из Берлина». Старый знакомый и коллега Ключникова здесь кратко признавался и утверждал: *«Я делаю над собой невероятные усилия, чтобы сохранить веру в чистоту литературных помыслов нового журнала «Смена Вех»... Мне всё думается: – а может быть, это добросовестное недомыслие? (...) марки из Берлина. Только и всего и никаких других вех, кроме валютных, тут нет»*<sup>65</sup>. Через две недели, уже в партийном органе открытом при советской помощи из Берлина журнале «Смена Вех», ему манерно и многословно ответил сам Ключников: *«А.А. Яблоновскому угодно было в силу нашей давнишней с ним дружбы несколько выделить лично меня из числа моих сотоварищей и обратиться ко мне с персональным вопросом...»* и так далее. Нет сомнений, что все читатели заметили главное: ответа на главный вопрос – о большевистских деньгах, о подкупе – не последовало, даже упоминания об вопросе не прозвучало<sup>66</sup>. Это стало ещё одним, публичным, из первых рук, подтверждением того, что сделка состоялась.

Похоже, именно в эти дни Ключникова посетила крайняя мания величия. Признания Ключникова вызывали у Устрялова оторопь и лишь слабый протест, что обнажало и в самом Устрялове некоторую зачарованность идейно-политической властью, неожиданной свалившейся на них славой и видимостью исторического влияния на судьбу России. Ключников писал Устрялову 8 ноября 1921 г.:

---

<sup>64</sup> Протокол заседания Парижской демократической группы партии народной свободы 14 ноября 1921 // Протоколы заграничных групп Конституционно-демократической партии. Июнь-декабрь 1921 г. / Сост. Н.И. Кашицева. М., 1997. С. 409.

<sup>65</sup> Александр Яблоновский. Подкидыши // Общее Дело. 4 ноября 1921. С. 2.

<sup>66</sup> Ю. Ключников. Наш ответ // Смена Вех. № 4. Париж, 19 ноября 1921. С. 2.



«я уже и теперь **не боюсь никакой близости с большевиками** и охотно поеду в Россию работать, едва только у меня к тому будут возможности. Скажу также: сейчас прямое сотрудничество с Советской властью для меня уже не вопрос принципа, а лишь конкретных условий... Мы вольёмся новой, свежей струёй в русскую жизнь. И вот именно потому, что хочется и нужно быть **новой** струёй — в этом наш смысл — я не могу уже упиваться великодержавными и националистическими мечтами в стиле покрасневшего Струве. Горизонты сейчас шире, возможности — больше... (...) пусть большевики стали реалистами, пусть они научились делать уступки; это уже не только радость — но и опасность. Кто-то обязан взять у них и понести далее **часть** их былого опьянения, размаха... И вот я знаю, что чем бы уже ни кончилась русская революция, я буду носителем этого её опьянения **и ради России, и ради всего мира**... (...) я уверен, что мне удалось бы помочь Вам из национал-либерала превратиться в интернационал-либерала, из национал-большевика в большевика «второго дня революции»...»<sup>67</sup>.

Тем красноречивей на этом фоне выглядит внутренняя, непубличная переписка вождей евразийства, осознанно игнорирующих скандальный шлейф вокруг Ключникова и «Смены Вех» — который, конечно же, мог бы обычной клеветой (ведь не стал же на неё реагировать такой гуру русской политической эмиграции, как посол России во Франции В.А. Маклаков, даже после того, как Ключников недобросовестно использовал его доверие)<sup>68</sup>, если бы он не подкреплялся еженедельными номерами журнала.

<sup>67</sup> Анастасия Гачева. Философская эмиграция. Сменовеховство. С. 199. Ср. статью: Идеология второго дня // Путь. № 206. Гельсингфорс, 25 октября 1921 (Там же. С. 210, прим. 54).

<sup>68</sup> В.А. Маклаков вызвал Ключникова на беседу и говорил с ним 23 октября 1921 г., после того как Ключников в Лондоне провёл переговоры с полпредом РСФСР в Лондоне Л.Б. Красиным (А.В. Квакин. Между белыми и красными. С. 149: Крестинский сообщал, что Ключников «являлся распорядителем денег, данных Красиным на издание журнала»). По итогам знакомства Маклаков письмом поделился с Ключниковым признанием того, что народ России выбрал диктатуру, а не свободу: «Ход революции научил, что сама воля народа держится за *крепкую власть*, а не за свободу, и что с точки зрения того нового, что мы думали принести миру, революция провалилась. Сознание этого провала революции не мешает ужасаться той бездне, куда эмиграция толкала Россию, чтобы уничтожить революцию...». Ключников без разрешения автора сразу же (№ 5. 26 ноября 1921) опу-

14 февраля 1922 года П.П. Сувчинский писал Н.С. Трубецкому, оценивая возможности сближения евразийцев со «Сменой Вех» (очевидно, как с делом, под которым была видна, кроме всего прочего, твёрдая финансовая основа): *«Какое Вы вынесли впечатление от Ключникова и как вообще относитесь к «Вехам»?». И сам же верно оценивал их служебный, подчинённый пафос<sup>69</sup>, особенно в сравнении с амбициями евразийства: «Я не чувствую в них того главного, религиозно-культурного устоя, который бы мог претендовать на идейное руководство в будущей России». Тем не менее «Вся Россия – не идеологически, а тактически настроена по “Вехам”»<sup>70</sup>. А 5 марта 1922 г. Сувчинский выступил с ещё более провокационным заявлением в адрес Н.С. Трубецкого, как известно, интеллектуально собственно и породившего евразийство: *«Мне казалось, что Вы ближе стоите к “Вехам”, чем я – и откровенно говоря, я боялся принять на свой риск – игнорирование Ключникова»*<sup>71</sup>.*

В марте 1922 г., с официальным переходом Ключникова на советскую службу, журнал «Смена Вех» был закрыт, а на его месте – уже в Берлине была создана ещё более просоветская газета «Накануне». В этот момент тайный советский проект, как якобы независимый навеки, прославил вождь большевиков Ленин, не стесняясь назвать вещи своими именами, но лишь скрывая нити, руководящие марионеткой. В политическом отчёте ЦК РКП(б) XI съезду РКП(б) 27 марта 1922 г. он заявил:

«сменовеховцы, как вы знаете, представляют течение, привившееся в эмигрантской России, течение общественно-политическое, во главе которого стоят крупнейшие кадетские деятели, некоторые министры бывшего колчаковского правительства — люди, пришед-

---

бликовал это письмо в журнале под криптонимом Х. (икс), сообщая, что его автором является весьма влиятельный человек («Совершенно лично и доверительно!»: Б.А. Бахметев – В.А. Маклаков. Переписка. 1919–1951. В 3-х томах. Том 2. Сентябрь 1921 – май 1923 / Общ. ред. О. Будницкого. М., 2002. С. 66, 140, 599.

<sup>69</sup> Этот служебный пафос был хорошо виден и из Советской России, где «сменовеховцев» определили как «бобчинских и добчинских революции» (Н. Чаадаев. О псевдореволюционерах, приемлющих революцию // Утренники / Под ред. Д.А. Лутохина. Кн.2. Пг., 1922. С. 187–189).

<sup>70</sup> ГАРФ. Ф.5783. Оп. 1. Д.359. Лл. 5 об.– 6.

<sup>71</sup> ГАРФ. Ф.5783. Оп. 1. Д.359. Л. 8 об.

шие к убеждению, что Советская власть строит русское государство и надо поэтому идти за ней. (...) Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть люди более прямые, в том числе Устрялов... Он не соглашается со своими товарищами и говорит: «Вы там насчет коммунизма как хотите, а я утверждаю, это у них не тактика, а эволюция». Я думаю, что этот Устрялов этим своим прямым заявлением приносит нам большую пользу»<sup>72</sup>.

Терминологически и идейно близкий к Струве анонимный автор руководимой Струве эмигрантской «Русской Мысли», идя навстречу «Смене Вех» и Устрялову и признавая органический, природный для России характер большевизма, тем не менее, осудил «народнический» (поклоняющийся народу, воле народного большинства) смысл примирения с ним и законно скептически оценил надежды на его перерождение и использование в интересах нейтральной государственности. И главное: он хотел возлагать на «Вехи» интеллектуальную ответственность за капитуляцию «Смены Вех». Он писал:

«Большевизм, в его целом, есть плоть от плоти и кровь от крови нашего русского интеллигентского народничества. Мы слишком долго и явно лелеяли большевистскую идею, слишком заботливо за ней ухаживали, чтобы теперь чувствовать себя совершенно чистыми и свободными от неё. (...) Существо «русского вопроса», для нас, русских, заключается в том: можем ли мы творчески преодолеть нашу губительную народническую идеологию, сделавшуюся нашей второй натурой. (...) Старые «Вехи» тоже указывали на мистику государства, но они были далеки от обожествления государства, а авторы «Смены Вех», может быть и бессознательно, обожествляют его. С этой точки зрения «Смена Вех» является одним из симптомов бонапартистских настроений. (...) Как злободневное политическое выступление, сборник «Смена Вех» особого интереса не представляет. Как попытка использовать коммунизм и на интернационализме построить здание Великой России, он наивен»<sup>73</sup>.

Примечательно и показательно, что «сменовеховская» газета «Накануне», несмотря на поставленную ей большевиками задачу терапевтического воздействия на интеллигенцию в антисоветской

---

<sup>72</sup> В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 45. М., 1970. С. 93.

<sup>73</sup> Н. Большевизм и русская культура // Русская Мысль. Прага, 1922. Кн. III. С. 171, 175, 177, 178.

эмиграции, похоже, вовсе не планировала хорошо справляться с этой задачей, действуя не как квалифицированный исполнительный и не как идейный союзник советской пропаганды, а как грубый раб и слуга этой пропаганды. Осенью 1922 года прошла первая очередь высылки несоветской интеллигенции из Советской России за границу и высланные знаменитости прибыли в Германию, где начали публично делиться своим подсоветским опытом, большая часть из них как раз обратила внимание на органичность большевистской власти, на возможность только мирной её эволюции и всё то, что составляло часть проповеди «Смены Вех». Отнюдь не случайно из своего идеологического далека Устрялов примирительно косвенно поддержал высланного 29 сентября Н.А. Бердяева, ссылаясь на его размышления в сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы», за участие в котором его, собственно, вместе с С.Л. Франком и другими авторами и выслали из России, — о Новом Средневековье: «как бы то ни было — идёт новая эпоха»<sup>74</sup>. Но в это время, освещая мероприятия высланных в Берлине, газета «Накануне» устами бывшего активного белого агитатора, а ныне советского агента Бориса Дюшена утверждала об их «потенциальной» враждебности Советской власти<sup>75</sup>. То, что это было не оговоркой, а позицией (и случайностью было само присутствие в газете Устрялова), ярко продемонстрировал редакционный отклик газеты на первое собрание созданной высланными Религиозно-философской академии 27 ноября 1922 года. На выступления Бердяева, Франка, Л.П. Карсавина и присутствие на эстраде Н.О. Лосского, Ф.А. Степуна и В.Э. Сеземана уже редакция (то есть коллективно) откликнулась с красноречием цепного пса, подзаводящего себя сложным или непонятным:

«Ницше и Достоевский, Христос и Антихрист, Третий Рим и Третий Интернационал, интуитивное познание Бога и философское оправдание и раскрытие догматов веры, философия — добровольная “служанка теологии”, богоборчество и богочеловечество, индивидуальное религиозно-философское просветление и отрицание значения даже смысла за человеческим социально-экономическим

---

<sup>74</sup> Н. Устрялов. Старорежимным радикалам // Накануне. № 185. Берлин, 14 ноября 1922. С. 2–3.

<sup>75</sup> Б. Дюшен. Изгнание интеллигентов // Накануне. № 195. Берлин, 26 ноября 1922. С. 2–3.

строительством... Было жутко слушать... Словно не было пятилетнего революционного борения... Если вам чужда русская революция — отойдите от жизни»<sup>76</sup>.

Крупнейшая газета русской эмиграции 1920–1930-х гг. — парижские «Последние Новости» П.Н. Милюкова, — несмотря на уже ставшее фактом «полевение» Милюкова и его собственный отказ от идеи вооружённой интервенции против Советской России, не могла не отметить очевидной политической связи «Смены Вех» (и иных, вроде евразийцев, риторически ищущих «третьего пути» между красными и белыми) с прямыми интересами большевиков. В связи с выходом в свет первого номера журнала «Смена Вех» (29 октября 1921 г.) во главе всё с тем же Ключниковым, газета писала, обнаруживая его содержательную связь с одним из главных большевистских пропагандистов и агитаторов привлечения интеллигенции на службу Советской власти, главным редактором газеты «Известия ВЦИК» Ю. Стекловым: *«Ключников, повторяя всё, до сих пор говорившееся об эмиграции Стекловым, в этом вопросе оказался мало оригинальным. (...) Мы — во всяком случае — отмечаем неоднократно уже отмечавшееся нами явление: духовное сродство между славянофильством “евразийско”-реакционного типа и славянофильством бунтарско-коммунистическим»*<sup>77</sup>.

Разоблачители были совершенно правы: параллельно успешному подкупу Ключникова и организации проекта «Смены Вех» летом 1921 года, советская разведка специально для разложения монархической части русской политической эмиграции уже в конце 1921 г. начала организацию операции «Трест», как

<sup>76</sup> Начало. № 196. Берлин, 28 ноября 1922. С. 1. Для истории остроумной, но исторически пустой, мифологемы Бердяева о преемственности идей «Третьего Рима» и «Третьего Интернационала» важна и более поздняя рефлексия Устрялова над этой связью как недобросовестной: он цитирует «Между планами Ленина и Зиновьева, готовящих триумф Третьему Интернационалу через русскую державу и славу русской державе через Третий Интернационал, — между этими планами и мистическим панславизмом Достоевского, провидевшего в России Третий Рим, призванный возглавить народы земли, — нет существенной непримиримости, даже значительного различия, особенно в области практических действий» («Revue des deux Mondes», 15 июля 1925 г.) и комментирует: «Что за странный бред? Или уже всё путается в голове испуганного парижанина?».

<sup>77</sup> Печать // Последние Новости. Париж, 30 октября 1921. С. 2.

минимум, в сентябре 1922 г. ввела своего агента П.С. Арапова в контакт с лидерами евразийства, где он действовал в составе самого высшего руководства движением до своего ареста в СССР в сентябре 1930 года<sup>78</sup>.

Но уже в августе 1921 года стал признанным массовый голод в России, который в памяти тогдашнего правящего поколения был подобен голоду 1891 года, оживившего политическую оппозицию самодержавия. Большевики вынужденно привлекли к помощи голодающим иностранцев (в первую очередь, не признающих советскую власть США) и меньшешевистскую интеллигенцию внутри страны, учредившей влиятельный централизованный комитет (ПОМГОЛ), который эмиграция сразу же сочла «теневым правительством» России. Поэтому почти сразу же активность ПОМГОЛа была подавлена властью, а его активисты жёстко репрессированы. Но голод показал всему миру и самим большевикам крах их аграрной политики. Уже весной 1922 года НЭП («новая экономическая политика»), экономическое отступление советской власти от антикрестьянской политики «военного коммунизма» мгновенно и зримо стимулировали возрождение потребительского рынка в России и оживили независимую деловую активность, породили предметные надежды иностранных капиталистов на участие в эксплуатации ресурсов России под контролем большевиков, а в политических и широких общественных кругах породили убеждение в том, что большевики действительно «перерождаются», отступают перед давлением, что породило у большевиков во главе с Лениным тревогу, что за экономическим компромиссом последует и политический компромисс с противниками их монополии на власть. Именно это стало основой для внутренне связанных крупных репрессивных кампаний советской власти против меньшешевистской общественной инфраструктуры в 1921–1922 гг.: коммунистической реформы системы высшего образования, подавления Русской православной церкви и организации её раскола и вытеснения с помощью конкурирующих

---

<sup>78</sup> Н.С. Трубецкой. Письма к П.П. Сувчинскому, 1921–1928 / Сост. К.Б. Ермишина. М., 2008. С. 34–36 (поправки к этому изданию см.: Л. Кацис. Одна сторона двух медалей // Новое литературное обозрение. № 104. М., 2010); К.Б. Ермишина. П.С. Арапов и евразийское движение (новые архивные материалы) // Записки Русской академической группы в США. Т. XXXVII. 2011–2012. New York, 2012. С. 231–236.

исповеданий, уничтожения инфраструктуры некогда крупнейшей и в 1917 году правящей политической партии – социалистов-революционеров, массовой высылки из страны руководящих или авторитетных представителей университетской, идеологической, научной, профессиональной интеллигенции, даже состоявших на ответственной службе в советских ведомствах, посеявших сомнения в их лояльности власти.

Всё это – недавняя военная победа созданной с нуля Красной армии в Гражданской войне, советская реинтеграция в состав России всех основных её имперских территорий (кроме Финляндии, Польши и Прибалтики), дипломатический успех, экономическое восстановление и экономический рост, эффективные репрессии, громкий пропагандистский успех «Смены Вех» (несмотря на совершенный консенсус в эмиграции о том, что за этим проектом и успехом, несомненно, прямо стоят большевики) – в статье, написанной в августе 1922 года, контрфактически и против растущих независимых свидетельств об успехах большевиков решил опровергнуть Струве, спасая, наверное, свой главный актуальный идейный капитал – «Вехи» – от подчинения большевистской повестке дня. Для этого ему надо опровергнуть главное: что поклонникам и наследникам «Вех» есть перед кем капитулировать, что в Советской России – есть та живая национальная государственность, которая жива не только *in idea*, но и в практической способности хотя бы минимально управлять хозяйством и государством<sup>79</sup>. О том, что военная победа Красной армии над Белой была случайной комбинацией чисто военных факторов, в печати Струве походя разъяснял, но одновременно обосновать продолжающийся в России хаос и осудить диктатуру большевиков надо было особо. Это было особенно трудно, пока Советская Россия представляла из себя

---

<sup>79</sup> Устрялов: «Через мощную, напряженно волевою власть, **и только через неё одну**, Россия может прийти к экономическому и общенациональному оздоровлению. Какой же смысл расшатывать в таких муках создавшуюся революционную власть, **не имея взамен никакой другой**, – да ещё тогда, когда наличная власть делает героические усилия восстановить государственное хозяйство, хотя бы путем постепенного возвращения к «нормальным условиям хозяйственной жизни», до сих пор ею по принципиальным соображениям уничтожавшимися?» («Национал-большевизм (Ответ П.Б. Струве)», 1 апреля 1923).



океан частно-собственнических крестьянских хозяйств, Струве специально утверждал неразрывную связь успешной патриотической государственности и массовой частной собственности и вообще – один из немногих в истории русской мысли позитивно оценивал и специально изучал частную собственность<sup>80</sup>. Это было догматически особенно важно потому, что Струве не был готов риторически похоронить большевиков (даже «народнически» переродившихся, то есть капитулировавших перед разрушительной страстью крестьянско-солдатского большинства) вместе с вдохновившим его западным промышленным социализмом. Напротив, Струве утверждал (и поддерживал!) такой нормативный образ социализма, что ему в наибольшей степени соответствовала такая диктатура, которую впоследствии антикоммунистическая пропаганда назвала «тоталитарной». И речь в этом контексте шла о государственническом перевоспитании интеллигенции, выступающей против власти, то есть – опять же о добровольном подчинении оппозиции (и всего общества в его прошлом и будущем) руководящей воле того, кому она оппонирует. И даже – обосновании такого подчинения интересами борьбы против экономической разрухи, которое, кстати, стояло в центре прямой большевистской агитации в адрес небошевистской интеллигенции. Итак, в августе 1922 года Струве уже признавал социально-политический факт революции и писал, фантастически наивно соглашаясь с тем, что «сменовеховские» апелляции к «Вехам», прямо разрекламированные большевистскими агентами и пропагандой, вдруг стали популярными в Советской России (хотя подобную же природу евразийства Струве чувствовал и описывал верно и точно):

«Анализ "Вех" (...) остался верен, несмотря на полную политическую и социальную завершенность и успешность революции. Ещё в полемике о "Вехах" я указывал, что полное торжество революции, т.е. полное низвержение монархии и полная экспроприация землевладельцев и капиталистов, не только не "сняло" бы, а, наоборот, обострило бы и обнажило бы основную проблему "Вех": *перевоспитание интеллигенции и, через неё, всего национального духа вообще*. Теперь мы

---

<sup>80</sup> См.: «Отечество и Собственность» Струве, а также ряд трудов Б.Н. Чичерина и И.А. Ильина.



вновь, в условиях неслыханного хозяйственного разорения, стоим перед этой проблемой. (...) Идеология “Вех”, никогда не имевшая положительного успеха в интеллигенции, буквально потонула в стихии революции. И тем знаменательнее её возрождение в Советской России...»

В 1924–1926 г. руководство СССР окончательно покончило с организационной поддержкой проекта «Смены Вех». По докладу заведующего отделом печати ЦК ВКП(б) И.М. Варейкиса 28 октября 1925 года Политбюро приняло решение запретить издание в СССР только что вышедшего в Харбине представительного собрания практически всех политических статей Устрялова за 1920–1925 гг. «Под знаком революции»<sup>81</sup>. Известный книголюб, Сталин заблаговременно изучил эту книгу: находясь на отдыхе в Сочи, Сталин запросил и 9 сентября 1925 г. получил, среди государственных документов, устряловскую «Под знаком революции»<sup>82</sup>. Чуткий к личным выпадам и намёкам, проигравший внутрипартийную борьбу один из бывших вождей мировой революции интернационалист Лев Троцкий знал, что строителя «социализма в одной стране» Сталина можно уязвить Устряловым как жупелом русского националиста. В известной речи на заседании Президиума ЦКК РКП(б) в июне 1927 года он запоздало разоблачил: «Устрялов не нас поддерживает, он поддерживает Сталина».

<sup>81</sup> РГАСПИ. Ф.17. Оп.1. Д.526. Л.5. Название сборника «Под знаком революции» (Харбин, 1925) находится внутри одного текста с советским официальным марксистским журналом «Под знаменем марксизма» (М., 1922–1944). А они вместе – в контексте знаменитого раннего сборника статей Н.А. Бердяева «Sub specie aeternitatis» (СПб., 1907) (*под знаком / с точки зрения вечности, Б. Спиноза*), который претендовал задать русскому революционному социализму новую высшую иерархию ценностей – с точки зрения вечности, формула которой была позаимствована им у популярного тогда неокантианца В. Виндельбанда. Поскольку сам Устрялов считал, что именно его текст, объявивший, что «объединение России идет под знаком большевизма» («Перелом», 1 февраля 1920) положил начало «национал-большевизму», то его аллюзия на книгу Бердяева очевидней аллюзии на марксистский журнал. Вновь следует обратить внимание на то, что внутри «под знаком революции / большевизма / вечности» для Устрялова скрывалось «под знаком наличной власти» («Смысл встречи», 12 февраля 1922»).

<sup>82</sup> С.С. Хромов. По страницам личного архива Сталина. М., 2009. С. 9.

Специальные усилия советских властей сместились в адрес евразийства и только набирали обороты. Это точно почувствовал Устрялов, имя которого продолжала склонять советская пропаганда в качестве затаившегося и двоедушного попутчика и врага, из-за угла поджидающего гибели большевизма, — и начал искать формат для союзничества с евразийством. В СССР, вплоть до арестов 1945 года в Праге евразийцев П.Н. Савицкого и близкого к нему К.А. Чхеидзе, а также Л.П. Карсавина в Вильнюсе в 1949-м, похоже, принадлежность к евразийству не была поводом к политическим обвинениям. Несмотря на известный раскол довоенного евразийства (когда Савицкий и Чхеидзе отвергли многолетнюю линию на сотрудничество П.П. Сувчинского и П.С. Арапова с советскими спецслужбами), оно на пике своего развития также было прозрачно для советских властей, поддерживалось ими, внушало им надежду на соучастие в эволюции руководства ВКП(б)<sup>83</sup> — и на сотрудничество с ними шли солидарно все вожди евразийства, расколовшись лишь от полного подчинения евразийской организации Кремлю и его жёсткой линии. Евразийство оказалось более интеллектуально глубоким и развитым движением, которое хорошо встраивалось в сталинскую доктрину «социализма в одной стране» и имело ряд эффективных научно-практических применений в деле освоения стратегического ландшафта СССР. Логично, что чуткий к центрам идейной силы и вниманию власти, но привязанный к Харбину, Устрялов попытался «пересесть» из естественно умершей без государственной поддержки конструкции «сменовеховства» в разветвлённую сеть евразийской организации, ведущую активную издательскую деятельность.

Из своего едва ли не астрономического далека, но находясь уже на советской службе<sup>84</sup> Устрялов обращался к одному из идейно-практических вождей евразийства П.П. Сувчинскому в письме от 31 октября 1926 г., высокомерно снижая его (хорошо

---

<sup>83</sup> М.А. Колеров. О любви евразийства к СССР: письмо Л.П. Карсавина к Г.Л. Пятакову (1927) // Русский Сборник: Исследования по истории России. XIV. М., 2013. С.415—421.

<sup>84</sup> Устрялов, помимо преподавания на независимом русском Харбинском юридическом факультете, работал на принадлежавшей СССР КВЖД и принял советское гражданство («к весне 1924 Устрялов уже состоял советским гражданином»: О.А. Воробьёв. Трагедия перерождения (Николай Устрялов и «Смена Вех») // Н.В. Устрялов. Очерки философии эпохи. М., 2006. С. 11).

известный ВКП(б)!) практический вес, пытаюсь выговорить себе дополнительное руководящее место в его системе, и главное выдвигая вместо мёртвого «сменовеховства» имя якобы существующего вне самого Устрялова национал-большевизма:

«Давно я уже очень пристально присматриваюсь к евразийству. Читал все Ваши сборники. Чувствую в них много себе созвучного. Слывя “сменовеховцем”, я в действительности ближе к евразийству, нежели к недоброй памяти европейскому сменовехизму. Недавно в статье П. Б. Струве («Возрождение» 7 октября) прочёл, что “левое евразийство” тождественно “национал-большевизму”. Кажется, Струве в известной мере прав. Да, национал-большевизм, несомненно, соприкасается с евразийством. Но разница между ними в том, что судьба сделала из меня более политического публициста, чем философа национальной культуры. Вы, евразийцы, далеки от непосредственных и текущих злоб дня. Вы куёте большую идеологию, расположившись в стороне от политических битв, базаров и суетни. Вы — в эмиграции (...) уже давно я не эмигрант, а “внутрироссийский интеллигент”, хотя и живущий ныне за границей. Вы понимаете, что в этом положении есть и свои плюсы, и свои минусы. (...) Когда я выступил с первыми “примиренческими” статьями («В борьбе за Россию»), было тоже очень, очень трудно. Много пришлось передумать и, что греха таить, пере мучиться. Долгое время я был совсем одинок. Приходили, правда, спутники, которым лучше бы и не приходиться...»<sup>85</sup>

Представляя себя специалистом по советской политической практике, Устрялов, однако, никак не мог понять одновременно зависимой и провокационной природы риторического радикализма евразийства (по крайней мере, той его части, что действовала в согласии с советской разведкой), который природные «идеократические» претензии евразийцев *вместе с* ВКП(б) сформировать для СССР «правлящий отбор», то есть новую элиту, превращал в декларации об элите *вместо* ВКП(б)<sup>86</sup>, то есть выявлял для

<sup>85</sup> Н. В. Устрялов. Письма к П. П. Сувчинскому. 1926–1930 / Сост. К. Б. Ермишиной. М., 2010. С. 16–17.

<sup>86</sup> Активный евразиец и, кстати, противник советских агентов в евразийском движении, — тот не чувствовал провокационного характера этих претензий: «В случае, если ВКП(б) переродится и займёт положение, соответствующее положению правящего отбора, противникам ВКП(б) «нечего будет делать». О возможностях и признаках такого перерождения много и основательно писал Н. Устрялов... Но из мыслей Устрялова не вытекают

Сталина всех потенциальных его противников внутри СССР. Устрялов писал одному из советских агентов в евразийском руководстве Сувчинскому 5 октября 1927 г.:

«В своё время я очень предостерегал отсюда сменовеховцев от излишних слов лести по адресу большевиков, утверждая, что это — очень плохая тактика. Они не послушались и погибли. Теперь считаю долгом, если позволите, предостеречь и вас, евразийцев, от преждевременной и демонстративной “фашизации” вашего движения. Ценность евразийства — в его *пореволуционности*, в его “имманентности” послереволюционным процессам. (...) Ваши интуиции зовут вас на пореволуционный путь. А вы сбиваетесь на революционный, то есть банально контрреволюционный. ..., перебрасываетесь неизбежно на ту сторону революции. (...) Поймите, что в плане конкретно-политическом сейчас совсем *не время* громко говорить о замене коммунистов вообще, о наследниках большевизма, о новой единой и единственной партии, “предлагаться” в наследники и т.д.»<sup>87</sup>

Впрочем, подобные слова о фальши чрезмерной ангажированности тех, кто примирялся с большевизмом — не важно: как лишь реальностью, как хозяином положения или как стороной тайного соглашения — были сказаны, в первую очередь, в адрес самого Устрялова и его коллег по «Смене Вех». Крупная берлинская газета традиционной кадетской эмиграции «Руль», руководимая И.В. Гессеном, писала об них так: *«Нельзя, конечно, отрицать, что в направлении советской политики, — по крайней мере экономической, — произошёл крутой поворот. Термидор это или не термидор, судить ещё рано. Но забегать вперёд перед большевиками, ласково заглядывать им в глаза и вилять хвостом, как это делают некоторые участники сборника,... тактика, отнюдь не содействующая ни успешности советского термидора, ни интересам самой интеллигенции, ни её достоин-*

---

никакие нравственные и политические выводы, если не считать общего призыва к «не-деланию» в уповании, что «всё образуется». В устряловском национал-большевизме совершенно отсутствует воля к политическому действию» (К.А. Чхеидзе. Евразийство и ВКП(б) [1929] // Константин Чхеидзе. Путь с Востока. С. 327).

<sup>87</sup> Н.В. Устрялов. Письма к П.П. Сувчинскому. С. 19–20.

ству»<sup>88</sup>. Надо отдать Устрялову должное: умерив свои амбиции, публично он вполне адекватно оценил амбиции евразийства – в том же 1927 году, во втором издании своего сборника «Под знаком революции»:

«Евразийство, ... окунаясь в политику, не избегло общеэмигрантской доли, когда вдруг вздумало мечтать о роли "идейного штаба" для формирующегося "правлящего слоя" СССР. Не могут люди не словесно, а подлинно и до конца осмыслить, что "смена" со всеми своими "штабами" формируется "там", созревает непосредственно в революции, вскармливается и вспаивается революцией. ... Нельзя ободрять себя примером дореволюционной эмиграции, из женеvских мансард перекочевавшей разом в Кремль: ибо новой великой революции не может быть и не будет» («Фрагменты»).

Контрреволюционному радикализму и активизму, реакционной революционности Струве, то есть тому, что было нового в его либерально-консервативном «веховстве», начиная с конца 1917 года, когда он, ещё спасая основы своего либерализма от, в конечном счёте, монархического перерождения, пытался изобразить большевистскую революцию как акт контрреволюции, хаотического разрушения свобод и прогресса, Устрялов остроумно противопоставил самого Струве эпохи «Вех». Тогда Струве сам боролся против слепого активизма за органическое воспитание и пересоздание жизни. В «Вехах» Струве писал: *«Революцию делали плохо. (...) суть дела... не в том, как делали революцию, а в том, что её вообще **делали**»* («Интеллигенция и революция»). Теперь же Устрялов успешно побивал его собственным же его оружием: *«Перефразируя старые слова, можно сказать: "Контрреволюцию делали плохо. Но не в этом суть дела. Она не в том, как делали контрреволюцию, а в том, что её вообще делали"». Это не только вывод из прошлого, но и урок для будущего»* («Из записной книжки 1926–1927 годов»)<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> П.Ш. «Смена вех» // Руль. Берлин, 27 ноября 1921.С.6.

<sup>89</sup> См. также: «Рассуждая по существу, я должен сказать о русской революции 1917 и след. гг.: она была, как факт народной жизни, великое бедствие и, поскольку её «делали», великая ошибка» (П.Б. Струве о смысле русской революции. Три письма к Е.Д. Кусковой / Публ. Г.П. Струве // Мо-

Как всегда это происходит с идейным цитированием, заимствованием формул, вместе с прямыми ссылками на формулы – вольно или невольно, рационально или «контрабандой» – воспроизводится и их мыслительный контекст, сопутствующие им границы применения этих формул, их *текст*. *Текстом* «веховского» отвержения радикализма и противопоставления ему органического воспитания общества, на пути к которому достигалось предварительное равновесие общества, в политической практике, была мечта о (**просвещенной**) диктатуре, к которой уже в 1918 году склонялись либералы Новгородцев, Струве, Устрялов, которую в 1920 году в Крыме реализовывал Врангель в своей «левой политике правыми руками», с чем смирялся в большевистской России Устрялов, начиная с 1920 года. Текст этого уже был дан и в «веховской» статье Струве, который там ясно говорил о политической практике: *«Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия»*. А в одной из своих столь же несомненно выученных Устряловым статей 1917 года, направленных против революционного и большевистского хаоса, Струве давал такую формулу *правильного* социализма, что она ни на йоту не отошла от марксистской догмы, которой в конце 1920-х гг. и последовали большевики, начиная сверхцентрализованную индустриализацию и репрессивную коллективизацию в экономике СССР: *«Русская революция, по своему объективному смыслу и реальному значению, есть не торжество социализма, а его попрание и крушение. Ибо что такое социализм? Прежде всего это такое упорядочение производства и вообще всей экономической жизни, которому должны подчиняться все групповые и личные интересы»*<sup>90</sup>.

Охлократия 1917–1918 годов большевиками уже была преодолена. На очереди стоял деспотизм и признание его – с тайной надеждой, что он будет соответствовать национальным интересами. Деспотизм и его признание требовали жертвы.

---

сты: сборник статей к 50-летию русской революции. Мюнхен, 1967. С. 212 (письмо от 2 февраля 1940)).

<sup>90</sup> Пётр Струве. Иллюзии русских социалистов // Русская Свобода. № 7. Пг., 1917. С. 3.

В итоге — в 1927 году признание прозвучало и от Струве, и трудно сказать: насколько критичное и осмысленное, особенно помня, что историческим фоном для него в СССР стала уже полугодовая «военная тревога», всеобщее ожидание войны и белогвардейской интервенции, кризис в отношениях с Англией и Польшей, военное обострение в Китае, политический разгром оппозиции «интернационалиста» Троцкого, о которых ежедневно писала советская печать, а крестьянство уже стало накапливать продовольственные запасы. На этом фоне активного *советского патриотизма* и зафиксированного спецслужбами пассивного ожидания поражения большевиков Струве выступил, наверное, крайне несвоевременно, что с конца 1920-х с ним происходило всё чаще:

«Рядом со страстью свободы нужна и другая страсть — государства и государственной мощи. (...) В том стихийном национализме, которым охвачена молодёжь и внутри России, и за рубежом,— сквозь все чрезмерности и уродства — обнаруживается здоровая и творческая страсть к государственной мощи. Этой страсти прежняя русская интеллигенция не знала»<sup>91</sup>.

Идеалистический и амбициозный, жертвенный национал-большевизм, движимый идеей *сопричастности судьбе страны*, проиграл пафосу властвования, практической выгоде *участия во власти* (вовсе не идейного или руководящего, как мечтали национал-большевики, а чисто бюрократического, исполнительского и потребительского). Но эта жертва исходила из презумпции того, что власть действует адекватно национальным интересам, была авансовой жертвой в пользу лишь отчасти реальной, негарантированной возможности. То есть была жертвой не государству, а власти, которая не гарантировала и не собиралась гарантировать жертвователю оправданности жертвы и следования государственным интересам.

То, что случилось потом, 22 июня 1941 года, когда исторически, политически и морально, несмотря на усилия Гитлера использовать коллаборационистов внутри СССР для развязывания новой Гражданской войны, новая Гражданская война не началась,

---

<sup>91</sup> П. Струве. Дневник политика. 235(34): Несколько признаний и заветных мыслей // Россия. № 19. Париж, 31 декабря 1927. С. 1.

а прежняя — кончилась, случилось совершенно независимо от национал-большевизма Устрялова. Но в том факте, что наибольшая часть русской эмиграции вне СССР выступила против Гитлера, а после, в годы «холодной войны», старшая русская политическая эмиграция, не переставая быть антикоммунистической, так и не дала своего имени и моральной санкции на проекты расчленения Исторической России<sup>92</sup>, есть несомненное участие отчаянной, одинокой проповеди Устрялова.

---

<sup>92</sup> Об этом подробно: *Ф.А. Гайда, М.А. Колеров*. [Рец.:] Русский либерал на встрече с историей: Наследие Ариадны Владимировны Тырковой: Дневники. Письма / Сост. Н.И. Канищева. М., 2012. 1111 с. // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т.ХІХ. М., 2016..



## *Перелом<sup>1</sup>*

Необходимо отдать себе ясный отчёт в последних событиях нашей гражданской войны. Нужно иметь мужество посмотреть в глаза правде, какова бы она ни была.

Падением правительства адмирала Колчака закончен эпилог омской трагедии, рассказана до конца грустная повесть о «восточной государственности», противопоставившей себя революционному центру России.

Много надежд связывали мы все с этим движением. Верилось, что ему действительно суждено воссоздать страну, обеспечить ей здоровый правопорядок на основах национального демократизма. Казалось, что революция, доведшая государство до распада и полного бессилия, будет побеждена вооружённой рукой самого народа, восставшего во имя патриотизма, во имя великой и единой России...

Мы помним все фазы, все стадии этой трагической междоусобной борьбы. В минуту итога и результата они вспоминаются с особой живостью, жгут память, волнуют душу.

Ростов, Екатеринодар, Ярославль, Самара, Симбирск, Казань, Архангельск, Псков, Одесса, Пермь, Омск, Иркутск, все

---

<sup>1</sup> Интервью, помещенное в газете «Вестник Маньчжурии», 1 февраля 1920 г.— через несколько дней по приезде моём из Иркутска. Это выступление положило начало «национал-большевизму» (здесь и далее примечания Н.В. Устрялова, кроме специально оговорённых случаев).

эти географические определения словно наполняются своеобразным историческим содержанием, превращаются в живые символы великой гражданской войны.

И вот финал. Пусть ещё ведется, догорая, борьба, но не будем малодушны, скажем открыто и прямо: по существу её исход уже предрешён. Мы побеждены, и побеждены в масштабе всероссийском, а не местном только. Падение западной и центральной Сибири на фоне крушения западной армии генерала Юденича, увядания северной и неудач южной, приобретает смысл гораздо более грозный и определённый, чем это могло бы казаться с первого взгляда.

Разумеется, было бы наивно думать, что падение иркутского правительства есть в какой бы то ни было степени торжество эсеров. Нет, все прекрасно знают, что это — торжество большевиков, победа русской революции в её завершающем и крайнем выражении. Судьба Иркутска решилась не на Ангаре и Ушаковке, а на Тоболе и Ишиме, — там же, где судьба Омска.

Правда, мы, политические деятели, до самого последнего момента не хотевшие примириться с крушением дела, которое считали национальным русским делом, — правда, мы надеялись, что и падением Омска ещё не сказано последнего слова в пользу революции.

Хотелось верить, что удастся здесь, в центральной и восточной Сибири, организовать плацдарм, на котором могли бы вновь развернуться силы, способные продолжать вместе с югом борьбу за национальное возрождение и объединение России.

И мы были готовы принять любую власть, лишь бы она удовлетворяла нашей основной идее. Ибо не могло быть сомнения, что России возрождённой, России объединённой не страшна никакая реакция, не опасно никакое иностранное засилие.

Однако, наши надежды обмануты. Иркутские события — не только крушение «омской комбинации», но и обнаружение роковой слабости «восточно-сибирского фактора»: решительная неудача семёновских войск под Иркутском, равно как

и последние события на Дальнем Востоке – тому наглядное свидетельство.

Выясняется с беспощадною несомненностью, что путь вооружённой борьбы против революции – бесплодный, неудавшийся путь. Жизнь отвергла его, и теперь, после падения Иркутска на востоке и Киева, Харькова, Царицына и Ростова на юге, это приходится признать. Тем обязательнее заявить это для меня, что я активно прошёл его до конца со всею верой, со всею убежденностью в его спасительности для родной страны.

Напрасно говорят, что «омское правительство погибло вследствие реакционности своей политики». Дело совсем не в этом. В смысле методов управления большевики куда «реакционнее» павшего правительства. И вдобавок, пало это правительство именно в тот момент, когда отказалось от своей «реакционности» и было готово принять в свое лоно чуть ли не г. Колосова.

Нет, причины катастрофы лежат несравненно глубже. По-видимому, их нужно искать в двух плоскостях. Во-первых, события убеждают, что Россия не изжила ещё революции, т.е. большевизма, и воистину в победах советской власти есть что-то фатальное, – будто такова воля истории. Во-вторых, противобольшевистское движение силою вещей слишком связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевизм известным национальным ореолом, по существу чуждым его природе. Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула советскую власть с её идеологией интернационала на роль национального фактора современной русской жизни, – в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, потускнел и поблек на практике вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми «союзниками».

Как бы то ни было, вооруженная борьба против большевиков не удалась. Как это, быть может, ни парадоксально, но объединение России идёт под знаком большевизма, ставшего

империалистичным и централистским едва ли не в большей мере, чем сам П.Н. Милюков.

Следовательно, перед непреклонными доводами жизни должна быть оставлена и идеология вооружённой борьбы с большевизмом. Отстаивать её при настоящих условиях было бы доктринёрством, непростительным для реального политика.

Разумеется, всё это отнюдь не означает безусловного приятия большевизма или полного примирения с ним. Должны лишь существенно измениться методы подхода к нему и его оценки. Его не удалось победить силою оружия в гражданской борьбе – он будет эволюционно изживать себя в атмосфере гражданского мира. Или советская система принуждена будет в экономической сфере пойти на величайшие компромиссы, или опасность будет угрожать уже самой основе её бытия. Очевидно, предстоит экономический Брест большевизма.

Процесс внутреннего органического перерождения советской власти, несомненно, уже начинается, что бы ни говорили сами её представители. И наша общая очередная задача – способствовать этому процессу. Первое и главное – собирание, восстановление России как великого и единого государства. Всё остальное приложится.

И если придется с грустью констатировать крушение политических путей, по которым мы до сих пор шли, то великое утешение наше в том, что заветная наша цель – объединение, возрождение родины, её мощь в области международной – все-таки осуществляется и фатально осуществится.

# Интервенция<sup>1</sup>

## I

Я положительно затрудняюсь понять, каким образом русский патриот может быть в настоящее время сторонником какой бы то ни было иностранной интервенции в русские дела.

Ведь ясно, как Божий день, что Россия возрождается. Ясно, что худшие дни миновали, что революция из силы разложения и распада стихийно превращается в творческую и зиждительную национальную силу. Вопреки ожидания, Россия справилась с лихолетьем сама, без всякой посторонней «помощи» и даже вопреки ей. Уже всякий, кого не окончательно ослепили тёмные дни прошлого, может видеть, что русский престиж за границей поднимается с каждым днем. Пусть одновременно среди правящих кругов Запада растёт и ненависть к той внешней форме национального русского возрождения, которую избрала прихотливая история. Но, право же, эта ненависть куда лучше того снисходительного презрения, с которым господа Клемансо и Ллойд-Джорджи относились в прошлом году к парижским делегатам ныне павшего русского правительства...

---

<sup>1</sup> «Новости Жизни», 24 февраля 1920 г. Этой статье суждено было сыграть решающую роль в моем окончательном политическом разрыве с нашими антибольшевистскими группировками.

Природа берет свое. Великий народ остался великим и в тяжких превратностях судьбы – «так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Пусть мы верили в иной путь национального воссоздания. Мы ошиблись – наш путь осужден, и горькой иронией рока неожиданно для самих себя мы вдруг превратились чуть ли не в «эмигрантов реакции». Но теперь, когда конечная мечта наша – возрождение родины – всё-таки осуществляется, станем ли мы упрямо упорствовать в защите развалин наших рухнувших позиций?.. Ведь теперь такое упорство было бы прямым вредом для общенационального дела, оно лишь искусственно задерживало бы процесс объединения страны и восстановления её сил.

Нам естественно казалось, что национальный флаг и «Коль славен» более подобают стилю возрождённой страны, нежели красное знамя и «Интернационал». Но вышло иное. Над Зимним Дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается красное знамя, а над Спасскими Воротами, по-прежнему являющими собою глубочайшую исторически-национальную святость, древние куранты играют «Интернационал». Пусть это странно и больно для глаза, для уха, пусть это коробит, – но, в конце концов, в глубине души невольно рождается вопрос:

– Красное ли знамя безобразит собою Зимний Дворец, – или, напротив, Зимний Дворец красит собою красное знамя? «Интернационал» ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские Ворота, или Спасские Ворота кремлевским веянием влагают новый смысл в «Интернационал»?..

## II

Все державы отказались от активной борьбы с русской революцией. Не потому, конечно, чтобы русская революция нравилась правительствам всех держав, а потому, что они сознали свое полное бессилие её сокрушить. Испробовано уже то страшное, решающее средство, которым британский удав душил в свое время Наполеона, душил Вильгельма – блокада.

Испробована – и не помогла: в результате получилось даже как-то так, что стало трудно уяснить себе – кто же тут блокируемый и моримый, а кто блокирующий и моритель, кто кого душит. И надменная царица морей устами своего нового Веллингтона вдруг заявила на весь мир:

– Европа не может быть приведена в нормальное состояние без русских запасов. Единственное разрешение вопроса – это заключить мир с большевиками...

Из всех союзников ещё одна Япония держится несколько более неопределённо, загадочно. И именно к ней, к Японии, как к последнему прибежищу, устремлены сейчас глаза тех русских политиков, которых ещё чарует Омск своими посмертными чарами.

Но ведь мертва же омская комбинация и труп её бесплодно гальванизировать иностранными токами – не оживёт всё равно. Если уж не помогла иностранная помощь в прошлом году, когда русские армии в многие сотни тысяч надвигались на Москву со всех сторон – то что она может сделать теперь, когда от всех этих армий остались разве сколки осколков?.. Ну, а одними лишь иностранными штыками национального возрождения не достигнешь. А главное, смешны те, кто днём с фонарём ищет национального возрождения в тот момент, когда оно уже грядёт – только иною тропой...

Власть адмирала Колчака поддерживалась элементами двоякого рода: во-первых, за неё, разумеется, ухватились люди обиженных революцией классов, мечтавшие под лозунгом «порядок» вернуть себе утраченное спокойствие, отнятое достояние и выгодное социальное положение; во-вторых, под её знамя встали группы национально-демократической интеллигенции, усматривавшей в большевизме враждебную государству и родине, национально разлагающую силу. Именно эти последние группы представляли собою подлинную идеологию омского правительства, в то время как элементы первого рода систематически портили и компрометировали его работу.

Теперь, когда правительство пало, а советская власть усилилась до крупнейшего международного фактора и явно преодолела тот хаос, которому была обязана своим рождением, **национальные** основания продолжения гражданской войны отпадают. Остаются лишь групповые, **классовые основания**, но они, конечно, отнюдь не могут иметь значения и веса в сознании национальной интеллигенции. Таким образом, продолжение междоусобной борьбы, создание окраинных «плацдармов» и иностранная интервенция нужны и выгодны лишь узко классовым, непосредственно потерпевшим от революции элементам. Интересы же России здесь решительно не при чём.

Пусть господа идеологи плацдармов устраивают таковые подальше от русской границы. Пусть там готовят они своего Людовика XVIII, пока и их, так или иначе, не коснётся огненное дыхание русского ренессанса.



## О верности себе

*Познай самого себя!  
Дельфийское изречение.*

*«Среди колчаковского офицерства, переполняющего Шанхай, нашлось очень и очень немного радующихся выступлению Японии. Даже эти офицеры, получившие возможность выехать за границу лишь при содействии Японии, с чувством глубокого негодования встретили вооружённое вторжение в Россию своей покровительницы».*  
**Газ. «Шанхайская жизнь», 20 апреля.**

### I

Можно ли говорить о непоследовательности, излишней «переменчивости» тех русских политических деятелей или тех офицеров, которые всецело и вполне поддерживали омское правительство, а теперь проповедуют «гражданский мир» и протестуют против иностранной интервенции?

Мне лично не раз приходилось слышать подобные упреки в чрезмерной впечатлительности и чуть ли даже не в перемене своих убеждений. В непристойной и демагогической форме они появлялись и в печати определенного направления. Считаю целесообразным поставить во всей полноте эту проблему, бесспорно представляющую собою ныне известное

общественное значение. Ибо многие русские патриоты должны в настоящее время продумать её до конца, чтобы ощущение ложного стыда, поверхностная боязнь осуждения со стороны некоторых из бывших спутников и соратников не помешали им принять правильное решение вопроса.

Должны ли бывшие «колчаковцы» теперь приветствовать военное выступление Японии в Приморье и по-прежнему исповедовать идеологию вооруженной борьбы с большевизмом до конца?

Я категорически утверждаю: нет, не должны. Не должны во имя того же самого национального и государственного принципа, который ещё так недавно заставлял их вести с Японией переговоры о поддержке и бороться на фронте против красной армии.

Это может показаться парадоксальным, но тем не менее это так. Политика вообще не знает вечных истин. В ней по гераклитовски «всё течёт», всё зависит от наличной «обстановки», «конъюнктуры», «реального соотношения сил». Лишь самая общая, верховная цель её может претендовать на устойчивость и относительную неизменность.

Для патриота эта общая, верховная цель лучше всего формулируется старым римским изречением: «благо государства – высший закон». Принцип государственного блага освящает собою все средства, которые избирает политическое искусство для его осуществления. Быть верным себе для патриота значит быть верным этому принципу, – и только. Что же касается путей конкретного проведения его в жизнь, то они всецело обусловлены окружающей изменчивой обстановкой.

Самый безнадежный и несносный в области политики тип, это – прутковский «рыцарь Гринвальдус», который, ни на что окружающее не обращая никакого внимания, –

*Всё в той же позидци  
На камне сидит.*

## II

История являет нам очень много примеров крутых и как будто внезапных переломов в политике различных государ-

ственных деятелей, и среди них — великих учителей человечества в сфере политической жизни. Однако, лишь очень поверхностный или очень недобросовестный взгляд мог бы усмотреть в этих переломах «измену принципам».

В 1866 году, в разгар австро–прусской войны, после сражения у Садовой, Бисмарк из ожесточённого и давнишнего противника Австрии превращается вдруг в её «искреннего» друга и ярого защитника. Прусские шовинисты, двор, военная партия изумлены и возмущены подобным «превращением» министра–президента и единодушно настаивают на продолжении войны с Австрией «до конца». Бисмарк после невероятных усилий (и даже не без помощи слёз и рыданий!) склоняет короля на свою сторону, и прусские войска останавливаются неподалеку от беззащитной Вены. История показала, сколь дальновиден был крутой поворот в политике гениального канцлера<sup>1</sup>.

В середине восьмидесятых годов многие англичане с удивлением созерцали, как Гладстон из убеждённого противника ирландского гомруля становится столь же убеждённым его сторонником. Такой поворот «на 180 градусов» произвёл на широкие круги избирателей неблагоприятное впечатление и способствовал поражению Гладстона на следующих общих выборах. Даже многие члены либеральной партии с тревогой взирали на «неустойчивость» премьера, а министр внутренних дел Чемберлэн вышел из его кабинета, тем самым подчеркнув и узаконив происшедший партийный раскол. Однако, прошло не так много времени, и Англия убедилась, сколь мудр был знаменитый деятель, сумевший вовремя заметить опасность и, учтя её, радикально переменить свою тактику. Ещё и до сих пор английскому кабинету приходится распутывать ирландский узел, запутанный «твёрдой рукой» сменивших Гладстона консерваторов и «либералов–унионистов» чемберлэнзовского толка.

---

<sup>1</sup> Мотивы этого внезапного перелома прекрасно изложены в мемуарах Бисмарка.

Подобные примеры можно приводить до бесконечности. Наиболее близкий нам – феерическое превращение Ленина из «друга» Германии в её «врага», из антимилитариста в идейного вождя большой регулярной армии, из сторонника восьмичасового рабочего дня в насадителя десяти– и чуть ли не двенадцатичасового.

Что же, неужели все эти люди – изменники своим принципам? Ничуть. Они лишь умеют отличать принцип от способа его осуществления. Они – лучшие слуги своей идеи, чем те, кто близоруким и неуклюжим служением ей лишь губят её, вместо того чтобы дать ей торжество. Они – не изменники, они только – не доктринёры. Они не ищут неизменного в том, что вечно изменчиво по своей природе. Они умеют учитывать «обстановку».

И возьмем другой пример. Французские эмигранты, наиболее «последовательные» противники великой революции, кончили тем, что вместе с иностранцами боролись против своей родины до тех пор, пока она не была окончательно разбита и унижена. Они – во имя родины! – радовались каждому поражению французской армии и огорчались при каждой её победе. Они, наконец, радикально «победили» под Ватерлоо и торжественно вернулись восвояси под охраной английских солдат и русских казаков. Сказала ли им «спасибо» национальная история Франции?..

Впрочем, быть может, Франция нужна была этим господам лишь постольку, поскольку она воплощалась в их прекрасных поместьях феодальной эпохи и в солнечной роскоши двора Людовика XIV?..

### III

Русская интеллигенция боролась против большевизма по многим основаниям. Но главным и центральным был в её глазах мотив **национальный**. Широкие круги интеллигентской общественности стали врагами революции потому, что она разлагала армию, разрушала государство, унижала отечество.

Если бы не эти национальные мотивы, организованная **вооруженная** борьба против большевизма с самого начала была бы беспочвенна, а вернее, её бы и вовсе не было.

Правда, нельзя отрицать, что идеология советов вызывает против себя ряд существенных возражений и в плоскости культурной, равно как экономической и политической. Но одни эти возражения никогда не создали бы того грандиозного вооружённого движения, которое в прошлом году ополчилось на красную Москву. Пафос этого движения был прежде всего национальный. Большевизм не без основания связывался в общественном сознании с позором Бреста, с военным развалом, с международным грехом — изменой России союзникам.

Так было. Но теперь обстановка круто изменилась. Брестский договор развеян по ветру германской революцией вместе с военной славой императорской Германии. «Союзники» сумели использовать к своей выгоде измену России ещё более удачно, чем им бы довелось использовать её верность — и мы, во всяком случае, вправе считать себя с ними поквитавшимися.

Но, главное, большевикам удалось фактически парировать основной национальный аргумент, против них выставившийся: они стали государственной и международной силой, благодаря несомненной заразительности своей идеологии, а также благодаря своей красной армии, созданной ими из мутного потока керенщины и октябрьской «весны».

Два прошедших года явились огненным испытанием всех элементов современной России. Это испытание закончилось победою большевизма над всеми его соперниками.

Весною 1918 года была в корне сокрушена оппозиция слева в лице «анархизма», одно время весьма модного в столицах и даже некоторых провинциях. Осенью того же года оказалась преодолённой «социал-соглашательская» линия, прерванная московской *каносою Вольского* с одной стороны, и омским переворотом Колчака — с другой. Прошрое лето ушло на борьбу Москвы с Омском и Екатеринодаром. Результат этой борьбы налицо.

Как только пала колчаковско–деникинская комбинация, стало ясно, что внутри России нет уже более организованных, солидных элементов, могущих претендовать на свержение большевизма и реальное обладание властью в стране.

Отдельные вспышки случайных местных восстаний после рассеянных фронтов и сокрушенных правительств – лишь бесцельные судороги бессильного движения, и было бы верхом донкихотства возлагать на них мало–мальски серьёзные надежды. Вместе с тем, стало столь же несомненно, что красное правительство, сумевшее ликвидировать чуть ли не миллионную армию своих врагов, есть сила, и вполне реальная, – особенно на фоне современных сумерек европейского мира.

В эту же минуту отпало национальное основание продолжения вооружённой войны с Советской властью. Жестокая судьба воочию обнаружила, что наполеоновский мундир, готовившийся для Колчака русскими национал–либералами, не подошел к несчастному адмиралу, как и костюм Вашингтона, примирявшийся для него же некоторыми русскими демократами.

Национальная сила оказалась сосредоточенной во враждебном стане... И русские патриоты очутились в затруднительном положении. Продолжать гражданскую войну (и то не во все-российском масштабе) они ныне могут, лишь соединившись с иностранными штыками, – точнее, послушно подчинившись им. Иначе говоря, им пришлось бы в таком случае усвоить себе психологию французских эмигрантов–роялистов: радоваться поражениям родины и печалиться её успехам.

Если это назвать патриотизмом, – то не будет ли подобный патриотизм, как в добрые старые времена, требовать кавычек?

И если такую тактику считать даже венцом «последовательности», – то не лучше ли быть непоследовательным?

Что касается меня, то мне кажется, что переход от национальной ориентации Омска к эмигрантским настроениям в стиле Людовика XVIII – есть самая величайшая «непоследовательность» из всех возможных. И когда мне приходится читать теперь о боях большевиков с финляндцами, мечтаю–

щими «аннексировать» Петербург, или с поляками, готовыми утвердиться чуть ли не до Киева, или с румынами, проглотившими Бессарабию, не могу не признаться, что симпатии мои – не на стороне финляндцев, поляков или румын...

Лишь для очень поверхностного, либо для очень недобросовестного взора современная обстановка может представляться подобною прошлогодней. Не мы, а жизнь повернулась «на 180 градусов». И для того, чтобы остаться верными себе, мы должны учесть этот поворот. **Проповедь старой программы действий в существенно новых условиях часто бывает наилучшей формой измены своим принципам.**

Прекрасно знаю, что большевизм богат недостатками, что многие возражения против него с точки зрения культурной (вульгарный материализм, «механизация» жизни), экономической («немедленный» коммунизм) и политической (антиправовые методы управления) ещё продолжают оставаться в силе. Но главное, решающее возражение – с точки зрения национальной – отпало. Следовательно, и преодоление всех тягостных последствий революции должно ныне выражаться не в бурных формах вооружённой борьбы, а в спокойной постепенности мирного преобразования, путём усвоения пережитых уроков и опытов. Помимо того, теперь уже нет выбора между двумя лагерями в России. Теперь нужно выбирать между Россией и чужеземцами. А раз вопрос ставится так, то на все жалобы об изъянах родной страны, соглашаясь признать наличность многих из этих изъянов, я всё-таки отвечу словами поэта:

*Да, и такой, моя Россия,  
Ты всех краев дороже мне!*

## Врангель<sup>1</sup>

«Помните все, кто не может мириться с большевиками, что в Крыму есть Врангель, который вас ждёт, у которого найдется вам место». — Так пишет в одном из своих приказов ген<ерал> Врангель.

Ещё держится этот уголок, ныне единственный во всей России, где кучка «верных» продолжает с мужеством отчаяния гибнуть за то, что она считает национальным делом. Неудачи не смутили её, она, как старая гвардия при Ватерлоо, умирает, но не сдаётся.

Если расценивать эту картину с точки зрения эстетической, позволительно ею любоваться. Они воистину прекрасны, эти благородные патриоты, умеющие умирать.

Но для родины, которую они так беззаветно чтут, было бы лучше, если б они так же умели жить. Они нужны ей ныне не для того, чтобы новыми каплями крови украсить её терновый венец, — она требует от них жизни, хотя быть может, и тяжёлой — а не смерти. Ведь она уже воскресает, а они всё ещё видят её только идущей на Голгофу...

Есть нечто глубоко трагичное в своеобразной ослеплённости этих людей, в односторонней направленности их чувств

---

<sup>1</sup> «Новости Жизни», 15 сентября 1920 года. Эта статья появилась в дни расцвета белых надежд на Врангеля, совместно с поляками наступавшего на Советскую Россию.



и их ума. Морально и политически осудив большевистскую власть, они уже раз навсегда решили, что она должна быть уничтожена мечом. И этот чисто конкретный вывод они превратили в своего рода кантовский «категорический императив», повелевающий безусловно и непререкаемо, долженствующий осуществляться независимо от чего бы то ни было, «хотя бы он и никогда не осуществился», — по принципу «ты можешь, ибо ты должен»...

Но великий грех — смешение категорий чистой этики с практическими правилами конкретной политической жизни, целиком обусловленной, относительной, текучей. В сфере путей политической практики никогда ни в чем нельзя «зарекаться», ибо в них нет ничего непререкаемого. Сегодняшний враг здесь может стать завтра другом, нынешний друг — врагом (ср<авни>, например, историю международных отношений, а в области внутренней политики — хотя бы историю «блокировок» политических партий). Сегодня следует пользоваться одним методом для сокрушения врага внешнего или внутреннего, завтра другим и т.д. Для патриота неподвижен лишь принцип служения родине, — все средства его воплощения целиком диктуются обстоятельствами. Говоря языком философским, в практической политике мы всегда имеем дело с «техническими правилами», а не «этическими нормами».

И если недопустимо придавать верховному этическому принципу условный, релятивный характер, то равным образом и подчинённые, технические предписания политики глубоко ошибочно и в моральном отношении предосудительно превращать в абсолютные, непререкаемые.

**Романтизм в политике** есть великое заблуждение, вредное для цели, которую она должна осуществлять, — вредное для блага родины. Романтизм для политики есть такая же ересь, как релятивизм для логики или этики. Политический романтизм, при всем его внешнем благообразии, импонирующем малодушным и пленяющим легковерных, на практике превращается в дурную, безнравственную политику, упрямое доктринёрство, напрасные жертвы... Он опровергает самого себя, подрывает собственную основу.

**Нравственная политика есть реальная политика.** Величие цели, реализм средств – вот высший долг государственного искусства. И другой, подобный ему, вытекающий из него – единство верховной цели, многообразие конкретных средств.

Бороться. Бороться мечом, хотя бы картонным. Бороться во что бы то ни стало, до последней капли крови. «Если бы я остался единственным, я и то не положил бы меча перед большевиками», – говорил мне недавно один офицер, проделавший всю гражданскую войну. «Лучше смерть, чем большевики». – Мне кажется, что именно таково же настроение врангелевцев, по крайней мере, лучших из них:

...Личины ж не надену  
Я в свой последний час...

Тут только психология, и ни грана логики. Тут только индивидуально–этические переживания, и ни грана политики. Можно, если хотите, любоваться цельностью психологического облика этих людей, но ужас охватывает при мысли об их судьбе. Когда же вспомнишь, что они стремятся стать всё–таки жизненным фактором, что они не только соблазняют, но и насильственно увлекают малых сих, превращая их в орудие своих безнадежных мечтаний, что они ведут на бесполезную смерть не только себя, но и других, – хочется их остановить, убедить, образумить, доказать существенную безнравственность их пустоцветного морального подъёма. Но... но «где говорит душа, там уже молчат доказательства». Они одержимы, эти русские интеллигенты, как в свое время были одержимы их родные братья, такие же «смертники», как ныне они, только «красные», а не «белые» – воистину, «в этом безумии есть система...»

Революция подлинно революционизировала Россию. Теперь даже такие глубоко «эволюционистские» группы, как кадетская партия или осколки бывшего октябризма, словно не мыслят себе политики вне чисто революционных методов борьбы. Отброшены куда–то далеко старые схемы и концепции, и академичный кадет под ручку с чиновным октябристом послушно подпевают революционным руладам Бурцева, чувствующего себя в море этих батальных звуков как старая рыба в воде...

А между тем, кадетским идеологам не мешало бы всё-таки вспомнить старые схемы и концепции. Право же, многие из них не так уже устарели. И особенно тот мудрый дух «государственной лояльности» и эволюционизма, который по справедливости был фундаментом этой партии, ныне крайне нуждался бы в некоторой реставрации...

Бойтесь, бойтесь романтизма в политике. Его блуждающие огни заводят лишь в болото...

Вряд ли не приходится признать, что в сфере своего конкретного воплощения эти романтические порывы являют у нас зрелище, в высокой мере достойное сожаления.

В самом деле, насколько можно судить отсюда, есть что-то внутренне порочное, что-то противоречивое в самом облике врангелевского движения, нечто такое, что с самого начала почти заставляет видеть в нём черты обречённости. Оно выбрасывает знамя гражданской войны и одновременно лозунг «широкого демократизма». По рецептам благонамеренных эсеров оно хочет править четыреххвосткой и монолитную фигуру Ленина сокрушить ветерком «четырёх свобод». Увы, ведь у нас уже был на этот счет почтенный опыт *самарского комуча и уфимской директории*.

Дело в том, что если демократизм крымского правительства серьёзен и искренен, он придет неизбежно к отказу от гражданской войны. Если же оно захочет упорствовать, ему придется, либо капитулировать перед красной армией и собственной демократией, либо повторить 18 ноября и... пойти по пути Колчака и Деникина, только что осужденному историей.

*«Не случайно, — довелось мне писать в прошлом году в одной из наиболее «одиозных» иркутских моих статей, — не случайно пришли мы в процессе гражданской борьбы к диктатуре. Не случайно осуществлена она и на юге, и на востоке России, причем на юге в форме более чистой, чем на востоке. Не случайно в центре России уже более двух лет держится власть, порвавшая со всеми притязаниями формального демократизма и представляющая собою любопытнейшее в истории явление законченной диктатуры единой партии».*

Я вполне поддерживаю этот тезис и сейчас. Да, гражданская война есть мать диктатуры, и, признав одну, вы принуждаетесь принять другую. Четыреххвосткою не прогнать на внутренние фронты людей убивать своих соотечественников, как не создать и той исключительной волевой напряжённости, которая необходима для власти гражданской войны.

И если ген<ерал> Врангель может ещё щегольнуть своим демократизмом в Крыму, поскольку его «народ» состоит из кадров испытанных, заматерелых беженцев, то стоит ему только выйти из своей «конуры» на российские просторы, как демократическая мантия его государственности поблекнет, съёжится и распадётся в прах. Она, по-видимому, и так довольно эфемерна, эта мантия, и недаром в Париже уже появляются упрямые мальчишки, утверждающие, что крымский король насчет демократизма гол...

Что же касается «демократической программы» («Учредит<ельное> Собрание», «наделение крестьян землей» и проч.), то ведь и адм<ирал> Колчак широко «развёртывал» таковую. Добрых желаний в Омске и Екатеринодаре было, право же, не меньше, чем теперь в Севастополе. Дело не в программе власти, а в её конкретной основе, «реальном базисе». А конкретная основа Врангеля мало чем отличается от деникинской, и не может отличаться от неё, независимо от чьего бы то ни было желания, — в силу объективного положения вещей. Те же привычки, те же люди.

Второй «козырь» крымского правительства, долженствующий выгодно отличать его от прошлогодней власти Деникина, это — необычайная терпимость его ко всем мелким народцам, которым оно, как Бог нашим прародителям, настойчиво рекомендует «плодиться и размножаться».

Но эта тактика с одной стороны лишает его симпатий многих русских националистов, не разделяющих «федералистских» точек зрения на будущее России и оптимизма касательно грядущего автоматического воссоединения с ней её отпавших окраин. С другой стороны, она мало импонирует последним, политика которых предусмотрительно предпочитает ориентироваться не на крымскую конуру, а на европейские центры.

А тот факт, что врангелевские декларации всевозможных «самоопределений» подписываются его министром иностранных дел П.Б. Струве, уже окончательно подрывает всякую авторитетность подобных документов. Столп идеологии русского великодержавия, рыцарь Великой России, «новый Катков», как его, бывало, с озлоблением звали самостийники всех сортов, — и вдруг этот ультра-вильсоновский благовест, рассылающий воздушные поцелуи каждому звену наброшенной на Россию живой цепи!.. Опасная игра, едва ли стоящая свеч. Белыми нитками шитое лукавство, рискующее печальным финалом.

П.Б. Струве — в качестве покровителя «самоопределений», А.В. Кривошеин — в качестве «искреннего демократа». Блажен, чьи взоры лоснятся умилением, лаская голубой туман крымских горизонтов...

Ген<ерал> Врангель отказался пожать протянутую руку Брусилова, хотя она была протянута во имя России. И не только отказался, но в ответ на призыв примирения, согласно рекомендации французского генерального штаба, двинул свои войска на помощь полякам, чем, по-видимому, не только пролил достаточно русской крови, но и спас Варшаву.

Врангель, как Брут, несомненно, честный человек. Но, по-видимому, он принадлежит к тем натурам, которые, поставив себе целью выкачать воду из ванны, готовы это сделать, хотя бы вместе с водой пришлось выплеснуть оттуда и ребенка. «Большевизм должен быть уничтожен мечом» — таков категорический императив. И если даже злодейка-жизнь в данный момент причудливо соединяет голову большевистской гидры с головою родины, меч мстителя будет рубить по-прежнему сплеча: родина для этих увлечённых боем людей заслонена ненавистным большевизмом.

И они соединяются с врагами и завистниками России, творят волю наследников Биконсфильда, авгурски смеющихся над ними. Они, несомненные патриоты, превращаются в орудие союзных рук, сегодня поощряющих их порывы, а завтра предающих их, как Колчака. Странное дело, — их гордость не мешает им скользить по скользким паркетам парижских

министерств, несмотря на Одессу, несмотря на Иркутск... Неужели же они ничего не забыли и ничему не научились?

Их путь фатально бесславен, каковы бы ни были они сами. При настоящем положении вещей их доблесть столь же нужна стране, сколь доблесть чужеземца. В конце концов, их сходство с наполеоновской гвардией у Ватерлоо оказывается несколько «формальным»: та до конца спасала Францию от иностранцев, а они до конца спасают иностранцев от «безумной» России, думая, что спасают Россию от безумия. Столь же формальным получается их сходство с Михайлой Репниным: они отталкивают московские личины, но зато усиленно облачаются в заморские, басурманские. Тут они, скорее уже, напоминают кн<язя> Курбского...

Нет, нет, не они, националисты, творят ныне национальное дело, а полки центра под ненавистными красными знамёнами. Ничего, – трехцветное знамя французской революции тоже ведь в свое время объявлялось исчадием ада, и это не помешало ему, однако, обойти потом всю Европу и покрыть родину славой, вполне искупившей позор бурбонских лилий, кончивших дни свои в грязи большой европейской дороги под колёсами иностранных колесниц...

Так что же, – идти в Каноссу? – Опять старая тема.

О, конечно, много терний и на пути соглашения с большевиками, вернее, признания их. Не следует скрывать этого. Лишь люди, не испытывавшие на себе практику зрелой коммунистической жизни, могут оболящаться ею. Но ведь иного выхода сейчас нет. Гражданская война, как показал опыт, не только не губит эту ненавистную коммунистическую практику, но, напротив, питает её собою, укрепляет худшие её стороны и, безжалостно истощая страну, разжигает лишь злорадные взоры иностранцев.

Помню, когда сверхъестественно голодающая, терроризированная Пермь переживала мучительные дни неопределённости, когда сегодня приходили вести о продвижении белых на Пермь, а завтра о наступлении красных на Екатеринбург, когда каждый успех белых отражался усилением террора, новыми казнями, – измученное население, отчаявшись в ос-

вобождении, охватывалось одним преобладающим чувством: «один бы конец – только бы ушел кошмар этой прифронтовой жизни, этой военной саранчи, этой убийственной атмосферы гражданской войны»...

Повторяю ещё и ещё раз, путь примирения – тоже трудный, жертвенный путь, не сулящий каких-либо немедленных чудес. Но он настойчиво требуется теперь интересами страны. Ликвидируя организованную контрреволюцию, он ликвидирует и революцию внутри государства, сведя её к эволюции. Он один создаст условия, способствующие постепенному изживанию изъянов современного русского быта. Он один убережёт страну от засилия иностранщины. Наконец, он неизбежно облагородит облик государственной и, главное, административной власти, столь нуждающейся в облагораживании. Пора расстаться с деморализующим революционным лозунгом «чем хуже, тем лучше».

Нужно во имя государства теперь идти не на смерть от своих же пуль, как врангелевцы, а, как Брусилов и тысячи офицеров и интеллигентов, – на подвиг сознательной жертвенной работы с властью, во многом нам чуждой, многим нас от себя отталкивающей, богатой недостатками, но единственной, способной в данный момент править страной, взять её в руки, преодолеть анархизм усталых и взбудораженных революцией масс и, что особенно важно, умеющей быть опасной врагам.

Чем скорее исчезнут с лица России последние очаги организованного повстанчества, после Омска и Екатеринодара утратившие всякий положительный смысл, тем вернее будет обеспечено дело нашего национального возрождения, о котором все мы мечтаем. *Путь в Каноссу, таким образом, окажется путем в Дамаск.*

Если бы крымская Вандея завершилась не новыми потоками русской крови, а добровольным «обращением» Врангеля, его ответным приветом Брусилову, – какой бы это был праздник, какое бы это было национальное счастье!

# *Перерождение большевизма'*

## I

Эта проблема — проблема возможности «эволюционного перерождения» большевизма — силою вещей вновь выдвигается на первый план. Отказ всех противобольшевистских русских группировок от идеологии интервенции, заключение торговых договоров между Россией и европейскими державами, окончательная ликвидация организованной гражданской войны и, наконец, последние мероприятия советского правительства в области земельного вопроса, — всё это, вместе взятое, заставляет русских патриотов ещё раз продумать вопрос о пути нашего национального возрождения.

Очевидно, что нынешнее ужасное состояние России не может длиться без конца. Даже по самым сдержанным официальным советским сведениям, картина экономической жизни страны производит столь удручающее впечатление, что дальнейшее продолжение ортодоксального коммунистического экспериментаторства грозило бы свести на нет все воистину блестящие политические достижения советской власти за эти три с половиной года. Сами большевики, разумеется, не могут этого не сознавать, и принуждены так или иначе реагировать

---

<sup>1</sup> «Новости Жизни», 6 апреля 1921 года. Эта статья представляет собою отклик на первые вести о «новой экономической политике» Ленина.



на суровые требования, поставленные перед ними жизнью. Они вынуждаются проверить самих себя.

«Пусть так, но они же не могут перемениться, изменить себе» – таково господствующее мнение.

Разумеется, сама советская власть его поддерживает прежде всех.

Ни от одного общего лозунга октябрьской революции она формально не отказывается и, конечно, не откажется.

Разговоры об «эволюции большевизма» встречаются самими большевиками неизменной иронической улыбкой, хотя по тактическим соображениям они подчас и оставляются ими без надлежащей прямой отповеди...

Противобольшевистские группы, со своей стороны, с глубоким скептицизмом относятся к толкам об «изживании» нынешних московских методов властвования и хозяйствования. Вся наша «организованная небошевистская общественность», отвергая возможность такого изживания, считает единственным путём воссоздания русского государства путь общенациональной революционной борьбы с советами.

В этом отношении должны быть признаны чрезвычайно характерными декларации политических партий, прочитанные на недавнем парижском совещании членов Учредительного Собрания.

*«Спаси Россию может лишь революционная борьба самого народа, – утверждает прочитанная Зензиновым декларация эсеров. – Все надежды на перерождение существующей власти тщетны. Она может лишь вырождаться и действительно вырождается»...*

*«Фракция к.-д., – декларирует Милюков, – полагает, что при невозможности для большевизма изменить раз занятую непримиримую позицию, отказаться от мировых стремлений и от осуществления их вооружённой силой, борьба против большевизма не может кончиться взаимными уступками или принять мирные формы парламентской борьбы».*

И, наконец, то же самое повторяют и энэсы устами Чайковского: *«Исходя из глубокого убеждения, что большевики*

*неспособны к эволюции в сторону народоправства и демократической государственности... трудовая н.с. партия находит, что первой общей для всех поборников демократической республиканской России задачей является борьба за скорейшее сокрушение большевизма и крушение советской власти.*

Таковы преобладающие настроения. Разберёмся в них.

## II

Весь вопрос, разумеется, в том, какой смысл вкладывается в понятие «эволюция большевистской власти». Скептическое отношение к подобной эволюции будет вполне оправданным, если мы захотим в ней видеть **отказ большевиков от своей собственной программы.**

Не подлежит, в самом деле, ни малейшему сомнению, что вожди русского коммунизма, начиная с Ленина, не могут перестать и не перестанут быть принципиальными коммунистами.

Равным образом есть много оснований полагать, что советская власть неспособна превратиться в режим формального народоправства со всеми его чертами и свойствами.

Но свидетельствуют ли эти два обстоятельства о том, что политика Москвы обречена остаться без всяких изменений в своем конкретном курсе?

Значит ли это, что большевизм чужд всякой «эволюции»?

Анализ современных настроений в правительственных верхах Советской России позволяет различить две тенденции партийной коммунистической мысли.

Первая тенденция (многие связывают её с Бухариным) отстаивает целиком тактические позиции 19 года – «ставка на немедленную мировую революцию», «никаких компромиссов с мировой буржуазией», «безоговорочное проведение хозяйственного коммунизма», чего бы это ни стоило, и т.д.

К этой доктринёрской, фантастической тенденции утверждение об «эволюции» неприменимо ни в какой мере и ни с какой стороны.

Победи она в Совнаркоме, — страна покати́лась бы с усиленной скоростью к обнищанию и разорению, недовольство и отчаяние населения продолжали бы возрастать, а непримиримость к советской власти наших небольшевистских групп обрела бы гранитную, непоколебимую основу.

Но, к счастью, не эта тенденция вдохновляет ныне политику московского правительства.

Признанным вождём и непререкаемым, несравненным авторитетом остаётся по-прежнему Ленин, воистину сочетающий в себе оба свойства, определяющие, по Гегелю, подлинного «героя истории»: исключительную широту кругозора, охватывающего «очередную ступень мировой истории», и конкретную трезвость реального политика, разгадавшего «лукавство исторического Разума» и умеющего прекрасно его учитывать.

Ленин — «фантаст» и практик одновременно. Подобно примерному «государю» Макиавелли, он совмещает в себе «качества льва и лисицы». В этом его сила и в этом успех большевизма, «цепкость» советской власти, непостижимая для поверхностного взгляда, для всех неожиданная и столь многих смущающая.

Ленин возглавляет ныне другую линию большевистской мысли, линию «умеренную» и «компромиссную». Прообразом этой тактики был Брест–Литовск. Через три года она вновь выдвигается в перл создания.

«Мир с мировой буржуазией», «концессии иностранным капиталистам», отказ от позиции немедленного коммунизма внутри страны — вот нынешние лозунги Ленина, столь чуждые левой, доктринёрской группе (между прочим, неправильно к этой группе причислять Троцкого: в основных вопросах он идёт за Лениным).

Невольно напрашивается лапидарное обозначение этих лозунгов: мы имеем в них **экономический Брест большевизма**.

Ленин, конечно, остаётся самим собою, идя на все эти уступки. Но, оставаясь самим собой, он вместе с тем, несомненно, «эволюционирует», т.е. по тактическим соображениям

совершает шаги, которые неизбежно совершила бы власть, чуждая большевизму.

**Чтобы спасти Советы, Москва жертвует коммунизмом.** Жертвует, со своей точки зрения, лишь на время, лишь «тактически», но факт остается фактом.

Нетрудно найти общую принципиальную основу новой тактики Ленина. Лучшее всего эта основа им формулирована в речи, напечатанной «Петроградской Правдой» от 25 ноября прошлого года.

Вождь большевизма принужден признать, что мировая революция обманула возлагавшиеся на неё надежды.

*«Быстрого и простого решения вопроса о мировой революции не получилось».* Однако из этого ещё не следует, что дело окончательно проиграно. *«Если предсказания о мировой революции не исполнились просто, быстро и прямо, то они исполнились постольку, поскольку дали главное, ибо главное было то, чтобы сохранить возможность существования пролетарской власти и советской республики даже в случае затяжения социалистической революции во всём мире».* Нужно устоять, пока мировая революция не приспее действительно.

*«Из империалистической войны, — продолжает Ленин, — буржуазные государства вышли буржуазными, они успели кризис, который висел над ними непосредственно, оттянуть и отсрочить, но в основе они подорвали себе положение так, что при всех своих гигантских военных силах должны были признаться через три года в том, что они не в состоянии раздавить почти не имеющую никаких военных сил советскую республику. Мы оказались в таком положении, что, не приобретя международной победы, мы отвоевали себе условия, при которых можем существовать рядом с империалистическими державами, вынужденными теперь вступить в торговые отношения с нами.»*

*Мы сейчас также не позволяем себе увлекаться и отрицать возможность военного вмешательства капиталистических стран в будущем. Поддерживать нам нашу боевую готовность необходимо. Но мы имеем новую полосу, когда наше основное*

*международное существование в сети капиталистических государств отвоёвано».*

В этих словах следует видеть ключ решительного поворота московского диктатора на новые тактические позиции.

Раньше исходным пунктом его политики являлась уверенность в непосредственной близости мировой социальной революции.

Теперь ему уже приходится исходить из иной политической обстановки. Естественно, что меняются и методы политики.

Раньше он непрестанно твердил, что «мировой империализм и шествие социальной революции рядом удержаться не могут»: он надеялся, что социальная революция опрокинет «мировой империализм».

Теперь он уже считает как бы очередной своей задачей добиться упрочения совместного существования этих двух сил: нужно спасти очаг грядущей (может быть, ещё не скоро!) революции от напора империализма.

Отсюда и новая тактика. Россия должна приспособливаться к мировому капитализму, ибо она не смогла его победить. На неё нельзя уже смотреть как только на «опытное поле», как только на факел, долженствующий поджечь мир.

Факел почти догорел, а мир не загорелся.

Нужно озаботиться добычей новых горючих веществ.

Нужно сделать Россию сильной, иначе погаснет единственный очаг мировой революции.

Но методами коммунистического хозяйства в атмосфере капиталистического мира сильной Россию не сделаешь. И вот «пролетарская власть», сознав, наконец, бессилие насильственного коммунизма, остерегаясь органического взрыва всей своей экономической системы изнутри, идёт на уступки, вступает в компромисс с жизнью.

Сохраняя старые цели, внешне не отступаясь от «лозунгов социалистической революции», **твёрдо удерживая за собою политическую диктатуру**, она начинает принимать меры, необходимые для хозяйственного возрождения страны, не считаясь с тем, что эти меры — «буржуазной» природы.

Вот что такое «перерождение большевизма».

— Но может ли оно привести к положительным результатам?...

### III

Сейчас трудно что-либо предсказать, особенно из эмигрантского далека.

Только господа экономисты — самая заносчивая и самоуверенная порода мира двуногих, — по обыкновению, нещадно насилуют книгу времён, пророча часы и минуты всех грядущих событий: словно их ремесло — стряпанье несбывающихся пророчеств.

В настоящий момент можно констатировать лишь одно: процесс «перерождения» большевизма совершается в крайне трудных условиях.

Ленину приходится, по-видимому, выдерживать известный натиск со стороны части своей собственной партии, стоящей на старых позициях непримиримости и крайнего революционизма.

С другой стороны, он имеет дело с измученной, стихийно озлобленной на власть страной, которая каждую уступку может принять за признак внутреннего колебания власти и в каждой реформе найти стимул к восстаниям.

Не опоздала ли советская власть сойти с пути коммунистического доктринёрства? Вот вопрос, разрешить который способна лишь сама жизнь.

Если политически советское правительство ещё достаточно крепко, если государственный аппарат действует более или менее послушно, — «реформы» могут «пройти» и оздоровить страну. И в результате мы получим любопытную картину: диктатуру коммунистов в «буржуазной» по существу стране! Свободная торговля уже восстановлена в России и заградительные отряды — кошмар советской действительности — сняты. Заключены торговые договоры с Англией, с Итали-

ей, заключаются с остальными. Россия вновь возвращается в «цивилизованный мир».

Но, разумеется, благотворные результаты все эти компромиссные мероприятия могут дать лишь в том случае, если они будут проводиться серьёзно и действенно. Иначе процесс обнищания задержать не удастся, так же как не удастся парализовать рост всеобщего недовольства. Наблюдающееся в стране повсеместное недружелюбие к власти обусловлено не столько политическими, сколько экономическими причинами. Народ хочет не столько народоправства, сколько хлеба.

Как бы то ни было, с точки зрения национальной России нынешний сдвиг большевизма следует искренно приветствовать. Сохраняя «сильное правительство», нужное для страны, он её избавляет, наконец, от тисков доктринёрской и утопической, чуждой ей хозяйственной системы.

Есть много оснований думать, что раз став на путь уступок, советская власть окажется настолько увлечённой их логикой, что возвращение на старые позиции коммунистического правоверия будет для неё уже невозможным. По-видимому, именно с этим аргументом и выступает против «новой тактики» Ленина левая, «правоверная» группа. Но если такой аргумент в какой-либо мере действителен против Ленина, то с точки зрения интересов страны он абсолютно невесом: страна и не заинтересована в возвращении к ортодоксальному коммунизму.

Всё будет в конечном счете зависеть от «темпа развития мировой революции».

Советская власть вступает в новую фазу своего существования. Нынешний год должен принести ответ на основной вопрос современности: **суждено ли России восстановить свою экономическую мощь, сохраняя в то же время своё политическое единство, удельный вес великой державы?..**

## Путь термидора

В дни кронштадтского восстания некоторые русские публицисты в Париже заговорили о «русском термидоре». «Последние Новости» П.Н. Милюкова посвятили даже несколько статей установлению аналогии между процессом, ныне вершащимся в России, и термидорским периодом великой французской революции.

В какой мере справедливы эти аналогии и что такое «путь термидора»?

Термидор был поворотным пунктом французской революции. Он обозначил собою начало понижения революционной кривой. **Путь термидора есть путь эволюции умов и сердец**, сопровождавшийся, так сказать, легким «дворцовым переворотом», да и то прошедшим формально в рамках революционного права. При этом необходимо подчеркнуть, что основным, определяющим моментом термидора явилось именно изменение общего стиля революционной Франции и обусловленная им **эволюция якобинизма в его «толпе»**. Кровавый же эпизод 9 числа (падение Робеспьера) есть не более, как деталь или случайность, которой могло бы и не быть и которая нисколько не нарушила необходимой и предопределённой связи исторических событий.

*«Если бы Робеспьер удержал за собой власть, – говорил Наполеон Мармону, – он изменил бы свой образ действий;*



он восстановил бы царство закона; к этому результату пришли бы без потрясений, потому что добились бы его путём власти».

Гений Наполеона в этих словах интуитивно постиг истину, которая впоследствии была вскрыта и подробно доказана историками. 9 термидора не есть новая революция, не есть революционная ликвидация революции. Это лишь один из второстепенных и «бытовых» моментов развития революционного процесса.

*«Побеждённый людьми, из которых одни были лучше, а другие хуже его, — пишет о Робеспьере Ламартин в своих знаменитых «Жирондистах», — он имел несчастье умереть в день окончания террора, так что на него пала та кровь жертв казней, которые он хотел прекратить, и проклетия казнённых, которых он хотел спасти. День его смерти может быть отмечен как дата, но не как причина прекращения террора. Казни прекратились бы с его победой так же, как они прекратились с его казнью».* (Ламартин, т. IV, гл. 61).

Якобинцы не пали, — они переродились в своей массе. Якобинцы, как известно, надолго пережили термидорские события, — сначала как власть, потом как влиятельная партия: сам Наполеон вышел из их среды. Робеспьер был устранён теми из своих друзей, которые всегда превосходили его в жестокости и кровожадности. Если бы не они его устранили, а он их, если б даже они продолжали жить с ним дружно, — результат оказался бы тот же: гребень революционной войны, достигнув максимальной высоты, стал опускаться...

*«Мы не принадлежим к умеренным, — кричал кровавый бордосский эмиссар Талльен с трибуны Конвента в роковой день падения Робеспьера, замахиваясь на него кинжалом, — но мы не хотим, чтобы невинность терпела угнетение».* Гора шумно приветствовала это сопротивление и сопровождавший его жест...

А вот эпизод из жизни Колло д'Эрбуа, одного из главных деятелей термидорского переворота.

Однажды вечером Фукье–Тенвилль (знаменитый прокурор Террора, «топор республики») был вызван в комитет общественного спасения. *«Чувства народа стали притупляться, – сказал ему Колло. – Надо расшевелить их более внушительными зрелищами. Распорядись так, чтобы теперь падало по пятисот голов в день». – «Возвращаясь оттуда, – признавался потом Фукье–Тенвилль, – я был до такой степени поражён ужасом, что мне, как Дантону, показалось, что река течёт кровью...»*

Можно было бы привести множество аналогичных рассказов и о других героях термидора: Барере, Бильо–Варенне и проч. Все они были поэтами и мастерами крови. И они–то стали невольными агентами милосердия, защитниками угнетённой невинности!.. Революция, как Сатурн, поглощала своих детей. Но она же, как Пигмалион, влагала в них нужные ей идеи и чувства...

Да, это так. Революция божественно играла своими героями, осуществляя свою идею, совершая свой крестный путь. И люди, её «углубившие» до пропасти, поражали её гидру, ликвидируя дело своих рук во имя всё того же Бога революции... Змея жалила свой собственный хвост, превращаясь в круг – символ совершенства.

*«Человечность и снисходительность вернулись в среду революции»* – резюмирует Сорель сущность термидора. Это, однако, ни в какой мере не знаменовало ещё торжества контрреволюционеров. *«Революция, казалось, окрепла после падения Робеспьера. Желая избавиться от террористов, французы и не думают отдавать себя в руки эмигрантов. Самое название этой партии и имена стоящих во главе её аристократов продолжают означать для большинства французов возврат к старому порядку и порабощение иностранцами. Эмиграция возбуждает против себя лучшее чувство французского народа – патриотизм, и наиболее прочное побуждение – личный интерес».* («Европа и французская революция», т. IV, гл. 4).

Революция перерождается, оставаясь самою собой. Её уродливости уходят в прошлое, её «запросы» и крайности –

в будущее, её конкретные «завоевания» для настоящего обретают прочную опору. *«Победить чужеземцев, пользоваться независимостью, доверить организацию республики»* – вот твёрдая цель общенациональных стремлений. Революция ищет и находит свои достижимые задачи.

Но старые формы её всестороннего «углубления» ещё продолжают некоторое время соблюдаться, хотя дух, их воодушевлявший, уже исчез. **Революция эволюционирует.** *«В окровавленном храме перед опустевшим алтарём, – описывает Тэн эту эпоху, – всё ещё произносят условленный символ веры и громко поют обычные славословия, но вера пропала...»* Однако постепенно ортодоксальный якобинизм покидается самими якобинцами. *«С каждым месяцем, под давлением общественного мнения, они отходят всё дальше от культа, которому служили... До термидора официальная фразеология покрывала своей догматической высокопарностью крик живой истины, и каждый причетник и пономарь Конвента, замкнувшись в своей часовне, ясно представлял себе только человеческие жертвоприношения, в которых он лично принимал участие. После термидора поднимают голос близкие и друзья убитых, бесчисленные угнетаемые, и он поневоле видит общую картину и детали ужасных деяний, в которых он прямо или косвенно принимал участие своим согласием и своим вотумом»* («Происхождение совр<еменной>. Франции, т. IV, гл. 5).

Начался отлив революции. Она становится менее величественной, но зато уже не столь тягостной для страны. Гильотина вдовеет, энтузиазм падает ниже нуля. На сцену выступают люди «равнины» и «болота», смешиваясь с оставшимися монтаньярами. *«С Робеспьером и Сен-Жюстом, – констатирует Ламартин, – кончается великий период республики. Появляется новое поколение революционеров. Республика переходит от трагедии к интриге, от мистицизма к честолюбию, от фанатизма к жадности».* Однако страна столь устала от трагедии, мистики и фанатизма, что готова на время им предпочесть даже интригу, честолюбие и жадность...

Диктатура комитетов вызывает протесты и уступает место выборному началу. *«Народные комитеты, — заявляет Бурдон, — не есть сам народ. Я вижу народ только в местных избирательных собраниях»*. Не протестуя, таким образом, против самого принципа революции, «термидорианцы» встают лишь против его своеобразного применения Робеспьером и его друзьями. Невольно приходит на память недавний лозунг кронштадтцев насчет «свободно избранных советов».

Таков «путь термидора». Его торжество обуславливалось его ограниченностью. В отличие от путей Вандеи и Кобленца, он опирался на существо самой революции, принимая её основу и подчиняясь её законам. **Термидорский сдвиг был подготовлен настроениями революционной Франции и совершён Конвентом, т.е. высшим законным органом революции.** *«Что обеспечивало Конвенту победу, — по глубокому замечанию Сореля, — так это то, что сила, которой он пользовался, не была контрреволюционной: то была сама вооруженная революция, реагирующая против себя для того, чтобы спастись от собственных излишеств»*. Это нужно раз навсегда запомнить и иметь в виду.

И когда в наши дни там и сям поднимаются толки о «русском термидоре», необходимо прежде всего усвоить истинные черты и усвоить урок французского. Иначе кроме «злоупотребления термином» ничего не получится.

Детали, конкретные очертания революции у нас радикально и несоизмеримо иные. В частности, судя по всему, в теперешней Москве нет почвы для казуса в стиле 9 термидора. Но, как мы установили, он и не существенен **сам по себе** для развития революции. Он мог быть, но его могло и не быть, — «путь термидора» не в нём.

Что же касается этого пути, то он уже начинает явственно намечаться в запутанной и сложной обстановке наших необыкновенных дней.

Конечно, он не в белых фронтах и окраинных движениях, вдохновляемых чужеземцами и эмиграцией. Нет, все эти затеи ему не только чужды, но и враждебны, — лишь безна-

дѣжные слепцы или контрреволюционеры в худшем смысле этого слова могут ими обольщаться. Страна – не с ними. Они – вне революции.

Но он – и не в стихийных восстаниях или голодных бунтах против революционной власти. Эти восстания и бунты, быть может, в известной мере способствуют его зарождению и укреплению. Но по своему содержанию он не имеет с ними ничего общего. Революционная Франция, как ныне Россия, хорошо знала подобные мятежи городков и деревень: прочтите хронику эпохи (Эвре, Дьепп, Лион, Вервен, Лилль и т.д.). Однако они никогда не были победоносны уже по одному тому, что не имели творческой идеи и неизменно оказывались не более как бесцельными, хотя и естественными, конвульсиями страдания. Победы они – революционный процесс был бы не плодотворно завершён, а лишь бессмысленно прерван, чтобы снова возобновиться...

Путь термидора – в перерождении тканей революции, в преображении душ и сердец её агентов. Результатом этого общего перерождения может быть незначительный «дворцовый переворот», устраняющий наиболее одиозные фигуры руками их собственных сподвижников и во имя их собственных принципов (конец Робеспьера). Но отнюдь не исключена возможность и другого выхода, – того самого, о котором говорил Наполеон Мармону: приспособление лидеров движения к новой его фазе. Тогда процесс завершается наиболее удачно и с меньшими потрясениями – «путем власти»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Примечание ко второму изданию.* Бухарин («Царизм под маской революции», издание газеты «Правда», с. 25–27) напоминает мне, что путь термидора отнюдь не был «идиллией». Я не отрицаю этого трюизма: до идиллий ли в революционные времена? Основная мысль настоящей статьи в том, что термидор не был новой *всемирной* революцией (т.е. контрреволюцией), что и социально, и политически он был «имманентен» революции, как некоему целостному процессу, и, наконец, что он был органической стадией, «вторым днем революции, спасшейся через него от своих утопических «излишеств».

Мне представляется весьма сомнительной аргументация г. Бухарина относительно «русского термидора»: «Здесь (т.е. в русской революции – Н.У.), – пишет он, – *налицо строгое соответствие между объективно-*

В современной России как будто уже чувствуется веяние этой новой фазы. **Революция уже не та**, хотя во главе её – все те же знакомые лица, которых ВЦИК отнюдь не собирается отправлять на эшафот. Но они сами вынужденно вступили на путь термидора, неожиданно подсказанный им крондшадтской Горой; не удастся ли им поэтому избежать драмы 9 числа?

Большевицкий орден несравненно сплочённое, дисциплинированное, иерархичнее якобинцев. Вместе с тем, Ленин более гибок и чуток, нежели Робеспьер. Если у нас не было Верньо и Дантона, то наши крайние якобинцы крупнее и жизненнее французских, хотя в аспекте «быта» не менее их ужасны. Быть может, они и кончат иначе. Но основная линия развития самой революции, по-видимому, остаётся в общем тою же.

Ныне есть признаки кризиса революционной истории. Начинается «спуск на тормозах» от великой утопии к трезвому учету обновлённой действительности и служению ей, – революционные вожди сами признаются в этом. Тяжёлая операция, – но дай ей Бог успеха!

---

*историческим «смыслом» революции и основной классовой её пружиной: пролетарская революция – пролетариат – пролетарская диктатура.* Пусть основным «субъективно-классовым фактором» нашей революции явился рабочий класс (хотя исторически и это достаточно спорно), – но откуда берет г. Бухарин, что и *объективное* её содержание – пролетарская диктатура и социализм? Тут налицо характерное *petitio principii*. А между тем именно в этом-то и ядро вопроса.

Но допустим, что и здесь г. Бухарин прав. Однако и тогда правомерность аналогии с Францией ещё не снимается. Объективно-историческим смыслом французской революции была победа третьего сословия и демократического государства. Но этот её «смысл», окрасивший собой целое столетие европейской жизни, не спас же революционную Францию от термидора. Социализм по Марксу и Ленину – «запрос» большевистской революции у истории, подобно тому, как демократия марки Руссо была аналогичным запросом революции якобинской.

Теперь, после XIV съезда и XV конференции компартии, «путь термидора» стал, как известно, злободневной *внутрипартийной* проблемой. Это – факт, вне зависимости от того, кто имеет больше шансов оказаться правым: коммунист Залуцкий, считающий вождями русского термидора Сталина и... г. Бухарина, или коммунист Ларин, объявивший таковыми Зиновьева и Троцкого.

Когда она будет завершена, – новая обстановка создаст и новые формы. Тормоза станут не нужны.

«Революция спасается от собственных излишеств». И горе тем, кто помешает ей в этом, – с трибун ли красных клубов, или из жалких эмигрантских конур.



Хорошо! Вот ответ

Тыцкому товарищу  
 Михаилу Струеву!

А.И. Струеву изложил вкратце  
 историю нашей жизни, а с ее развитием  
 доверия к нам, а вот выразит чувство  
 и любовь и также любовь.

Многие это весьма добрые. До  
 рождения Митичева, Иваном Ивановичем  
 «Первоначальные Проблемы» (Борьба  
 демократических требований), а именно: не  
 все требования «добра и справедливости»  
 востражили. Ибо сие заявление сего  
 органа, а также Коммуны востражили  
 и за пределы страны. Каким и во  
 странах, в Великобритании — Конференция  
 (подготовка) востражили — от этого  
 (под) до востражили и, наконец, в  
 России востражили.

Это письмо должно идти  
 к вам в один устал, а именно:

Удобнее всего писать. Необходимо  
 писать «Одному Ивану» и получить  
 письмо — до того же времени  
 и письма не должно быть  
 никаких писем и никаких  
 фактов «федерализма», наша  
 программа, которая должна быть  
 нашей в нас не должна быть  
 и агрессивна к нам, а востражили  
 никакого вреда. Нет никаких  
 требований к нам (нужно  
 — написать заранее что  
 нужно. Нужно писать, что  
 для нас это будет все  
 самое лучшее. Между тем  
 в России есть много  
 и самые разные стороны  
 нашей жизни, а также, все  
 наше развитие и развитие  
 нашей жизни до конца. И вы

Удобнее всего писать. Необходимо  
 писать «Одному Ивану» и получить  
 письмо — до того же времени  
 и письма не должно быть  
 никаких писем и никаких  
 фактов «федерализма», наша  
 программа, которая должна быть  
 нашей в нас не должна быть  
 и агрессивна к нам, а востражили  
 никакого вреда. Нет никаких  
 требований к нам (нужно  
 — написать заранее что  
 нужно. Нужно писать, что  
 для нас это будет все  
 самое лучшее. Между тем  
 в России есть много  
 и самые разные стороны  
 нашей жизни, а также, все  
 наше развитие и развитие  
 нашей жизни до конца. И вы



# Национал–большевизм

(Ответ П. Б. Струве)<sup>1</sup>

Из всей обширной критической литературы, посвящённой «национал–большевизму», статья П. Б. Струве в берлинском «Руле» представляется наиболее примечательной. Она сразу берёт проблему в корне, выдвигает самые существенные, самые серьёзные возражения, формулируя их выпукло, лапидарно и изящно. В ней нет ничего лишнего, но главное, что можно сказать против оспариваемой позиции, исходя из её же собственного отправного пункта («имманентная критика»), – ею сказано.

Тем отраднее констатировать её внутреннее бессилие по существу опровергнуть национал–большевизм в его основных утверждениях. Даже и наиболее, казалось бы, веские, наиболее убедительные на первый взгляд аргументы, по–видимому, неспособны поколебать этой точки зрения, завоёвывающей ныне всё более широкие симпатии в стане русских патриотов.

Разберёмся в интересующей нас статье.

## I

Решающая ошибка П. Б. Струве состоит в том, что он смешивает большевизм с коммунизмом. Исходя из этого неверо-

---

<sup>1</sup> «Новости Жизни», 18 сентября 1921 года. Парижский журнал «Смена вех», № 3 (12 ноября 1921 года). Статьи Струве о национал–большевизме были затем воспроизведены в журнале «Русская мысль» (София, 1921, кн. V–VII) под заглавием «Историко–политические заметки о современности».

ятного и недосказанного им отождествления, он и получает лёгкую возможность утверждать «абсолютную и объективную антинациональность большевизма».

Я готов согласиться с П.Б. Струве, поскольку острое его полемики направлено против ортодоксального коммунизма. Едва ли реже, чем моим нынешним политическим противникам, приходилось мне самому подчеркивать чрезвычайную экономическую вредоносность коммунистического режима в современной России (эта сторона примиренческой позиции уже отмечалась в критической литературе: ср. напр., статьи Пасманика в «Общем деле» и проф. Яценко в № 5 «Русской Книги»). Струве совершенно неправ, заявляя, будто национал-большевизм, увлекшись государственным фасадом Советской России, склонен «идеализировать весь её строй» (т.е., очевидно, включая и социально-экономическое экспериментаторство?) Этого никогда не было и не могло быть.

Но ведь в том-то и дело, что советский строй не только не исчерпывается экономической политикой «немедленного» коммунизма, но даже и не связан с нею органически и неразрывно. Сам Струве несколькими строками ниже говорит о большевизме как о «государственной системе», представляющей собою «чистейшую политическую надстройку без экономического базиса или фундамента». Таким образом, необходимо признать, что качество «абсолютной и объективной антинациональности» присуще не большевизму, как таковому, а лишь той экономической политике, которую вела большевистская власть в период гражданской войны в неоправдавшемся расчёте на близкую мировую революцию.

Однако, общая обстановка заставила её изменить систему своей экономической политики. Пришло время, когда хозяйственная опустошительность социального опыта уже не может более компенсироваться никакими политическими успехами революционной власти. Государство затосковало по хозяйству. На наших глазах происходит то тактическое «перерождение большевизма», которое нами упорно предсказывалось вот уже

более полутора лет (см. хотя бы мою статью «Перспективы» в сборнике «В борьбе за Россию»), и ориентация на которое есть один из основных элементов национал–большевистской идеологии и тактики. Коммунизм из реальной программы дня постепенно становится своего рода «регулятивным принципом», всё меньше отражающемся на конкретном организме страны. Советская власть капитулирует в сфере своей экономической политики, – какими бы правоверными словами эта капитуляция ни прикрывалась её официальными представителями.

Совершенно верное указание на национальную вредоносность коммунизма бьёт, таким образом, мимо «примиренцев», поскольку они утверждают (а жизнь подтверждает), что большевизм эволюционно принужден будет во имя сохранения своей «эффектной политической надстройки», нужной ему для мировых целей, ликвидировать хозяйственно не оправдавший себя «базис» насильственного, «азиатского коммунизма». Тем самым и фасад мало–помалу окончательно утратит свою кажущуюся «призрачность» и обманчивость.

При этом для нас имеют лишь второстепенное значение мотивы, которыми руководствуется советская власть в своей «эволюции». П.Б. Струве правильно подчеркнул в первой своей статье наше утверждение: большевизм может осуществить известную национальную задачу вне зависимости от своей интернационалистической идеологии.

Другой вопрос – удастся ли советской власти в тяжёлых условиях современной русской жизни перевести страну на «новые хозяйственные рельсы». Но что она принуждена «искренно» и всеми силами стремиться к этому, – сомнений быть уже не может. Равным образом ясно, что это её устремление – объективно в интересах страны. Следовательно, оно должно встретить активную поддержку со стороны русских патриотов. Другой же путь – «возврат к капитализму» через новую политическую революцию – при данной обстановке несравненно более эфемерен, извилист и разрушителен.

## II

Государственная «надстройка» имеет самостоятельный корень и самодовлеющее значение. Государственная мощь создается духом ещё в большей мере, нежели материей; тем более, что здоровый дух в конечном счете неизбежно дополняет себя и материальной мощью – облекается в золото и ощетиливается штыками. Вообще говоря, терминология марксизма, которою зачем-то пользуется П.Б. Струве в нашем споре, совсем не идёт к делу и лишь напрасно затемняет проблему. Ни для него, как для участника «Вех», ни для меня, как их воспитанника, не может быть сомнения в огромной и творческой ценности самого **начала государственной организации, как такового**. В социальной жизни «надстройка» может подчас сыграть созидательную и решающую роль. Она не есть непременно нечто вторичное и производное, фатально предопределённое фундаментом. Она может сама **обрести базу**, причем нет математически установленного соотношения между **данной** конкретной надстройкой и определённой конкретной базой. В творческих поисках экономической основы государственное здание может само себя трансформировать. Нет надобности его во что бы то ни стало разрушать дотла, чтобы не очутиться перед сплошной грудой развалин без всякого фундамента и без всякой постройки вообще. Спасение приходит часто через «политику», через «фасад» – так сказать, сверху, а не снизу. Как же игнорировать политическую организацию, которую сумела выковать наша революция, только на том основании, что **до сего времени** эта организация сочеталась с утопической и вредной системой хозяйствования?

Не могу не признаться, что с моей точки зрения правительства Львова и Керенского, в полгода доведшие (пусть невольнo) страну до полного государственного распада методами своей политики, едва ли не в большей степени заслуживают названия «абсолютно и объективно антинациональных», нежели большевизм, сумевший из ничего возродить государственную дисциплину и создать хотя бы «эффектный фасад»

государственности». Для начала и это бесконечно много. Через мощную, напряжённо волевою власть, **и только через неё одну**, Россия может прийти к экономическому и общенациональному оздоровлению. Какой же смысл расшатывать в таких муках создавшуюся революционную власть, **не имея взамен никакой другой**, – да ещё тогда, когда наличная власть делает героические усилия восстановить государственное хозяйство, хотя бы путем постепенного возвращения к «нормальным условиям хозяйственной жизни», до сих пор ею по принципиальным соображениям уничтожавшимися?

Я понимаю «формальных демократов» и радикалов–интеллигентов старого типа в их органической ненависти к «московским диктаторам». Эти по своему цельные, хотя и мало интересные люди ещё долгое время останутся в России профессионалами подполья и перманентными обитателями Бутырок. Но разве место в их рядах или рядом с ними тем, кто так чуждается «дореволюционной интеллигентщины» и постиг до конца логику государственной идеи?

Пусть конечные цели большевиков внутренне чужды идеям государственного и национального могущества. Но не в этом ли и заключается «божественная ирония» исторического разума, что силы, от века хотящие «зла», нередко вынуждаются «объективно» творить «добро»?..

Откровенно говоря, меня прямо поражает утверждение П.Б. Струве, что *«события на опыте опровергли национал–большевизм»*. Мне кажется – как раз наоборот: события покуда только и делают, что подтверждают его с редкостной очевидностью, оправдывая все наши основные прогнозы и систематически обманывая все ожидания наших «друзей–противников». Идеология примиренчества прочно входит в историю русской революции. Кстати, простая хронологическая справка опровергает догадку Струве о причинной зависимости этой идеологии от эпизодических большевистских успехов на польском фронте: определяющие положения национал–большевизма, тогда уже «носившиеся в воздухе» и проникавшие к нам из глубин России, были мною формулированы печатно в фев-

рале 1920-го года, а устно и предположительно (ближайшим политическим друзьям) – ещё раньше, в последние месяцы жизни омского правительства. Будучи внутренне обусловлена анализом русской революции, как известного сложного явления русской и всемирной истории, **идеология национал–большевизма внешне порождена приятием результата нашей гражданской войны** и открыто выявлена за границу в связи с ликвидацией белого движения в его единственной серьёзной и государственно–многообещающей форме (Колчак – Деникин). Струве прав, признавая, что это течение *«родилось из русской неэмигрантской почвы и отражает какие–то внутренние борения, зачатые и рождённые в революции»*. Дни польской войны дали ему лишь яркий **внешний** пафос, естественно потускневший после её окончания, но сделавший своё дело, широко распространив лозунги и прояснив лик народившегося течения. Логическое же его содержание было нисколько не поколеблено неудачным исходом польской войны. Дальнейшие события – крушение Врангеля, сумевшего лишь обеспечить Польше рижский мир, явное обмельчание и абсолютное духовное оскудение дальнейших белых потуг (ср. позорище нынешнего Владивостока), и, главное, начавшаяся тактическая эволюция большевизма – всё это лишь укрепило нашу политическую позицию и обуславливало её успехи в широких кругах русских националистов, заметно разочаровывающихся в эмигрантской «головке».

Мы никогда не ждали чуда от нашей пропаганды и не прикрашивали безотрадного состояния современной России. Приходилось выбирать путь наименьшего сопротивления, наиболее жизненный и экономный при создавшихся условиях. Нельзя было не предвидеть всей его тернистости и длительности, но выбора не было.

Пусть П.Б. Струве перечтёт статьи своих единомышленников за последний год и сравнит их с литературой национал–большевизма: кто проявил большую трезвость, большее чутьё действительности, и кто обнаружил больше политического «сумбура»? Кто сумел установить известную историческую

перспективу, и кто фатально принимал всех мух за слонов, настоящего–то слона так и не удосужившись приметить?..

### III

Наконец, что же противопоставляется самим П.Б. Струве отвергаемой им политической тактике? – Неясно. – «Сумбурно». Дразнящая «апория» на самом интересном месте, как в ранних диалогах Платона.

Впрочем, в «Размышлениях о русской революции» высказывается такой прогноз – императив: *«Русская контрреволюция, сейчас смятая и залитая революционными волнами, по–видимому, должна войти в какое–то неразрывное соединение с некоторыми элементами и силами, выросшими на почве революции, но ей чуждыми и даже противоположными»* (с. 32).

Эта туманная фраза (сама по себе дающая материал и для выводов в духе национал–большевизма) получает известное разъяснение в анализируемой статье из «Руля». И это разъяснение делает её в моих глазах уже совсем неприемлемой. «Некоторые элементы и силы» – это, очевидно, прежде всего красная армия, которую П.Б. Струве и рекомендует использовать **непосредственно** в целях контрреволюции, т.е. направить её против большевистского режима в той революционной борьбе, которую должны с ним вести национальные силы.

Этот рецепт при современной политической конъюнктуре явно неудачен: в лучшем случае он утопичен, а в худшем – антинационален и противогосударственен. Если он имеет в виду безболезненный и «в полном порядке» акт выступления красной армии (со всеми её курсантами) против нынешней русской власти, во имя определённой идеи или определённого лица, – то он просто «лишён всякого практического смысла», и из него, как из наивной фантазии, «нельзя извлечь никаких директив для практических действий», даже при признании его «теоретически правильным». Если же он стремится разложить красную армию теми методами, какими в своё время большевики разлагали белую, – он национально преступен и безумен, ибо разрушает те «белые принципы»,

которые, по меткому замечанию Шульгина, переползли—таки за линию красного фронта в результате нашей ужасной, но поучительной гражданской войны. Я убеждён, что именно П.Б. Струве должен понимать лучше других всю безмерную опасность внесения революции в красную армию, всю недопустимость новой демагогической дезорганизации русской военной силы. Зачем же бросать недоговоренные лозунги и двусмысленные рецепты? К чему этот рецидив красной большевистской весны?..

Момент конфликта революции с «некоторыми элементами и силами, выросшими на её почве, но ей глубоко чуждыми», ещё далеко не настал и пока что он даже не обрисовывается впереди. Напротив, в данный момент наблюдается скорее своеобразное взаимное сближение этих двух факторов современной жизни России. Нет смысла искусственно вызывать или форсировать их конфликт, — гораздо более целесообразно добиваться возможно большего органического или даже механического приспособления революции к национальным интересам страны, хотя бы формально и внешне победа осталась за интернационалистической революцией, хотя бы лозунги её были по—прежнему внешне противоположны началам национализма и государственности. И та сторона национал—большевизма, которую Струве неправильно называет «идеологией национального отчаяния», как раз и учитывает известную полезность революционной фирмы в «защитных» государственных целях. Не совсем для меня понятная ссылка на «чудовищное лицемерие и маккиавеллизм» такой точки зрения не может служить её убедительным опровержением. Тем более, что ведь сама—то революция «субъективно» действует здесь без всякого лицемерия и маккиавеллизма. Следовательно, известные и чисто конкретные результаты (хотя бы они были и очень далеки от заправской «мировой революции») могут быть достигнуты. Для патриота же все действенные пути сохранения и восстановления родины, мыслимые при данных условиях, должны быть сполна использованы.

Тактика национал—большевизма столь же осмысленна, сколь ясна и внутренне цельна его идеология.



## **Сумерки революции**

*(К четырёхлетнему юбилею)*

Да, это так. Наступают сумерки революции, и нынешний юбилей её является прекрасным поводом это признать и констатировать. Она победила, она обнаружила великую мощь, великую жизненность, она запечатлела себя незабываемым этапом всемирной и русской истории. Но... времена и сроки её исполняются. Она приходит к своему естественному завершению.

Она сделала всё, что могла, – пусть другие сделают лучшее. Она сожгла Россию огнём своего энтузиазма. Этот огонь согреет десятилетия, а России пора возродиться из пепла: «не оживет, аще не умрет». Революция завершается – Россия восстанавливается. Россия мало-помалу, с великими трудностями, разорённая, нищая, но великая и прекрасная в своём жертвенном подвиге – «возвращается к нормальной жизни». Но это уже не старая Россия, упёршаяся чугунным александровым конём в тупик, не знающая выхода из тупого оцепенения, – съедаемая глубоким внутренним недугом. Это – новая Россия, воскресающая к «новой жизни».

Пропала Рассеичка.–

Загубили бедную

– Новую найдем Россию, –

Всехсветную...

Революционная утопия побеждала, покуда на неё ополчались элементы, русской историей обречённые на слом.

В победах над ними она своеобразно утверждала себя, осуществляя свою национальную и мировую миссию. Но как только она победила, — логикой жизни самой она должна отойти, раствориться в будущем, предтечей которого она является, — уступить место конкретной жизненной правде.

Октябрьская революция вступает в пятый год своего бытия существенно иному, чем она была в момент максимального своего углубления. Был «немедленный коммунизм» — сейчас возрождается частная собственность, поощряется «мелкобуржуазная стихия», и о «государственном капитализме» говорится как о пределе реальных достижений. Была «немедленная мировая революция» — сейчас в порядке дня ориентация на «мировой капитализм», отказ от экстремистских методов борьбы с ним. Был боевой воинствующий атеизм — сейчас в расцвете «компромисс с церковью». Был необузданный интернационализм — сейчас «учёт патриотических настроений» и приспособление к ним. Был правовернейший антимилицаризм; — но уже давно гордость революции — красная армия. Можно продолжать эти антитезы до бесконечности.

Все «конечные цели» революции уплыли в неопределённое будущее, — если хотите, стали «идеями-силами» в большом всемирно-историческом масштабе. «По тактическим соображениям» их изгнали из конкретной политики. Ангел революции тихо отлетает от страны: он уже обеспечил себе бессмертие.

«Но, — скажут, — осталось главное. Осталась революционная **власть**. Пока жива она — жива и революция». Как раз то же самое говорит про себя и сама эта власть. «Пока мы держимся — живёт и великий Октябрь». Это верно лишь отчасти. Это было бы верно вполне, если б Октябрь умещался в пару или тройку алгебраических революционных формул, да в группу знакомых фотографических карточек, снятых в Октябре. Тогда всё было бы в исправности: формулы всё ещё красуются в надлежащих местах, обозначая «конечные

цели», а знакомые лица занимают всё те же руководящие государственные посты.

Но нет, – Революция не исчерпывается столь простыми вещами.

Она есть дух, она прежде всего есть дух живой. Она – стиль страны в определённую эпоху её жизни. Она – жизненный порыв, имеющий своё начало и свой конец.

Страна уже не та, что была четыре года тому назад. Существенно иная объективная обстановка – и материальная, и психологическая, и международная, и национальная. «Опыт» проделан, максимальное революционное каление – позади. Начинаются сумерки, – быть может и очень долгие, длительные, как в северных странах...

Это не может не отражаться и на власти. Пусть её держат те же лица, но они сами уже **не те**. Они объективно не могут быть теми же, ибо уже не та стихия, живущая в них.

**Или революционная власть будет постепенно наполняться новым содержанием, или ей придется вовсе уйти.**

Третьего выхода не дано.

В своё время французские якобинцы оказались неспособны почувствовать новые условия жизни – и погибли. Ни Робеспьер, ни его друзья не обладали талантом тактической гибкости. Нынешняя московская власть сумела вовремя учесть общее изменение обстановки, понижение революционной кривой в стране и во всём мире. Учесть – и сделать соответствующие выводы. Поэтому она и живёт до сих пор, и положение её вполне прочно, поскольку она, повинувшись велениям жизни, спускает нынешнюю Россию с вершин революции. Судя по всему, она делает это твердо, разумно, энергично. Точно так же, как четыре года тому назад она влекла страну на головокружительные революционные высоты.

«Дух истории» по-прежнему с нею.

Четыре долгих и страшных года сделали явными для всех, что путь возрождения России лежит через Великую Революцию. Фокус событий – в органическом процессе революционного развития.

Путь России бился все эти годы в Москве и только в Москве, — а не в Омсках, Екатеринодарах и Севастополях. Теперь это уже бесспорно. Разве лишь безнадежно слепым это остаётся недоступным. И всё положительное, что только было в Омсках, Екатеринодарах и Севастополях, — всё это ныне усваивается Москвой («белые идеи переползли через красный фронт») и может претворяться в жизнь только ею. Фундамент новой России закладывается Революцией, сжёгшей старую Россию. И теперь, когда острый революционный процесс, осуществив свою мировую и национальную миссию, подходит к естественному своему концу, с особенно ясной непрерываемостью ощущается необходимость забвения всех политических распрей, так мучительно разделявших Россию за эти четыре года, и повелительно выдвигается долг **всероссийской деловой работы** над воссозданием подорванных сил государства. Это воссоздание идет ныне под знаком советской власти, отказавшейся от революционного утопизма.

Тем более неизбежную основу приобретают призывы к действительному примирению с ней, к добровольному и честному признанию её единою российской властью.

## «Вехи» и революция

В московской «Правде» (14 окт.с.г. [1921]) напечатана передовая статья, посвящённая вышедшему недавно в Праге сборнику «Смена Вех». Эта статья побуждает меня, как одного из участников пражского сборника, ещё раз подчеркнуть истинный смысл того «примирения с революцией», к которому, с моей точки зрения, призывают новые «Вехи», и к которому, как известно, склоняются всё более и более широкие круги интеллигентской эмиграции.

Если, со своей стороны, наши зарубежные политические стародумы по соображениям полемического характера нередко, но тщетно собираются записать нас в «большевики», то с другой стороны, и советский официоз, очевидно, по тактическим мотивам, стремится представить наше «примирение с революцией» в несколько стилизованном, сгущенном свете.

Прочтя статью «Правды» с искусно, но, несомненно, односторонне подобранными цитатами, можно, пожалуй, и впрямь подумать, что авторы цитируемого сборника – «без пяти минут большевики». На самом же деле это не так, и, обращаясь к власти, с которой мы призываем примириться всех русских патриотов, мы должны ей открыто выявить наше подлинное лицо.

Да, авторы новых «Вех» признают правительство русской революции.

Да, они посильно борются со всякими авантюрами, против него направленными, откуда бы эти авантюры ни исходили.

Бывшие солдаты белой борьбы, ныне они сознательно и честно, без всякой задней мысли, готовы всемерно способствовать воссозданию родины, возглавляемой советским правительством. Тяжбу о власти они считают поконченной.

Это так. Это бесспорно... Они утверждают это категорически и добровольно, без всякого принуждения, пользуясь за границую России всеми благами свободы самоопределения, мнения и слова.

Но если мы занимаем вполне лояльную позицию по отношению к московской власти, то из этого ещё вовсе не следует, что мы разделяем целиком всю **программу большевистской революции**.

«Правда» вскользь упоминает о «многих пережитках старой психологии», которую «ещё сохраняют авторы книги». Жаль однако, что она не довела до сведения своих читателей сущность этих «пережитков». Тогда интеллигенция Советской России могла бы вернее оценить идеологию примиренчества, усваиваемую эмигрантской интеллигенцией. Тогда она лучше поняла бы нас.

Теперь же ей придется о многом лишь догадываться, а кое-чему, быть может, и подивиться...

«Смена Вех» не верит в немедленный коммунизм. Ни один из её авторов – не социалист. «Смена Вех» руководится прежде всего патриотической идеей. Идеология ортодоксально-интернационалистская и классовая чужда ей.

Идейного и внутреннего растворения в большевистском миросозерцании мы не проповедуем. Мы смотрим на большевизм как на форму государственного властвования, в переживаемый исторический период выдвинутую русской нацией.

Мы призываем русскую интеллигенцию отказаться от политического максимализма и пойти на службу русскому государству в его наличном состоянии и с его наличным обликом.

Тем более обоснованными становятся наши призывы, чем трезвее усваивает советская власть разницу между утопией и действительностью. На лестный комплимент «Правды» по нашему адресу мы рады ответить соответствующей контролюбезностью:

«Пусть коммунисты, – говорим мы, – сохранили ещё многие пережитки своей старой психологии.

Но жизнь учит, и они способные ученики. Логика жизни заставит их идти всё дальше и дальше по пути сближения с нуждами конкретной жизненной обстановки и запросами здравого государственно–экономического смысла».

Конечно, было бы близоруко не учитывать мирового значения русского опыта. Есть много оснований утверждать, что русская революция открывает собою новую эру всеобщей истории.

Она – первая бурная судорога «старого мира», живущего «великими принципами 89 года». Но из этого ещё отнюдь не следует, что её предельные лозунги воплотимы теперь же сполна.

Пусть всемирная история усвоит многое из того, что провозглашается социалистической программой<sup>1</sup>. Но путь этого усвоения длителен, извилист и постепенен.

Мы не верим в «перманентную» революцию, не сочувствуем ей, и рады констатировать, что революционное наводнение в России уже явно идет на убыль. Свою роль оно уже сыграло, свою достижимую задачу исполнило, и никакие силы в мире не восстановят теперь России старого порядка. Миссия эпохи «великих потрясений» осуществлена. Не нам быть могильщиками революции, но, с другой стороны, никакие камфорные впрыскивания не спасут её жизни, раз её час пробил.

По общей политике советской власти последнего времени, по официальным заявлениям её вождей мы замечаем, что

---

<sup>1</sup> *Примечание ко второму изданию.* В первом издании эта фраза редактирована так: «Всемирная история идет к социализму, как своему очередному фазису». Под влиянием критических замечаний г. Бухарина («Цезаризм», ст. 6), я считаю целесообразным формулировать мою мысль более точно.

эта истина доступна и ей. Тем более глубокие корни пускает в сознание русской интеллигенции идеология национального примирения.

Нужно только учитывать её действительный смысл.

Примиренцы, горьким опытом убедившиеся в национальной вредности пресловутой «борьбы», могут в следующих словах формулировать своё отношение к нынешним правителям России:

«Мы — с вами, но мы — не ваши. Не думайте, что мы изменились, признав ваше красное знамя: мы его признали только потому, что оно зацветает национальными цветами. Не думайте, что мы уверовали в вашу способность насадить в нынешней России коммунизм или насильственно зажечь мировую революцию большевистского типа; но мы реально ощутили государственную броню, которою страна через вас себя покрыла, и воочию увидели ваш вынужденный, но смелый и энергичный разрыв с утопией, губительной для страны.

Мы идем к вам в «Каноссу» не столько потому, что считаем вас властью «рабоче-крестьянской», сколько потому, что расцениваем вас как российскую государственную власть текущего периода. Мы не можем стать ни коммунистами, ни интернационалистами, ни певцами классовой «пролетарской культуры». Будь мы в России, мы, конечно, не превратились бы ни в «красных профессоров», ни в советских публицистов, но сознательно обрекли бы себя на роль государственных «спецов», и на этой деловой почве безболезненно встретились бы с вами».

Для «спеца» необходимы два свойства: лояльное отношение к власти и технические знания. Большого от него ничего и не следует ждать. Он чужд политики, заведомо отказывается от самостоятельной политической деятельности.



Кажется, именно такова «рабочая идея» большинства интеллигенции, ныне сотрудничающей в России с советской властью.

«Смена Вех» становится, таким образом, как бы вольным словом, «бесцензурной речью», рупором этой интеллигенции, не могущей ещё ничего говорить, но знающей и чувствующей много, бесконечно больше надменной и пустой эмигранткины, бросающей камень в каждого, кто «замарал себя касательством к большевикам». Социального базиса для активной **политической** работы национальной интеллигенции в России ещё нет. И, с своей стороны, она не должна стремиться во что бы то ни стало играть политическую роль. Решающим и активным фактором благополучного завершения революции окажутся те же элементы («рабочие и крестьяне»), на которых было ориентировано в свое время её знаменитое «углубление». Путь воссоздания наметят своими конкретными настроями те, кто некогда разрушал. «Новая экономическая политика» — в этом отношении знаменательный симптом.

Спецы не добиваются от коммунистов какого-либо внутреннего идейного перерождения. Им необходима только возможность плодотворной работы на благо страны. Равным образом, и коммунисты не должны требовать от интеллигенции большего, чем она может дать: духовно и органически «сближаться с революцией» она может постольку, поскольку революция спускается к ней с заоблачных высей мечты. Мотивы обеих сторон, ныне «перебрасывающих друг другу мост», достаточно ясны и законны, чтобы их не скрывать. И всякая недоговоренность тут только может повредить делу. Вот почему я счел целесообразным написать эти строки, в которых нет ничего нового для всякого, кто знаком с примиренческой позицией. Но если они случайно дойдут до «Правды», пусть она примет их во внимание.

## Эволюция и тактика<sup>1</sup>

Есть весьма легкий способ полемики: вы влагаете в уста противнику вами же измышленный абсурд, и потом победоносно громите этот абсурд к вящей своей славе. Способ легкий и удобный, но формально логикой ещё со времен Аристотеля весьма сурово осуждаемый.

Я вспомнил о нём на днях, прочтя в местном «Русском Голосе» некую малограмотную статейку неизвестного автора «Эволюция или тактика». Статейка эта, воспроизводя довольно широко распространённое обывательское представление, силится утверждать, будто примиренцы отрицают **тактический** характер нового курса советской власти и выдают изменение тактики большевиков за какое-то внутреннее и коренное изменение их духовной природы. Приписав противникам столь явный абсурд, автор статейки торжественно обличает его несостоятельность. Любопытно, что аналогичные мотивы можно подчас встретить и в нашей европейской эмигрантской прессе.

Во избежание всяких подобных «полемик», считаю уместным ещё раз категорически засвидетельствовать, что примиренцы никогда не сомневались в чисто тактической основе нового

---

<sup>1</sup> «Новости Жизни», 20 ноября 1921 г., перепечатана в № 13 «Смены Вех». Эта статья вызвала известную реплику Ленина на XI съезде (см. статью «Логика революции» в настоящем сборнике).

курса советской власти. Они лишь утверждали и утверждают, что новая тактика большевиков имеет для страны глубокое принципиальное значение и что плоды её будут обладать силой, непреодолимой даже для самих её авторов. «Эволюция большевизма» есть эволюция его политики, а не его философии. «Эволюция большевизма» есть его разрыв с прежними методами хозяйствования, а вовсе не изменение его конечных целей в сознании его вождей. В этом не может быть сомнения. Но всё дело в том, что большевизм, изменивший свою экономическую политику, переставший быть «немедленным коммунизмом», — не есть уже прежний большевизм. В этом тоже не может быть сомнений, и это единодушно подтверждается всеми сведениями, идущими из России. Отсюда ясно, что «тактику» нельзя противопоставлять «эволюции». **Эволюция тактики большевизма в основном хозяйственно-государственном вопросе есть эволюция большевизма.** Большевизм являлся прежде всего тактикой «прямого действия». Если же теперь он выбирает «обходной путь» — он уже тем самым перестаёт быть прежним большевизмом, хотя конечные цели его остаются прежними. Но до них уже очень, очень далеко...

Чтобы не повторять по новому раз уже высказанной аргументации, и вместе с тем чтобы обличить грубое извращение нашими противниками наших мыслей, я позволю себе процитировать отрывки из своей собственной статьи, посвященной проблеме «перерождения большевизма». Эта статья была напечатана в «Новостях Жизни» от 6 апреля с.г., в связи с первыми телеграммами о предстоящем изменении экономической политики Москвы. Её прогнозы теперь целиком оправдываются.

*«Весь вопрос, разумеется, в том, — писал я в своей статье, — какой смысл вкладывается в понятие "эволюция большевистской власти". Скептическое отношение к подобной эволюции будет вполне оправданным, если мы захотим в ней*

видеть отказ большевиков от своей собственной программы. Не подлежит ни малейшему сомнению, что вожди русского коммунизма, начиная с Ленина, не могут перестать и не перестанут быть принципиальными коммунистами... Но свидетельствует ли это, что политика Москвы обречена остаться без всяких изменений в своем конкретном курсе? Значит ли это, что большевизм чужд всякой эволюции?»

Отнюдь нет. «Мир с мировой буржуазией, концессии иностранным капиталистам, отказ от позиций немедленного коммунизма внутри страны» – вот нынешние лозунги Ленина: мы имеем в них экономический Брест большевизма... Ленин, конечно, остаётся самим собою, идя на все эти уступки. Но, оставаясь самим собой, он вместе с тем несомненно «эволюционирует», т.е. по тактическим соображениям совершает шаги, которые неизбежно совершила бы власть, чуждая большевизму. Чтобы спасти советы, Москва жертвует коммунизмом. Жертвует, с своей точки зрения, лишь на время, лишь «тактически», – но факт остается фактом».

Кажется, ясно! Понятие «эволюции» определено в точности и никакого основания для кривотолков не дано.

Мотивы, руководящие советскою властью в её эволюции, очевидны. «Россия должна приспособливаться к мировому капитализму, ибо она не смогла его победить. На неё уже нельзя смотреть как только на «опытное поле», как только на факел, долженствующий поджечь мир. Факел почти догорел, а мир не загорелся... Нужно сделать Россию сильной, иначе погаснет единственный очаг мировой революции. Но методами коммунистического хозяйства в атмосфере капиталистического мира сильной Россию не сделаешь. И вот «пролетарская власть», сознав, наконец, бессилие насильственного коммунизма, идёт на уступки, вступает в компромисс с жизнью. Сохраняя старые цели, внешне не отступаясь от «лозунгов социалистической революции», твёрдо удерживая за собой политическую диктатуру, она начинает принимать меры, необходимые для хозяйственного возрождения страны,

*не считаясь с тем, что эти меры – "буржуазной" природы. Вот что такое «перерождение большевизма».*

И уже тогда, семь с лишним месяцев тому назад, можно было предвидеть всю принципиальную важность для страны этого нового курса советской власти, тогда ещё только намечаемого:

*«Есть много оснований думать, что, раз став на путь уступок, советская власть окажется настолько увлечённой их логикой, что возвращение на старые позиции коммунистического правоверия будет для неё уже невозможным. По-видимому, именно с этим аргументом и выступает против новой тактики Ленина левая, «правоверная» группа. Но если такой аргумент в какой-либо мере действителен против Ленина, то с точки зрения интересов страны он абсолютно невесом: страна и не заинтересована в возвращении к ортодоксальному коммунизму».*

Я привел эти не допускающие двух толкований выдержки в целях выяснения не со вчерашнего дня установленной примиренческой точки зрения на проблему «эволюции большевизма». Время лишь подтвердило правильность этой точки зрения. Согласно всем сведениям, идущим из России, страна явно оправляется под влиянием нового правительственного курса, продиктованного разумным учетом общей обстановки. «Места» с чрезвычайной быстротою воспринимают новые директивы центра, и жизнь даже стремится обогнать ликвидировавшие коммунизм декреты. «Зачем нам приглашать кадетов, если мы сами можем стать кадетами?!» – уже шутят большевистские вожди в ответ на советы привлечь в правительство представителей «буржуазных» групп. Это – шутка, но достаточно характерная: по тактическим соображениям большевики «притворяются» властью, способствующей насаждению «буржуазного» строя. Но ведь в конце концов важны не мотивы их, а конкретные результаты их деятельности.

Всё яснее становится, что повернуть «назад к коммунизму» Москве даже и при желании уже не удалось бы. Формируются новые социальные связи, создает «советская буржуа-

зия» — прочное и реальное «завоевание революции». Новые хозяйствующие элементы — крестьянство, «омелкобуржуазившиеся» рабочие, новая буржуазия городов — крепко связаны с порядком, созданным революцией, но они решительно не заинтересованы в реставрации насильственного «коммунизма», прекрасно пригодившегося лишь для разрушения старого социального строя. При таких условиях не подлежит сомнению, что эволюция большевизма будет на наших глазах всё развиваться и углубляться. Новые экономические отношения уже отражаются в правовой сфере (новый гражданский кодекс, вырабатываемый народным комиссариатом юстиции), затем неизбежно наметятся реформы управления, а когда окончательно созреют кадры новой буржуазии, — последуют, вероятно, соответствующие «рефлексы» и в области «большой политики». Но революционный облик страны всё же останется, и глубоко заблуждаются те, кто ещё мечтают о контрреволюции старого, «белого» или «зеленого», типа. Мы вступили на «путь термидора», который у нас, в отличие от Франции, будет, по-видимому, длиться годами и проходить под знаком революционной, советской власти. Не бессмысленно бороться с новой Россией — долг русских патриотов, а посылить её оздоровлению, честно идти навстречу «новому курсу» революционной власти, становящемуся жизненным, мощным и неотвратимым фактором воссоздания государства российского.

Такова позиция примиренчества в вопросе «эволюции большевизма». Если кто-либо хочет **добросовестно** оспаривать эту позицию, то он должен прежде всего понять её. Иначе кроме «холостых выстрелов», кроме пустой и несносной болтовни, — ничего не получится.

## **Вперед от Вех!**

(«Смена Вех». Сборник статей.

Прага, 1921 год)

Когда я читал «Смену Вех», наконец, дошедшую до Харбина, меня прежде всего поразила глубокая **психологическая подлинность** основных её мыслей, переживаний, призывов. Они невольно будили во мне прежде всего воспоминания о собственном внутреннем опыте за эти годы.

Ощущение, что вокруг совершается что-то огромное, необъятное, разрывающее все наши привычные мерки и масштабы... Мучительные усилия осознать, уяснить смысл налетевшего вихря, выработать путь самоопределения, линию правильного поведения... Чувство великой исторической ответственности, падающей на каждого из нас... *«Умыть руки, отойти в сторону нельзя. Это, конечно, легче всего, но это преступление перед родиной»* (Чахотин).

Мы не можем, не имеем права теперь предаваться какому-либо догматизму, духовной лени. Нет проторенного пути, нет старых путеводителей. Мы обречены на самостоятельное искание. Жизнь этих лет являет нам цепь непрерывных творческих откровений. Нужно внимать им, учиться у них. *«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию!»* (А. Блок). Более, чем когда-либо, кажутся проникновенными бредовые слова Конст<антина> Аксакова о русской истории: – *«Русская история имеет значение всемирной исповеди. Она может читаться, как жития святых»...*

Помню, как всегда, с первых же дней октябрьской революции, сознанию представлялись убийственно фальшивыми все ходовые элементарные её объяснения, попытки дюймами измерить Монблан... Было ясно, что тут бессильны обычные категории, и недаром столь сумбурными и недействительными оказывались рекомендуемые политическими специалистами рецепты лечения. Мысль тосковала по разгадке вершащегося процесса, но не находила спасительных вех во «мгле» (Уэллс), охватившей страну. Наши вожди и учителя, а вслед за ними и мы бывали нередко похожи на архитекторов, которые чинят дом во время землетрясения. Всё рушится, распадается в развалинах, а мы приписываем это недосмотру десятника, лености рабочих, своей собственной оплошности. И начинаем вновь...

Все мы хотели быть в революции, но фатально оказывались вне её. Все мы кричали о «приятии революции», и не сознавали, что, стремясь ввести её в строго очерченное, понятное нам русло, мы не «приняли» её, а бунтуем против неё. Она шла сама собой, пользуясь теми, кто воистину и до конца слушались её. Мы же очутились на другом берегу. Все мы «глядели в Наполеоны», но за Наполеона принимали Вандей. «Творили сладостную легенду», и всех Альдонс готовы были принять за Дульцинею...

И боролись. Этот сборник, «Смена Вех», есть прежде всего человеческий документ, глубоко характерный для одного из активных отрядов нашей интеллигенции, для одной из «школ» нашей национальной мысли: для той самой, которая воспитывалась на «Вехах». Не случайно же в разных точках земного шара мы почти одновременно пришли к одному и тому же. Воистину, эти статьи вымучены, выстраданы, и чувствуется в них дыхание борьбы, поражений, разочарований, но прежде всего – неистребимой веры, в борьбе и поражениях лишь окрепшей, – пусть «новой веры» в смысле конкретной программы деятельности, – но по существу старой, постоянной, неизбывной, – **веры в Россию...**



Читая статью Ключникова, нервную, кишащую мыслями, подчас не вполне переваренными, не нашедшими ещё подходящего внешнего выражения, но продиктованными единой и плодотворной жизненной интуицией – я отчётливо вспомнил наше последнее свидание с ним в Омске, в начале февраля 19 года.

Я тогда только что приехал в Омск из освобождённой Перми, подавленный ужасом, но и ушибленный мрачным величием революции. Он же, расставшись со своим министерством иностранных дел, был как раз накануне отъезда в Париж, где мечтал воочию наблюдать версальскую конференцию и продолжать борьбу за Россию.

Помню, долго беседовали на основные, волнующие темы. Я рассказывал ему о жизни в Советской России, о терроре, коммунизме, новом облике Москвы. Он говорил о своей одиссее – Ярославль – Казань – Уфа – Омск, о сибирском движении, Директории, Колчаке. Как и раньше, наши политические настроения удивительно совпадали... Потом совместно стремились уяснить и установить идеологию Омска (основные моменты этой беседы сохранились в моём дневнике):

– Только ни в коем случае не реакция дурного тона. Не бессмысленно же лётся кровь! Самопреодоление революции. Военная, но вместе с тем по существу революционная диктатура. Во имя достижимых задач революции...

Я не мог удержаться, чтобы не высказать своего впечатления, меня мучившего, но непреодолимого:

– Конечно, дай Бог победу Колчаку, и хочется верить, что победа будет. Но, знаете, всё-таки, несмотря ни на что, – насколько ярче, насколько интереснее лицо Москвы, чем здешнее... Все-таки пафос истории – там... А здесь, – здесь достаточно пойти в «Россию» (омский ресторан), чтобы охватило сомнение... Это не новая Россия, это не будущее... Бывшие люди... Что-то не то...

Ключников понял сразу. Было видно, что он сам об этом думал неоднократно:

— Несомненно... Так и должно быть... Всему своё место. Конечно, там ярче, эффектнее. Но мы сознательно должны приобщиться сюда, хотя здесь сейчас и не центр истории. В известном отношении, если хотите, мы должны принести в жертву себя... Нужно осмыслить здешнее движение. Разумеется, ему нечего состязаться с Москвою по яркости (возьмите хотя бы внешнюю политику Москвы!), но оно принесет пользу стране. Оно благоразумнее. Необходимо только, чтобы оно не сходило с почвы революции, вводило революцию в границы. Это — наша задача...

— Да, я тоже так думаю. Именно вот это наше белое движение сможет утвердить значение революции, даже большевизма — для истории. Сам большевизм для этого, вероятно, недостаточен. Чтобы консолидировать французскую революцию, нужен был Наполеон...

— Заметьте, что благоразумие кажется всегда более тусклым, нежели дерзновение. Но истинное благоразумие должно понимать смысл дерзновения. Победа нашего движения утвердит новую Россию...

— Да, конечно. Будем добиваться победы... Но... но вдруг... А что, если не будет победы?.. А вдруг победят **они**?... Что тогда?.. Что будет с Россией, со всеми нами?.. Ужели духовная смерть?

— Ну, нет... Если победят они, значит, они нужны России, значит, история пойдёт через них... Во всяком случае, мы должны быть с Россией. Что же, — **встретимся с большевиками!**

Эта мучительная, жуткая мысль, неоднократно стучавшаяся мне в голову, но которой я боялся отпереть и разум, и чувство, — была формулирована моим собеседником со всею ясностью и решительностью. Видно было, что он уже достаточно ею овладел.

Мне было страшно от этого вывода и в то же время бесконечно радостно, что в своих настроениях и думах я не одинок...

Потом мы расстались и надолго потеряли друг друга из виду. В случайных эпизодических письмах как-то не приходилось касаться этих больных тем. Более тесный идейный контакт между нами восстановился лишь к 21 году, после появления в Париже моей книжки...

Белое движение усиливалось, и я ушёл в него с головой, пытаюсь обосновать идеологию «революционного преодоления революции во имя её собственных целей». Но за весь омский период, за год белой борьбы, сознательно и бессознательно я возвращался к страшному «а если?..», изыскивая исход в случае нашего поражения, в случае **их** победы всероссийского масштаба. Сможет ли страна нейтрализовать их яд, приняв их силу? Как сделать возможным служение России при их торжестве? Как примирить верность духовным основам своей жизни с приятием новой (большевистской!) России? Можно ли, не изменяя себе, «встретиться с большевиками»?

...И вот теперь, читая «Смену Вех», уже окончательно убеждаешься, что все эти роковые вопросы, тогда ставившиеся лишь условно и предварительно, теперь стали настолько очередными и объективно насущными, что требуют разрешения во что бы то ни стало.

Большой опыт, суровая школа... Резиgnация. Поражение, которое должно научить. Заздравный кубок за учителей.

Да, но это поражение похоже на победу! Ошиблись мы, а Россия жива, и революция оправдана, хотя пошла своей, а не нашей дорогой. И по ней дошла до конца. Но все дороги ведут в Рим. Если мы не пришли в Москву с белыми армиями, – придем безоружные, смирившиеся перед революцией, но с тою же любовью к России, с гордостью за неё, как прежде, как всегда.

.....  
Вдумываясь в новые «Вехи», различаешь в них два основных момента. Прежде всего они – политический призыв примире-

ния, действительной «встречи» интеллигенции с революцией в её теперешнем фазисе. Критика старых, изжитых путей «белой мечты». Тем сильнее и действеннее эта критика, что исходит от людей, для которых «белая мечта» была всем. Они «имманентны» ей. Они мыслят и сейчас в значительной мере «по белому», все методы их мышления по-прежнему глубоко противоположны социально-материалистическому стилю официальных канонов революции. Но привычное, догматическое содержание белой политики («борьба») в корне развенчивается, как бессмысленное и внутренне противоречивое. В этой знаменательной книге традиционная идеология нашего противобольшевистского движения приходит к своему органическому самоотрицанию изнутри.

Сила и значение сборника главным образом – в отчетливом единодушном и обоснованном разрешении **политической** проблемы. Роль сборника – политическая по преимуществу. Прочтите блестящую, как фейерверк, статью Бобрищева-Пушкина, вдумчивую статью Чахотина, философско-исторический анализ Лукьянова, – и логический остов идеологии примиренчества станет ясен вашему сознанию. Не буду приводить выдержек. Не буду излагать их аргументацию. Я не реферую сборник, а только размышляю «по поводу»...

Пасманик в своем критическом отзыве «Благотворные плоды яда» заметил несогласованность мирозозерцаний отдельных авторов книги. Это замечание совсем не верно, поскольку вопрос ставится в плоскости политической тактики. Выводы всех статей согласно бьют в одну единственную точку:

– На работу! Домой! На родину! (формулировка Потехина).

И в этом, повторяю, центр пафоса «Смены Вех» как политической самокритики нашей национальной интеллигенции, как глубокого кризиса белого активизма **всех форм и видов**.

Но сборник стремится не только обосновать новый путь служения родине, – он хочет дать и нечто большее, «сменить» знаменитые «Вехи» 1909 года. Углубить духовное самосознание русской интеллигенции. Постичь основную «идею» Великой Русской Революции, мировую и национальную.

Мне кажется, что **разрешить** эту проблему ему не удалось. Но уже его заслуга в том, что он её правильно и четко **поставил**. Основных «ревизионистских» решений старых «Вех» авторы новых не устраняют и не «снимают», и потому «Вехи» Струве и Бердяева в культурно–исторической перспективе продолжают оставаться явлением идейно более значительным и углублённым, нежели наш сборник. Больше того: они продолжают оставаться явлением глубоко современным, требующим развития, внутреннего преобразования – в связи с огромным духовным опытом второй революции. Наша «Смена» сознала эту великую задачу, стоящую перед русской интеллигенцией, но она не дала её решения по существу. Проблема лика русской национальной культуры, вскрытого пробуждением народным и национальным в революции, – не выявлена сборником. И те его страницы, которые к этой проблеме вплотную подходят, ещё не дают конкретных «вех»...

У всех авторов есть одна общая интуиция, почерпнутая в живом духовном опыте: **интуиция величия русской революции**. Тут все мы сходимся, как и в том, что «великой» русская революция стала лишь в октябре 17 года. Но для определения и оценки реальных плодов этой революции в сфере конкретного содержания «русской идеи» (которая не может же быть чисто формальной) нужны ещё новые исследования, новая работа мысли, новые, уже не столько политические, сколько культурно–философские вехи.

«Сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек». Смысл великой исторической эпохи становится доступным пониманию тогда только, когда она на закате. Великая Русская Революция ждет своей Минервы. Сумерки уже настают, атмосфера сереет, и только на вершинах гор ещё золотятся солнечные лучи...

В конце своей многомотивной и порывистой статьи Ключников приходит к прекрасной мысли, в которой я вижу резюме всего нашего сборника и вместе с тем формулировку очередной задачи русской интеллигенции:

*«Отныне надолго, — пишет он, — или навсегда покончено со всяким революционным экстремизмом, со всяким большевизмом и в «широком», и в «узком» смысле. За отсутствием почвы для него. За ненужностью. Завершился длинейший революционный процесс русской истории. В дальнейшем открывается период быстрого и мощного эволюционного прогресса. Ненавидящие революцию могут радоваться; но, радуясь, они должны всё же отдать должное революции: только она сама сумела сделать себя ненужной».*

А дальше — прямое признание традиции старых «Вех», прямая «отсылка» к ним:

*«Будущая русская интеллигенция, вышедшая из горнила великой революции, наверное, будет такую, какую её отчасти видели, отчасти хотели бы видеть авторы «Вех».*

А раз так, то перед нами, перед всеми русскими интеллигентами, уцелевшими в революции и принявшими её, остро встает задача не политического уже, а духовного самоопределения, — задача не только поставленная, но и по своему разрешённая пророческими «Вехами» двенадцать лет тому назад. Мы должны вернуться к их решениям, к духовным началам, ими провозглашённым, но не для того, чтобы остановиться на них, а чтобы углубить и развить их в атмосфере новых откровений национальной жизни, национальной культуры. Лозунгом нашим пусть будет не «назад к Вехам», а лучше так:

— **Вперед от Вех!**

## Смысл встречи

(Небольшевистская интеллигенция  
и советская власть)

### I

Отступление революции продолжается в России по всему фронту. Этого нисколько не скрывают и сами большевистские вожди. *«Героическая эпоха кончилась, теперь слово принадлежит экономистам»*, — заявляет Зиновьев в Петербурге. *«Новая экономическая политика означает подлинный пролетарский термидор... не фантазия и не маккиавеллизм приводят нас к мысли о приглашении к нашему столу иностранных капиталистов, а сама логика революции»*, — свидетельствует Чичерин перед лицом всего мира. *«Товарообмен не удался, — констатирует сам Ленин из Кремля, — нужно отступить дальше, пусть нашим лозунгом будет теперь торговля!...»*

Все эти заявления — не одни пустые слова. За ними — решительное и реальное изменение всей большевистской системы, за ними — сдвиг с мёртвой точки к оздоровлению страны. По общим отзывам из России, там ныне мало-помалу воцаряется атмосфера деловой работы, повсюду сменяющей революционный порыв. Власть покинула позиции кричащего социального опыта и в деле восстановления разрушенного государственного хозяйства вступила на путь наименьшего сопротивления. Состояние страны все ещё достаточно безотраднo, но уже открываются перспективы просвета в будущем.

На очереди, несомненно, — известные реформы в сфере политической жизни. Их не избежать, и упразднение чрезвычайки — первый шаг. Мы уже вплотную подошли к той фазе революции, когда свирепая и прямолинейная диктатура недавнего прошлого теряет основу своего господства. Назрели существенные коррективы к эпитафиям революционного управления: «лес рубят — щепки летят» и «кто не с нами — тот наш враг, и смерть тому». Термидор, хотя бы и «пролетарский», есть признак приближающегося завершения революционного процесса, как такового, и это весьма знаменательно, что большевистский лидер пользуется этим столь одиозным для ортодоксального революционера термином. Советская власть отстояла себя в открытой борьбе, устояв и в масштабе международном, и в гражданской, внутренней войне. Тем самым все методы и навыки военного времени, периода острой борьбы уже утрачивают свой смысл, становятся не только ненужными, но и опасными, вредными. «Хозяйственный фронт» предъявляет государству существенно иные требования, нежели военный, и нельзя не констатировать, что революция с хозяйственным фронтом своими средствами справиться не смогла. Для преодоления материальной разрухи потребовалась трансформация идейного лика революции<sup>1</sup>. Начавшийся вот уже скоро год тому назад «отход на тыловые позиции» неуклонно продолжается, и до действительно обеспеченного, надежного «тыла», судя по всему, ещё совсем не так близко. Вместе с тем экономическая эволюция уже вступила в ту стадию, когда её дальнейший прогресс мыслим лишь при условии известного правового и даже политического сдвига<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Примечание ко второму изданию.* Бухарину эта мысль представляется невероятной ересью. Ссылаясь на Ленина, он пытается доказать, что донэповский «интегральный коммунизм» был не «идейным ликом революции», а, напротив, его «отрицанием» и «срывом», продиктованными обстоятельствами гражданской войны («Цезаризм», с. 21–23). Разумеется, было бы нетрудно простыми цитатами из коммунистических речей и писаний того периода доказать несостоятельность этого утверждения г. Бухарина. Цека проводил тогда коммунизм, конечно, не менее искренно и ещё более упрямо, чем теперь проводит политику «последовательно социалистического типа».



Здесь в первую очередь ставится вопрос об отношении советского правительства к небольшевистским элементам русского общества. Необходимо, чтобы с каждым месяцем всё более и более широкие круги русской интеллигенции втягивались не за страх, а за совесть в работу по воссозданию страны. Есть много оснований утверждать, что революция излечила широкие интеллигентские массы от их хронической старорежимной болезни – несносной привычки к «оппозиции ради оппозиции». Эту оппозиционную чесотку, правда, всё ещё одержимы верхи нашей политиканствующей эмиграции, оторвавшиеся от реальной жизни России и слишком пропитанные дореволюционной психологией, чтобы она в них не убила здоровой политической чуткости. Но ведь трудно сомневаться, что международная и национальная влияние этих кругов неудержимо склоняется к минимуму и даже нулю. Их злобствующее шипение становится всё более и более безвредным, оправдывая собою разве лишь меланхолический афоризм Козьмы Пруткова: «вакса чернит с пользой, а злой человек – с удовольствием». Их монотонная никчемность, даст Бог, скоро позволит всем окончательно забыть об их существовании.

На очередь выдвигаются сложные и чрезвычайно жизненные проблемы конкретной «встречи» советской власти с русской интеллигенцией и новой русской буржуазией.

## II

По тем отзывам, которыми встретили советские деятели и советская пресса «Смену Вех», видно, что правящая партия отдаёт себе серьёзный отчёт во всём значении начавшегося кризиса интеллигентского сознания для современной русской жизни. Ни партийного доктринёрства, ни узкой сектантской нетерпимости не обнаружили большевики в оценке

---

Сам Ленин, как видно из приводимой Бухариным цитаты, принужден был признать, что военные задачи лишь *отчасти* могли служить извинением тогдашней *ошибки*.

примиренческих лозунгов. Стеклов даже рекомендует целиком перепечатать пражский сборник для русских читателей в России, а Троцкий на съезде политпросветов заявляет, что нельзя найти более подходящей книги «для перевоспитания красноармейского командного состава старой школы»: «нужно, чтобы в каждой губернии был хотя бы один экземпляр этой книжки»... Отмечая, что примиренцы входят в новую Россию «через ворота патриотизма» и, следовательно, стремясь понять «сменовеховскую» идеологию, как таковую, — советские вожди, однако, недвусмысленно приветствуют её и находят, таким образом, общий язык с идеологами небольшевицкой, но лояльной по отношению к советской власти общественности. Это очень существенно и очень отраднo.

Но раз общий язык — не без известных усилий — найден, нужно использовать его для совместного определения путей дальнейшего сближения русской интеллигенции с русской властью. За словами должны ведь последовать и дела. В какие же конкретные формы может вылиться «примирение», необходимость и целесообразность которого сознаются обеими сторонами? При каких условиях оно может быть действительно широким и полноценным, захватывающим массы небольшевицких общественных кругов?

Мне кажется, тут с самого начала следует принять один тезис, который является основным и вне которого вряд ли мыслим успех начавшегося процесса: **созревающая готовность русской интеллигенции к искренней и добросовестной работе над воссозданием России, возглавляемой советской властью, отнюдь не есть большевицизация русской интеллигенции.** И принять эту готовность нужно именно такую, как она есть, и не требовать от неё чего-то большего. «Встреча» не есть ещё «слияние». А ныне возможна лишь именно встреча. Пусть коммунисты со всею ясностью учтут этот тезис и сделают из него логические и практические выводы. Тогда будет значительно облегчено реальное взаимопонимание обеих сторон и скорее изживется то удручающее разделение на

«мы» и «они», которое так тормозит процесс восстановления страны.

Народный комиссар Луначарский дал недавно интересное интервью по вопросу о возвращении эмигрантов на родину и сотрудничестве интеллигенции с властью. Остановившаяся на группе сменовеховцев, он определённо заявил: *«В руководящих правительственных и партийных кругах с большим интересом наблюдают происшедшую перемену в части русской эмиграции. Мы будем рады, если эта часть эмигрантов вернётся в Россию и будет сотрудничать с советской властью по восстановлению страны. В России имеется также немало людей, которые проделали ту же эволюцию, что наши эмигрантские группы...»* Это достаточно важное и многозначительное заявление.

Мне кажется, однако, что до возвращения на родину идеологам примиренчества необходимо окончательно и со всею искренностью установить своё отношение к большевизму и советской власти. Нужно совместно с идейными вдохновителями этой власти достигнуть полной ясности в определении существа и смысла совершающейся эволюции в среде русской интеллигенции. Иначе намечающийся процесс может заглохнуть, не принеся той пользы России, которую он ныне обещает принести.

Парижская «Смена Вех» и другие печатные органы народившегося течения должны пристально вслушиваться в настроения представляемой ими интеллигентской массы в России и в известной, довольно значительной части эмиграции. Формулировать эти настроения, жить ими. Подобно тому, как советская власть стремится черпать силу в постоянном контакте с активными элементами рабоче-крестьянского населения России, так и выразители нового интеллигентского сознания только в том случае окажутся на своём месте, если в них будут жить стремления и чаяния (пусть часто ещё неосознанные до конца) перерождающихся в революции широких кадров русской интеллигенции.

Каковы же эти стремления и чаяния?

### III

Мне кажется, что менее всего проникнута современная русская интеллигенция официальными большевистскими настроениями. И дело тут не столько даже в ужасах советского быта, воспоминаниях борьбы и пролитой крови, или многочисленных пороках конкретного аппарата власти, — сколько в самой большевистской партийной программе и в необузданном утопизме коммунистического экспериментаторства, ныне потерпевшем столь явный крах. Небольшевистская интеллигенция не считает и не может себя считать непосредственно ответственной за советскую политику прошедших лет. Она не солидаризируется с этой политикой. Равным образом, она не может «раскаиваться» в своей неверии в немедленный коммунизм и немедленную мировую революцию: это неверие наглядно оправдано жизнью. Помимо того, есть достаточно причин общего «миросозерцательного» порядка, мешающих **безграничному** объединению коммунистов с массами русской интеллигенции: невозможно, например, людям, чуждым доктрине марксизма, беспрепятственно обезличиться в большевиках.

Но если нельзя говорить о всецелом и безусловном приобщении интеллигенции к большевистским рядам, то можно и должно говорить об её **примирении** с советской властью, о признании ею **новой России**, рождающейся в муках великой революции. Можно говорить о широко и глубоко идущем деловом сотрудничестве русской интеллигенции с правительством русской революции, об отказе её от всяких попыток его свержения, насильственной борьбы с ним, о ликвидации тактики сознательного политического саботажа. Интеллигенция, очистившись революционным опытом от многих своих былых недостатков, подходит к наличной русской власти не через большевистскую идеологию, а, как правильно понял Троцкий, «через ворота патриотизма». Интеллигенция мало-помалу обретает своё место в революции и в новой России. Взгляд на большевизм, как на явление абсолютно антинацио-

нальное и противогосударственное постепенно пропадает у неё, а вместе с тем исчезает и стихийное отвращение к нему.

Тенденции к лояльной и деловой работе, несомненно, зреют не только в России, но и в эмиграции, и настоятельно требуют осмысливания и оформления. Отход власти с правоверных позиций «героического периода» чрезвычайно способствует распространению и росту этих тенденций: «путь в Каноссу» укорачивается благодаря встречному движению самой Каноссы. Советскому правительству, естественно, выгоден обозначившийся примиренческий сдвиг в интеллигентских кругах, но для того, чтобы дать ему возможность окончательно оформиться, оно должно верно учесть его природу, не требовать от него того, чего он дать не в состоянии, и предоставить ему действительную «свободу самоопределения».

Идейные же вожди примиренчества обязаны стать выразителями и истолкователями этого нового интеллигентского сознания, приемлющего молодую Россию и обличающего её врагов. Но тем необходимее для них выявить истинный облик этого сознания, подчеркнуть его духовное своеобразие, идейную самозаконность и независимость. Примирясь с советской властью, оно в то же время не теряет своего собственного лика, не растворяется в канонизированных революционных лозунгах, — и граница, отделяющая его от идеологии большевизма, должна быть выпукло очерчена его выразителями. **В том и сила русской революции, что её можно оправдать не только с точки зрения её собственных официальных канонов.**

В свете этих соображений нужно оценить и соответствующее заявление Луначарского в цитированном выше его интервью:

*«Луначарский далее заявил, что эти круги (сменовеховцы) сделают большую ошибку, если они попытаются образовать конкурирующую или независимую от коммунизма партию... Мы никогда не хотели оттолкнуть от себя интеллигенцию».*

Конечно, ни о какой конкурирующей с большевиками политической партии новое интеллигентское сознание и не

думает. В этом отношении опасения Луначарского излишни. Сущность кризиса и состоит именно в отказе небольшевистской общественности от самостоятельной **политической** роли при нынешних обстоятельствах и в добровольном согласии активно и честно работать в деле восстановления России **под знаком наличной власти**.

Но из этого ещё не следует, что сменовеховцы не могут иметь независимой идейной физиономии и должны стать «поддужными» коммунистической партии. Я скажу более: если бы «Смена Вех», «соскользнув влево», превратилась в простое эхо большевиков, она неизбежно утратила бы пафос своего пути, оторвалась бы от тех кругов, в контакте с которыми она только и способна исполнить свою «миротворческую» миссию, и решительно погибла бы как интересное и плодотворное общественное явление. И эта гибель была бы не только ударом для примиренчества, она оказалась бы определённо невыгодна и самому большевизму, поскольку ему теперь необходима искренняя помощь широких масс интеллигенции.

А раз так, — Луначарский напрасно смущается, усматривая в примиренческом течении черты независимой от ортодоксального коммунизма идеологии. Приходит пора, когда советская власть принуждается и вместе с тем получает возможность расширить базис своего бытия. «Пролетарский термидор» уже не может быть столь же исключительным и принципиально белоснежным, как героический период коммунистического максимализма. В процесс творчества новой русской жизни втягиваются разнообразные и разнокачественные элементы: сам же Луначарский категорически утверждает, что *«новая экономическая политика даёт возможность представителям буржуазии работать в России», даже «участвовать в прибылях и вести жизнь, приближающуюся к той, какую они вели раньше»*. Советский строй в силу необходимости становится всё терпимее к элементам, чуждым патентованному пролетариату марксистского катехизиса. Он вступает в компромисс с собственническим крестьянством, с мелкой буржуазией, с международным капитализмом, даже с «мировым меньше-

визмом». И, раз вступив на путь «нового курса», Кремль должен сделать из него логические выводы, — иначе не осуществятся ожидания, с новым курсом связанные, не восстановится экономическая мощь государства, не изживётся неслыханная разруха. Если в сфере внешней политики советская власть не только идет на уступки, но соглашается на известные гарантии актуальности этих уступок, то и внутри страны новая экономическая политика требует определённых правовых, а, следовательно, в конце концов и политических гарантий (отнюдь, однако, не сводящихся при современных условиях к отказу большевиков от власти или неперемennomу созыву пресловутой Учредилки). Буржуазия может принести пользу в процессе экономического воссоздания страны лишь при действительном обеспечении «прибылей» и реальной охране плодов труда и риска. Равным образом, для привлечения интеллигенции к лояльному сотрудничеству необходимо создать условия возможности такого сотрудничества, экономические и моральные. Как от военного командного состава и буржуазии, так и от интеллигенции нельзя требовать обязательной присяги коммунистическому символу веры, — достаточно добросовестного признания наличной власти. И если в широких кругах интеллигенции наблюдается поворот в сторону подобного признания, — следует идеологам такого поворота дать возможность открыто обосновать его мотивы, хотя бы эти мотивы не совпадали с программой *эркапе*. Участие ортодоксальных и партийных коммунистов в редакции и руководстве примиренческих органов, по моему глубокому убеждению, не усилит, а ослабит влияние последних в среде небольшевистской русской интеллигенции и эмиграции и тем самым только затормозит процесс, приветствующийся самими коммунистами. Разрешение в Москве небольшевистского и даже несоциалистического журнала, свободного в своей аргументации и призывающего по соображениям углублённого патриотизма поддерживать советскую власть, было бы гораздо более целесообразно и **действительно**, нежели появление

коммунистического «подголоска», пережёвывающего мотивы, достаточно удачно и ярко развиваемые советской прессой.

Страна медленно возвращается к нормальным условиям жизни, и победившее всех своих открытых врагов правительство революции стоит перед задачей осторожного перехода от военно-полицейского режима к методам властвования и управления, более свойственным мирному времени. Вместе с тем оно вынуждено отказаться от крайностей своей политической программы. Тем самым мало-помалу оно начинает внутренне импонировать кругам, до сего времени не питавшим к нему ничего, кроме страха и ненависти. Необходимо, чтобы этот двусторонний сдвиг определился во всех его следствиях и пришел к подлинному объединению страны, расколотой революцией и гражданской войной и доселе ещё бесконечно страдающей в атмосфере этого раскола.



# *Потерянная и возвращённая Россия*

## I

Великие революции имеют свою судьбу. Есть внутренняя логика в их развитии, есть непрекаемая историческая необходимость в их парадоксах и контрастах, в их тёмных и светлых качествах.

**Великие** революции всегда органически и подлинно **национальны**, какими бы идеями они ни воодушевлялись, какими бы элементами не пользовались для своего торжества. В отличие от мятежей, переворотов и простых династических «революций» (французская 1830 года, английская 1688 г.), они **всенародны**, т.е. захватывают собою всю страну, жизненно отражаются на всех, даже самых далеких от «политики», слоях населения. Они **экстремичны** и непременно «углубляются» до «чистой идеи», не имеющей корней в наличной действительности, но опережающей её и становящейся затем активной силой целой исторической эпохи. В силу своей экстремичности они **разрушительны** в тот период своего развития, который интересы данной среды приносит в жертву «чистой идее».

Подобно вулкану, вырывается великая революция из недр национальной жизни, своими дерзновениями и «крайностями» обнажая основные мотивы национального бытия. Вспомним мудрое замечание Конст<антина> Леонтьева: *«Чтобы судить*

*о том, что может желать и до чего может доходить в данную пору нация, надо брать в расчёт именно людей крайних, а не умеренных. В руки первых попадает всегда народ в решительные минуты».*

Теперь, на шестом году русской революции, уже достаточно обнаружился её общий облик. И путь развития её внутри страны, и история отношений её к внешнему миру одинаково свидетельствуют, что Россия переживает не переворот, не бунт, не смуту, а именно **великую революцию** со всеми характерными её особенностями. Этот едва ли не бесспорный уже ныне факт позволяет сделать и некоторые непосредственные выводы:

**Во-первых**, русская революция коренным образом изменит политический и социальный лик страны, принесёт ей собою воистину «новую жизнь»; **во-вторых**, русская революция оплодотворит мировую историю, внося в неё существенно новый фактор, явится неотвратимым стимулом исторического прогресса; **в-третьих**, русская революция будет развиваться и завершится **органически**, т.е. никакая внешняя, посторонняя ей сила не сможет прервать или значительно исказить линии её развития; порожденная национальной жизнью, она служит национальным целям и кончится, лишь осуществив свои объективно исторические задачи; и, наконец, **в-четвертых**, программа «зенитного» периода русской революции, будучи «идеей-силой» большого исторического масштаба, не может быть осуществлена в условиях наличной действительности; попытка её претворения в жизнь, принеся стране столько разрушений, объективно неповторима.

Этими общими выводами, этой беспристрастной исторической оценкой русской революции должны мы руководствоваться при определении нашего отношения к ней. Пусть к нам, современникам, она сейчас обращена более тёмным, нежели светлым своим ликом. Пусть для нас она прежде всего стихия, в которую мы погружены, при том стихия мучительная и жестокая, часто злая, калечащая жизни и несущая

всевозможные страдания. Пусть так. Но чтобы не усиливать невольно этих страданий, чтобы не сгущать и без того густых красок мрачного революционного быта, мы обязаны в нашей практической деятельности исходить не из эмпирических впечатлений момента, а из общего анализа революции и её исторической роли. По старой формуле Спинозы, мы прежде всего должны «не плакать, не осмеивать, не проклинать, а понимать»...

## II

Особенно ярко национальная значимость русской революции проявилась в сфере международной политики революционной России. Если сначала именно внешний престиж государства российского казался повергнутым в прах октябрьскими событиями (Брестский мир! Паралич всех государственно-национальных связей!), то по мере развития революции становилось совершенно очевидным, что этот престиж неуклонно и фатально восстанавливается. Самая логика истории возрождала его из пепла обновлённым и очищенным, словно оправдывая глубокий афоризм гегелевской диалектики о Духе, который «приобретает свою истину только тогда, когда найдет самого себя в абсолютной разорванности» (евангельское «не оживет, аще не умрет»). Революционные вожди, революционизируя нацию, национализировали революцию: чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться хотя бы с нотами Чичерина за четыре года... Потерянная Россия возвращала себя в том самом историческом смерче, который разрушил и опустошил её.

В этой области наблюдается знаменательная аналогия наших дней с эпохой великой французской революции. Как и у нас теперь, патриотизм революционной Франции разгорался и углублялся в связи с унижениями и препятствиями, которые встречало революционное отечество на своем пути. Осуществляя себя, освободительная идея облекалась в латы

и опоясывалась мечом. На первый план силою вещей выдвигалась армия, опора и надежда страны. И, как следствие, энтузиазм общечеловеческий постепенно уступал место в революционной борьбе энтузиазму национальному. А к моменту своего перелома революция имела в сознании французов уже главным образом значение национального орудия в борьбе с внешним миром: недаром 24 августа 1794 года Конвент декретировал, что «Франция будет находиться в состоянии революции до тех пор, пока независимость её не будет признана»...

Россия в настоящее время, по-видимому, подошла к аналогичному моменту своей революционной истории. Она решительно добивается признания своей независимости. Она хочет разговаривать с миром на языке равных, она отстаивает своё «место под солнцем», свободу своего «самоопределения». В её официальных международных выступлениях уже нет прежней заносчивости, юношеского задора революционной весны, —

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем!

— но зато появилось сознание своего достоинства, своих прав, своего удельного веса. И к её голосу напряженно прислушивается весь мир.

Общепризнанная яркость внешней политики советской власти не случайна: в ней выражается «воля к жизни» молодой России, через неё уже начинает запечатлеваться в мире великая русская революция.

И с этой точки зрения происходящая ныне в Генуе международная конференция чрезвычайно показательна. Чем бы она ни кончилась — соглашением, или разрывом, — она уже означает собою несомненный успех России. В мировом общественном мнении умеренная и достойная позиция, занятая на её заседаниях правительством русской революции, сыграет ещё свою роль. Вместе с тем, отчётливо ощущается благотворный и симптоматичный сдвиг русского правительства с чисто революционных методов дипломатии к методам националь-

ным и мирным: лучшее доказательство – русско–германское соглашение и те уступки (согласные, однако, с достоинством России), на которые шёл Чичерин в интересах общего мира... Но в то же время бесспорной остается истина, что *«Россия будет находиться в состоянии революции до тех пор, пока её независимость не будет признана»*...

Важнейшей опорой новой России в превратностях современной обстановки является, конечно, возродившаяся русская армия. Это было ясно уже два года тому назад, в дни польской кампании и знаменитого призыва Брусилова, – тем очевиднее это теперь. Не будет преувеличением сказать, что в руках армии – будущее России и мировая судьба русской революции. В ней постепенно – на известный период – сосредоточится «дух» русского ренессанса. И тысячу раз правы советские вожди, подчеркнуто приветствующие её в дни генуэзской конференции: и международное, и внутригосударственное, и экономическое, и политическое воссоздание России в значительной мере обусловлено воссозданием её военной силы. Пусть господа Мартовы и Черновы уже кричат о «красном бонапартизме», – не им, злосчастным пасынкам революции, своими жалкими жупелами ниспровергнуть логику её имманентного развития...

### III

Значительно труднее творческий смысл революции разглядеть в сфере внутренней жизни страны. Тут поражают прежде всего картины страшного опустошения, потрясающей всеобщей нужды, обнищания, повсеместных хронических злоупотреблений, административного произвола и т.д. **Всесторонний экономический развал** – вот бесспорная и основная объективная характеристика современной русской жизни. Не следует её смягчать и вредно её замалчивать. Нужно смотреть правде в глаза. Нет ничего более опасного и фальшивого,

нежели революционный романтизм в обстановке революционных будней.

Но если взглянуть «поверх текущего момента» и вдуматься в исторический путь русской революции, то в отношении внутренней государственно-хозяйственной жизни России найдется место для утешительных прогнозов.

Слишком много факторов способствовало разрушению хозяйственной жизни страны. Конечно, далеко не последнюю роль здесь сыграла и революция как в первую свою эпоху («паралич власти» при Львове и Керенском), так и в годы безоглядного утопического коммунизма и гражданской войны. Согласимся, что на большевиках в значительной степени лежит вина за нынешнюю разруху; но найти виновника в прошлом — не значит практически разрешить вопрос, как он ставится теперь.

В настоящее время уже есть определенный просвет. Теперь революция, в силу внутренней необходимости, в силу всё той же имманентной логики своего развития, дойдя до предела и упёршись в тупик, вступает в компромисс с конкретной действительностью, перестает жить лишь в атмосфере «вещей и призраков», идет навстречу реальным потребностям реального населения России. **Разрушительный** её период, когда она служила только «чистой идее», кончается, ибо всё, что можно было разрушить, уже разрушено её необузданным пафосом «любви к дальнему».

До марта прошлого года всемирно-историческая идея русской революции повелевала конкретной России, прославляя её в веках, но в то же время возлагая на неё бремя непосильное, даже уродуя и калеча её жизненный организм. Но пришел момент, и роли словно меняются. Конкретная Россия заявляет свои права, закалённая великим опытом, «овладевает» революцией, примиряя её с непосредственными нуждами дня, различая её всемирно-исторические задачи от задач **национальных**. Гром пушек кронштадтского восстания

возвестил истории, что начался перелом в развитии великой русской революции.

Основной смысл этого перелома ясен: кризис коммунизма («чистая идея») и выявление конкретных, наглядно осязательных «завоеваний» революции. Эти завоевания не только в области чисто духовной культуры русского народа (это вообще особая тема), но и в плоскости социально–политической во многом противоположны революционной «программе–максимум». Они густо окрашены хозяйственным индивидуализмом. В сфере экономической они едва ли не близки к тому, что П.Б. Струве выразительно называет «стольпинской идеей русской революции», идеей, добавим мы, которую исторический Столыпин, кровно связанный с помещным классом и старым абсолютизмом, радикально осуществить, конечно, не смог бы.

Знаменитый «НЭП» есть предвестие хозяйственного оздоровления страны. Он – компромисс идеальных достижений революции с реальными. Пусть многочисленны пороки его практического проведения в жизнь – они не могут уничтожить его внутреннего смысла, его исторической миссии. Он приведёт к окончательной и всецелой национальной революции, т.е. опять–таки к неизбежному «возвращению потерянной России».

В настоящий момент началось правовое закрепление свершающегося экономического сдвига. Оно будет продолжаться и углубляться, хотя того или не хотят отдельные представители правящей ныне в России партии. Есть первые признаки и соответствующих политических реформ, вне которых «новый курс» был бы осуждён на бесплодие. Разумеется, сдвиг идет медленнее, чем того хотелось бы нетерпеливым современникам, но ведь у истории – свои масштабы и сроки...

Нельзя закрывать глаза на бесконечные изъяны современного русского быта, утешая себя общими философско–историческими размышлениями. Но, с другой стороны, только эти последние, раскрывая большие горизонты, способны дать нам, современникам и деятелям революционной эпохи, ориентировочную нить, указать те средства, при помощи которых вернее

всего могут быть побеждены тёмные стороны наших дней, с наименьшими жертвами достигнуты наилучшие результаты.

Лишь поняв и приняв революцию как великую историческую стихию, новыми путями ведущую родину к **реально новой жизни**, можно содействовать преодолению всех её разрушительных, злых и подчас бессмысленных внешних проявлений.



## **Логика революции**

*Ясно, что дальше дела не могут идти так, как шли, что исключительному царству капитала и безусловному праву собственности так же пришёл конец, как некогда царству феодальному и аристократическому... Но общая постановка задачи не даёт ни путей, ни средств, ни даже достаточной среды. Насилием их не завоюешь. Подорванный порохом, весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнёт с разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир. Потому что он внутри не кончен и потому ещё, что ни мир строящийся, ни новая организация не настолько готовы, чтобы пополниться, осуществляясь.*

**Герцен.** («К старому товарищу»).

*Пролетарская революция с корнем вырвала все пережитки феодализма... Она так блестяще выполнила эту буржуазно-демократическую программу именно потому, что является революцией пролетарской и что метила выше – к социализму.*

**Ленин**

Кажется, все русские политики наших дней от Ленина до Струве сходятся на одном: **только та власть в России может быть и будет прочна, которая обеспечит себе действительную поддержку крестьянства.**

Но каким образом обеспечить за собой эту поддержку? – вот вопрос, который легче задать, чем разрешить. Естественно, что особо остро и жгуче он стоит теперь перед советской властью, принужденною решать его не «для будущего» и не на словах, а немедленно и на деле. Не может быть сомнения, что и все «новые веяния» в её политике за последний год обусловлены не чем иным, как именно стремлением так или иначе на него ответить.

Однако пока всё ещё намечаются только пути и средства, устойчивое равновесие ещё не достигнуто, вопрос ещё не решён. Сейчас страна переживает героическую попытку примирить «коммунистическое государство» с наличным русским крестьянством во всей его «буржуазной» сущности. Трудное, неблагодарное задание!

В какой мере оно осуществляется и к чему оно ведёт на практике?

## I

Вдумываясь в происходящий процесс эволюции советской политики, нельзя не заметить, что он необходимым образом приводит и приведёт к созданию в стране **новых социальных связей**. Вполне естественно предположить, что и государственная власть России будет находиться в непосредственной и определённой зависимости от этих новых связей, рождённых органически в революционном процессе.

Отсюда ясно, сколь сложна и трудна задача, в которую упёрлись ныне вожди советского правительства и правящей коммунистической партии. Они очутились лицом к лицу с чуждым им социальным слоем. Ибо очевидно, что решительно изменяется тот **социальный базис**, на который приходится ориентироваться Москве, причем изменяется он в сторону,

диаметрально противоположную коммунизму. И получается двусторонняя зависимость, правоверному коммунизму представляющаяся едва ли не порочным кругом: новая экономическая политика, усвоенная советской властью под давлением обстоятельств, способствует укреплению сил, рост и развитие которых в свою очередь отзовётся на необходимости дальнейшего «углубления» этой политики. В осознании такой перспективы и кроется источник двойственного, опасливого отношения к «нэпу» советских сфер.

Социальный фундамент большевизма непрерывно эволюционировал за годы революции. Сначала он состоял из солдат, мечтавших о мире, рабочих, требовавших хлеба, и крестьян, претендовавших на землю и богатства помещиков. Затем он трансформировался в союз городского пролетариата с «крестьянской беднотой». Потом пришлось уже добиваться дружбы (больше словесно) с пресловутым «средняком», а фактически переходить к опоре на специальные привилегированные группы, военно-полицейские и чиновничьи. По мере развития октябрьской революции фундамент власти таким образом непрерывно суживался, диктаторствовать «инициативному пролетарскому меньшинству» становилось всё тяжелее, несмотря на целый ряд крупных внешних успехов революционной России.

«Партии не хватает кислорода!» – недаром воскликнул Зиновьев на 10-м партийном съезде.

Покуда шло «перераспределение благ» пока царил «хаос и энтузиазм», власть могла в неприкосновенности соблюдать дорогие её сердцу «коммунистические» принципы: они были очень удобны при всероссийской операции «грабежа награбленного». Но когда эта операция подошла к концу, довершив расстройство государственного хозяйства, на первый план стали выдвигаться интересы «новых владельцев», стремящихся закрепить свои завоевания в революции. «Коммунизм» из фактора, в известном смысле прогрессивного (т.е. способствующего самоопределению новых хозяйствующих элементов) постепенно превращался в тормоз экономического развития

страны, сковывая самостоятельность победивших в революции социальных групп, не давая простора им развернуться. И группы эти, прежде бывшие агентами и **попутчиками** революции, стали отставать от её стремительного бега, страдать от него, препятствовать ему. Крылья революции мало-помалу становились её гирями.

Кризис ортодоксального коммунизма, вероятно, произошел бы ещё раньше, если бы не было белых движений, искусственно расширявших социальную базу коммунистической власти. Стихийная боязнь социальной реставрации заставляла крестьянство поддерживать центральную власть против Колчака, Деникина и Врангеля, внешне питая тем самым иллюзию «высоты революционно-социалистического сознания» в русском народе. Гражданская война позволила большевикам углубить социальный опыт и продлить кульминационный период революции. Это обстоятельство, тягостно отразившееся на состоянии страны, вместе с тем, быть может, представлялось не лишённым своеобразного исторического смысла: есть основание полагать, что оно усилило мировую значимость русской революции, её масштабы в плане всемирной истории...

Но вот непосредственная опасность реставрации оказалась устранённой, и положение радикально меняется. Период революционного «распределения благ» кончился, и распределители из союзников революционной власти превращаются в её критиков и «кредиторов», требуя от неё реального осуществления возможностей, порожденных революцией. И с чрезвычайной очевидностью обнаруживается вся призрачность «коммунистических попыток» в условиях русской действительности (что, впрочем, было ясно и самим большевикам, центр тяжести своих упований всегда упирался, как известно, в «мировую революцию»).

Отсюда и новые лозунги Москвы, ищущей новую социальную опору советской власти. Провозглашается «крестьянский Брест» (Бухарин), деревня становится для большевизма своего рода Каноссой. Пышным цветом расцветает «нэп».

На девятом съезде советов – в атмосфере разгара нового курса – Ленин даёт решительные формулы отступления. *«На попрание экономического, – признается он, – мы потерпели целый ряд поражений».* Отсюда переход к совершенно новой хозяйственной ориентировке, нащупывание **существенно** новых связей с крестьянством. *«В области экономической союз должен быть построен на других началах. Тут перемена сущности и форм союза».*

Ленин прекрасно понимает, что игнорирование происшедших перемен в психологии народных масс было бы пагубным для власти. Без «отступления с коммунистических позиций» немислимо сохранить связь между правительством и народом. *«Без этого нам грозит опасность, что передовой отряд революции забежит так далеко вперед, что от массы крестьянской оторвется. Смычки между нами и крестьянской массой не будет, а это и было бы гибелью революции».*

Нельзя лучше формулировать сущность создавшегося положения. Но вместе с тем нельзя игнорировать и неизбежные плоды его в будущем: **революционная Россия превращается по своему социальному существу в «буржуазную», собственническую страну.**

## II

Этот неотвратимый вывод, естественно, не по душе коммунистам. И по мере всестороннего внедрения в жизнь начал новой экономической политики они относятся к ней с неизменно возрастающим недружелюбием.

И принципиальные, и чисто бытовые соображения заставляют правящую партию опасаться роста «новой буржуазии». С одной стороны, всё бледнеет и тускнеет социалистический идеал («всерьёз и надолго», «здесь сроки исчисляются десятками лет»), с другой стороны, на глазах увеличивается благоденствие «нуворишей» за счет политических хозяев страны. Фаворитами, именинниками нового строя оказываются уже не борцы за него, не творцы его, а люди, пришедшие на готовое,

люди, глубоко чуждые тем идеям, которые легли в основу углублённой революции. И этически, и психологически этот факт встречает естественную оппозицию в большевистских рядах: «на кого же мы работали, за кого мы гибли на всех фронтах жестокой гражданской войны?!..»

Дело дошло даже до открытого внутривнутрипартийного раскола – зловещий симптом и мрачное предостережение! Наиболее горячие коммунистические сердца не выдержали созерцания начавшегося революционного отлива, благословляемого коммунистической властью. В результате Ленину пришлось обрушиться на известную часть собственной партии, даже прибегнуть к угрозам репрессиями... конечно, во имя революции... «Он выступал, как Робеспьер 9 термидора», – отзывалась об этой его речи одна французская газета... За излишнюю преданность коммунизму в «коммунистической» России открывалась широкая возможность быть объявленным контрреволюционером (или «анархо-синдикалистом») и очутиться в тюрьме...

Но глухой ропот в большевистской среде продолжался. В статьях, речах, резолюциях – повсюду выявлялось стремление очернить новый курс, воспеть докронштадтские порядки, вышутить «нэпмана», а то, как в одной из речей Троцкого, и определенно пригрозить в случае чего «возвратом к военному коммунизму».

Наконец, 6 марта на съезде металлистов, а затем и на XI съезде коммунистической партии сам Ленин торжественно заявил, что «отступление кончено, дело теперь в перегруппировке сил». Это ответственное заявление вождя немедленно нашло шумный отклик в партийных и правительственных кругах. Ему охотно придавали распространительное толкование. Кампания против «уступок» повсюду усилилась, откровенно зазвучали мотивы старого доброго времени, дней «холодной и голодной Москвы 18 года»...

Но логика жизни пока оказывалась сильнее слов, и сдвиг к индивидуалистическому хозяйству, «буржуазному обществу» продолжал углубляться в России. «Коммунистическое государ-

ство» терпело поражение за поражением на арене свободного состязания, свободной конкуренции с личной инициативой, частной заинтересованностью. В «честном бою» оно, увы, доказало свое бессилие. Собственническая, индивидуалистическая стихия не только торжествовала в деревне, но захватывала и город. *«Вот мы год прожили, – с обычной своею прямою признается Ленин, – государство в наших руках, а в новой экономической политике оно в этот год действовало по-нашему? – Нет, оно действовало не по-нашему... Вырывается машина из рук: как будто бы сидит человек, который ею правит, а машина едет не туда, куда её направляют, а туда, куда направляет кто-то, не то спекулянты, не то частно-хозяйственные капиталисты, или и те, и другие...»*

Картина печальная... И всё же ясно, что помочь этой беде нельзя простым возвращением к старым, безоглядно-коммунистическим методам хозяйствования. Напротив, подобное возвращение лишь вконец разбило бы всю «машину», в корне уничтожило бы социальную опору власти. Это бесспорно и с экономической, и с политической точек зрения. Сдвиг к «индивидуализму», раз начавшись, не терпит механического, объективно немотивированного перерыва, – иначе он не только не окажется плодотворен, но лишь усугубит разруху и в результате неизбежно приведёт к серьезному кризису наличной власти. Слишком велика заинтересованность в новом курсе широких масс, видящих в нём единственную надежду на осуществление своих экономических притязаний и потенций. А ведь нельзя забывать, что и та военная сила, на которую ныне опирается советское государство, в конечном счете тесно связана с широкими народными массами, является плотью от плоти их и кровью от крови (система всеобщей воинской повинности). И это не случайно, конечно, что на практике процесс «эволюции» не остановился и после 6 марта. Ряд декретов, его развивающих и в отношении экономическом, и в области правовой – издан уже после торжественного заявления о «конце отступления». Но, однако, нельзя отрицать, что заявление это (по-видимому, до извест-

ной степени вынужденное), ещё более усилило инерцию коммунистической среды, сгустило атмосферу, неблагоприятную новому курсу, и оказывает тормозящее влияние на процесс, ускорение которого необходимо и стране, и, при наличных условиях международных и внутригосударственных, самой советской власти.

Было бы поверхностно и наивно ополчаться на новую экономическую политику доводами à la Демьян Бедный, ссылаясь на спекулянтов и «хищников», которых она породила. Это — лишь первая её стадия, совершенно естественная и необходимая в силу экономических условий жизни России данного момента. Обмен восстанавливается раньше производства, страна только ещё вступает в стадию «первоначального накопления», и все качества этой стадии должны быть ею пережиты и изжиты. Как бы ни был непригляден бытовой облик современных «московских будней», — все же в нём больше конкретных экономических возможностей, нежели их было в пайковой восьмушке хлеба, главках, центрах и продовольственных облавах докронштадтской Москвы. Пусть сейчас «новая буржуазия» заявляет о себе, главным образом, несметными полчищами всевозможных «пенкоснимателей» и спекулянтов дурного тона. Ничего не поделаешь, через них надо пройти, и демагогической травле их никакого толку не добьешься. Преодолеваются они не газетными атаками и не административными налётами, а реформами, обеспечивающими действительное развитие производительных сил страны. И тогда за ними должна прийти и **созидательная буржуазия**, выдвинутая и закалённая революцией, — и в первую голову, конечно, тот «крепкий мужичок», без которого немислимо никакое оздоровление нашего сельского хозяйства, т.е. основы экономического благополучия России.

### III

Как былинный русский богатырь, советская власть волею истории была поставлена на распутье двух роковых дорог:



пойдет налево – соблюдет коммунистическую невинность, но потеряет голову; пойдет направо – сохранит жизнь, но утратит коммунистический облик. Третья дорога, издавна в мечтах воспеваемая, самая заманчивая, и голову сохраняющая, и душевную нетронутость – немедленная мировая революция, – оказалась заказанной.

Витязь свернул направо, в надежде вовремя, окольной тропинкой всё же пробраться на желанную третью дорогу, которой «не может не быть»... Едет, и вот уже явственно стал утрачивать свою социалистическую чистоту, и чем дальше, тем больше. И сердце его готово смутиться: «не лучше ли уж потерять жизнь, чем её смысл?» Но разум сдерживает сердечные порывы, взвешивает шансы, ищет отсрочек, компромиссов, стремится выгадать время, придумывает **относительно** лучший исход, при данных условиях...

*«В основном положение такое, – на X съезде формулировал Ленин дилемму, стоящую перед советской властью, – что либо мы должны экономически удовлетворить среднее крестьянство и пойти на свободу оборота, либо сохранить власть пролетариата в России при замедлении мировой революции нельзя, экономически мы не сможем... А что такое свобода оборота? Это свобода торговли, а свобода торговли – это назад к капитализму... Мы находимся в условиях такого обнищания, разорения, переутомления и истощения главных производительных сил крестьян и рабочих, что **этому основному соображению – во что бы то ни стало увеличить количество продуктов – приходится на время подчинить всё**».*

Бухарин, с своей стороны, подтверждал печальный диагноз вождя: *«В то время как мелкобуржуазная стихия до крайности усилилась, рабочий класс, как основная социальная база всякого коммунистического строительства, ослабел с разных сторон... Причина причин наших бедствий в том, что мы осуществляем коммунизм в отсталой, разорённой крестьянской стране с колоссальным преобладанием крестьянства, да ещё в капиталистическом окружении...»*

XI партийный съезд – через год – не только не рассеял всей мрачности этого диагноза, но, скорее, ещё усугубил её, констатировав, что сделанные уступки по существу недостаточны, что действительной смычки с крестьянством всё ещё нет, что наладить экономическую политику в рамках «государственного капитализма» пролетарскому государству не удалось. *«Крестьянин нам оказал кредит, но, получивши его, нужно поторавливаться с платежом. На нас неминуемо надвигается экзамен, на котором решится судьба «нэпа» и коммунистической власти в России».* Так характеризует положение лидер большевизма.

Будет ли выдержан этот экзамен, каким образом и в какой мере он может быть выдержан? – С разрешением этого вопроса тесно связана история России ближайшего будущего.

#### IV

Анализ развития русской революции приводит к заключению, что революционное наводнение продолжает неуклонно идти на убыль. А, следовательно, должен продолжаться и правительственный «спуск на тормозах» с боевых вершин отцветающего периода революции.

Этот вывод, сколь бы принудительно он ни диктовался, встречает, как мы видели, сильное смущение, а то и противодействие в рядах правящей партии. Характерна в этом отношении и в связи с этой проблемой оценка большевиками сущности «сменовеховского» течения.

В своем отзыве о сменовеховцах на XI съезде Ленин обозвал их, не обинуясь, «классовыми врагами» (выделив в особенности пишущего эти строки). Наше указание на неизбежность дальнейшего понижения революционной кривой, на безнадежность социализма в современной России – есть, по мнению советского вождя, не что иное, как «классовая правда, грубо, открыто высказанная классовым врагом». Сменовеховцы, мол, в душе мечтают не более и не менее, как о реставрации «обычного буржуазного государства», «обычного буржуазного болота...»

Попробуем разобраться в этой характеристике, заслуживающей внимания уже одним тем, что она принадлежит руководящему большевистскому авторитету.

В ней прежде всего чувствуется типичная для марксиста стилизация, обусловленная болезненным стремлением везде отыскать упрощенную «классовую подоплеку». По своему обыкновению, Ленин даёт широкие обобщения, «математические формулы», чрезвычайно схематизируя и политическую действительность, и политические идеологии. В его определении сменовехизма, грубом и стилизованном, заключены одновременно и истина, и ложь.

Верно, что мы считаем утопией осуществление коммунизма и «коммунистического государства» в современных русских условиях. Верно и то, что «героический период русской революции» мы считаем исторически завершённым и прочный возврат к его программе объективно немислимым, — по крайней мере для близкого будущего. Но разве оба эти тезиса не могут быть непосредственно обоснованы подлинными цитатами из официальных заявлений самих советских деятелей? Мы привели в настоящей статье достаточное количество таких цитат.

Особенно же благодарной в этом отношении является последняя речь Ленина на XI партийном съезде. Я даже склонен утверждать, что если бы она, в основных её положениях, была произнесена не Лениным, а обыкновенным гражданином советской республики, не записанным, вдобавок, в коммунистическую партию, — то означенный гражданин пролетарского государства был бы немедленно объявлен «классовым врагом», а речь его не только не увидела бы страниц «Известий» и «Правды», но, пожалуй, даже послужила бы недурной пищей для обвинителя в ревтрибунале. Ибо трудно удачнее и выпуклее обрисовать безотрадное в отношении коммунизма состояние нынешней России, нежели это сделал в ней вождь мирового коммунизма.

Очевидно, таким образом, что нельзя наш политический диагноз считать какой-то «классовой (буржуазной) правдой»,

раз он по существу вовсе не так уж расходится с откровенным диагнозом самих идеологов «пролетарского авангарда». Очевидно, он – просто **правда** без всяких одиозных прилагательных.

Но – скажут – Ленин ведь знает лекарство, рецепт спасения, позволяющий «приостановить отступление». А именно, вся беда в том, что ответственные коммунисты «не умеют управлять». Они должны это понять. Вот если они сумеют понять это, то, конечно, научатся, потому что научиться можно, но для этого надо учиться. И вместо 99 проц<ентов> непригодных к управлению коммунистов появятся 99 проц<ентов> пригодных...

Но тут, по-видимому, мы имеем дело уже не столько с глубоким аналитиком социальных и государственных проблем, сколько... с председателем совета комиссаров российской республики, принужденным так или иначе подсластить аудитории горькую пилюлю своего правдивого анализа. Воистину, это говорится уже «по должности», а не по совести, и вряд ли сам оратор верит в эффективность своего призыва и строит на нём серьёзный расчет. Выражаясь его собственным термином, тут есть нечто от «комвранья», или, по терминологии более парламентарной, – «официального оптимизма». Ибо, конечно, не нужно даже быть марксистом, чтобы осознать наличие органических, глубоких причин того обидного, но бесспорного факта, что коммунистическое строительство так плохо налаживается. Дело тут не в том, что «коммунисты не умеют управлять» (хотя, конечно, ещё далеко недостаточно это «понять», чтобы научиться), а в том, что сама коммунистическая **система** ни в какой мере не годится для управления Россией, и даже явись завтра сотня тысяч наилучших и честнейших коммунистов, их положение всё равно оказалось бы не лучше. Не удалось сельское хозяйство организовать системой подразверсток, – не удастся и промышленность воссоздать «государственно-социалистическими» мероприятиями. Причина ясна, и она прекрасно указана всё в той же, на редкость богатой мыслями, речи Ленина: «**в народной**

*массе мы всё же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает*». Стихию частной инициативы, личного интереса и риска, при современных условиях, ни внешне обуздать, ни внутренне преодолеть невозможно, и для спасения страны и власти нужно с ней вступить в широкий компромисс по всему фронту, нужно «правильно выразить» её в курсе государственной политики, в нормах твердого правопорядка, гарантирующего каждому «хозяйственному субъекту» уверенность в завтрашнем дне.

Здесь – социологическая истина, а вовсе не домыслы каких-то «классовых врагов». Что касается нас, «примиренческой» русской интеллигенции, то мы ни с какой стороны не заинтересованы в реставрации «обычных буржуазных форм», **как таковых**. Больше того: мы не думаем, что эти формы в аспекте всеобщей истории вечны или даже особенно долговечны. Мы отнюдь не принадлежим к тем, кто, по выражению Бухарина, в буржуазно-капиталистическом строе «видят пуп земли». Мы живо чувствуем внутреннюю правду слов Герцена, что **«исключительному царству капитала и безусловному праву собственности так же пришёл конец, как некогда пришёл конец царству феодальному и аристократическому»**. Ленин ошибается, когда говорит, что, указывая на грозящую советской власти опасность «скатиться в буржуазное болото», мы «стремимся к тому, чтобы это стало неизбежным». Буржуазный строй не есть для нас фетиш, идол, цель в себе, и мы не только не отрицаем исключительного значения русской революции, как первого бурного откровения некоей новой исторической эры, но и стремимся к тому, чтобы как можно больше положительных её достижений в социально-политической сфере остались закреплёнными, чтобы она дала максимальные результаты и в русском, и в мировом масштабе. А первая гарантия этого – наличность революционного или революционными традициями пропитанного правительства, эволюционное изживание, а не насильственное сокрушение утопических элементов революции. Не только по соображени-

ям национально–патриотическим (для меня лично решающим), но и руководствуясь жизненными запросами исторического прогресса, мы определённо и искренно «примиряемся» с революционной властью, не только отказываемся от активной борьбы с ней, но и посылно содействуем укреплению её престижа внутри страны и за её пределами. Но мы отдаём себе ясный отчет в том, что укрепить своё положение она сможет, лишь решительно порвав с иллюзиями немедленного коммунизма и твердо продолжив свое «стратегическое отступление» до действительно обеспеченного, надёжного «тыла». Промедление времени в этом отступлении для неё самым конкретным образом будет подобно смерти, причём могильщиками её окажутся, конечно, не «помещики и капиталисты» и не интеллигенция, а те социальные слои, которые её породили и вскормили, – «рабочие и крестьяне». И нельзя не признать, что если сама она не сумеет обеспечить себе «социального кислорода», – её крушение будет не только исторически неизбежным, но и исторически заслуженным. На своих передовых позициях революция не удержалась. И отступление, раз оно уже началось, должно быть планомерным и энергичным, а не колеблющимся, неуверенным и отстающим от жизни. Вот почему нападки на нэп, столь подозрительно усилившиеся за последнее время со стороны правящей партии, не могут не вызвать острой тревоги: они укрепляют позицию тех, кто утверждает, будто уничтожение советского строя есть условие *sine qua non* хозяйственного воссоздания государства. Сейчас больше, чем когда–либо, необходима трезвость в оценке процессов, совершающихся в стране. Только тогда будет нащупан новый и прочный социальный базис революционной России. Только тогда будет избегнута дурная реакция и без излишних потрясений установлена «равнодействующая революции». И только тогда, обеспечив себе национальную опору, русское правительство получит возможность перенести центр своего внимания на активное осуществление своей **мировой** миссии, реально и непосредственно запечатлеть влияние возрождённой, новой России в международном и всемирно–историческом масштабе.

## Годовщина

Не знаю, с какими чувствами (в глубине души) справляют сегодняшний праздник настоящие, правоверные коммунисты, строители интернационала и коммунизма в России и во всём мире, – но русские патриоты имеют все основания справлять его с радостной душою и бодрою верою в будущее родной страны.

Затрудняюсь сказать, в какой мере протекшие пять лет оправдали мечты о «немедленном коммунизме» и мировой революции, – но воочию вижу и всем своим существом ощущаю, что они не развенчали идеи **Великой России**.

Не знаю, прав ли Демьян Бедный, что крупными слезами плачут памятники Володарского и Свердлова, созерцая лики нынешних Москвы и Петербурга, – но уверен, что ликует Медный Всадник, всматриваясь в линии красных солдат, парадирующих на невских берегах, и вслушиваясь в заводские гудки, разбуженные денационализацией и «хозяйственным расчётом».

А чугунный гигант на Знаменской площади с величаво спокойным одобрением внимает русскому шуму в смятенной Европе и – «основатель великого сибирского пути» – уверенно ожидает осуществления исторических предначертаний:

– **Балтийское море – Тихий океан...**

Так неизменны национальные пути и крепка историческая государственная традиция. Она — выше «умыслов и замыслов» современников, отдельных участников жизненного «пира богов», знающего свои законы. Она — выше усилий и планов правящей власти, в конечном счете всегда подчиняющейся её неотвратимой логике. Она проявлялась сквозь упадочную атмосферу двора последних наших императоров, — она фатально просвечивает и сквозь буйные претензии дерзновенной русской революции...

Словно какая-то невидимая рука ведет русских революционеров по тропе, в существе своём им чуждой. Собственными своими руками они пересоздают многое, что ими самими было сокрушено, признают «тактически» большую часть того, что отвергают «принципиально». Так природа, изгнанная в дверь, торжествующе возвращается в окно, набравшись свежих сил...

«Мы не изменились, наши цели остались прежними, — мы только поумнели», — недавно бросил Троцкий по адресу тех, кто говорит об «эволюции большевизма».

Однако вряд ли он их вполне убедит: ибо разве «поумнение» не есть тоже эволюция, не есть перемена к лучшему? Но ведь перемена к лучшему есть всё же перемена. «Поумневший» большевизм 22 года, распростившийся с львиной долей «глупостей» утопизма и экстремизма, очевидно, весьма мало похож на большевизм 17-го. Это изумительное пятилетие, воистину, приобщило его к творческим путям русского государства, обогатило несравненным опытом, ввело в «разум истории». Он «остался тем же» больше на словах и в намерениях, чем в действиях; есть чему огорчаться революционным энтузиастам, вечным юнцам коммунизма...

Год тому назад, празднуя четвертую годовщину Октября, нельзя было не отметить, что начинаются «сумерки революции», — «быть может и очень долгие, длительные, как в северных странах». Прошедший год вполне подтвердил этот диагноз. Сделав свое дело, революционный ураган малопомалу затихает. И расцветает Россия, омытая, очищенная пронесшейся грозой.



К юбилейному торжеству октябрьского пятилетия окончательно завершилась наша злосчастная гражданская война. Белая мечта, дойдя по рукам до приморского курьеза, теперь прочно перекочевала за границу и столь фундаментально интернационализировалась, что не являет уже никаких признаков самостоятельного бытия. Просто она перешла на самую прозаичную службу тем государствам, на территории коих акклиматизировались её бывшие носители: в Латвии она к услугам латвийского правительства, в Румынии – румынского, в Китае – китайского и т.д. Словом, всё, что угодно, – только не Россия. Ибо Россия стала другой.

Да, другой, – вопреки мнению Струве, что «революция была совершена впустую». На самом деле, старый порядок не смог бы привести страну к тем результатам, какие несет собою его насильственное ниспровержение. Та бездна исторического зла, которая склонилась перед революцией чуть ли не во всех областях русской жизни, могла быть уничтожена, очевидно, лишь катастрофой. На эволюцию в нашем государственном организме не хватило сил и здоровья. Старый режим оказался не в состоянии провести в жизнь планы лучших своих представителей, и это, конечно, не случайно, что «коммунистической революции» приходится теперь осуществлять в аграрном вопросе многие предложения П.А. Столыпина (о чем чёрным по белому признается сама «Экономическая Жизнь», см. № 129 за этот год)...

Камня на камне не оставит пролетающий над Россией вихрь ни от старой, выродившейся власти, ни, что ещё важнее, от старой радикальной интеллигенции, ни от отжившего социального порядка. Изменится весь облик страны. Ко многому нам, людям дореволюционной эпохи, трудно будет привыкнуть, кое-чего ушедшего будет жалко, многое будет чуждо. Та «новая Россия», о которой так часто теперь говорят и которая, несомненно, уже родилась, – будет нас не только радовать, но и мучить, быть может, подчас и отталкивать... Но что же делать?.. Это – Россия, и притом единственная: другой нет и не будет... И под новым обликом в ней – та же

субстанция, та же великая национальная душа. Какова бы она ни была, наша жизнь – в ней, а не вне её.

Если за эти пять лет преобразились люди революции, то изменились и многие из нас, интеллигенции старой России. Изменившись, мы не изменили себе: «и **наши** цели остались прежними», – можем ответить мы Троцкому. Но мы многому научились и поэтому стали скромнее. Мы освободились от великого порока «гордости ума», перестали считать себя солью родной земли, и готовы служить этой земле, хотя избрала она не тот путь, какой в самоуверенном ослеплении мы ей указывали. Мы узнали, что все пути ведут в единый Рим...

Мы не отрекаемся от родных пепелищ, не забываем дорогих могил, но знаем теперь, что от прошлого ничего, кроме пепелищ и могил, не осталось. Мёртвое мы уже не примем за живое, не станем поперёк жизни. Не забудем, что и старые свои исторические задачи новая Россия разрешает **по-новому**, в свете нового всемирно-исторического периода, в который вступает современное человечество. Разрешает в мучительных усилиях, ошибаясь и часто ощупью подходя к решению, блуждая и заблуждаясь, но, руководимая державным инстинктом, в последнем итоге обретая спасительный курс.

Вот почему, независимо от того, с какими чувствами и с какими лозунгами празднуют сегодняшний юбилей правозверные интернационалисты и коммунисты, – патриоты Великой России вправе считать этот праздник и своим.

## Основной «базис»

В замечательной книжке М. Горького «О русском крестьянстве» дана откровенно суровая оценка этой подавляющей массы русского народа как «среды полудиких людей» с инстинктами и качествами, полудиким людям присущими. Но в то же время никто в нынешней русской литературе ярче и лучше Горького не подчеркнул того исключительного значения, которое ныне выпадает в России на долю крестьянства. С острою зоркостью подлинного художника провидит Горький грядущий стиль перерождённой России, основной результат великой революции:

*— Теперь можно с уверенностью сказать, что **ценою гибели интеллигенции и рабочего класса русское крестьянство ожило.***

Разбужена русская деревня, всколыхнулась вся и целиком, ощутила несравненную свою силу, и ничто уже не вернёт её в прежнее, дореволюционное состояние.

Мужик выходит из революции возмужавшим, закалённым, сознавшим свое место в государстве, убедившимся в зависимости от него всей городской жизни, всех этих «хитроумных горожан» с их культурой, техникой, политикой. Раньше они его держали в руках, — теперь же роли переменялись... И новый человек новой русской деревни — *«рассуждает спокойно и весьма цинично, но чувствует свою силу, своё значение.*

— *С мужиком не совладать*, — говорит он. — *Мужик теперь понял: в чьей руке хлеб, в той и власть, и сила...*»

Чернозёмная сила. Та самая, о коей гадали и по коей плакались поколения русской интеллигенции всевозможных колеров. Пожалуй, она всех обманула своим действительным обликом, многих отпугнула, многих даже озлобила. Но за себя постояла.

Нельзя сказать, что она оказалась по-славянофильски религиозна, по-западнически свободолюбива, по-народнически социалистична и по-марксистски склонна к «пролетаризации». Она с достаточным равнодушием взирает на катастрофу исторического православия, не пошевелила пальцем для защиты учредилки, упорно добывает общину и отнюдь не собирается превращаться в хвалёную «сельскую бедноту». Но зато, обманув ожидания горожан, она осознает свои свойства, «самоопределяется» по-своему, реально и жизненно. И в будущее своё *«смотрит всё более уверенно, и в тоне, которым он (мужик) начинает говорить, чувствуется человек, сознающий себя единственным и действительным хозяином русской земли»...*

Вот подлинное слово: мужик становится **единственным и действительным хозяином русской земли**. Всякая власть отныне принуждена будет считаться с ним, фактически творить его волю. И стремиться согласовать эту стихийную волю проснувшегося Ильи Муромца с элементами национальной культуры и городской «цивилизации», претворять черноземное творчество в государственную мощь. Для этого необходима та «смычка» между деревней и городом, о которой так много приходится слышать за последнее время.

Наиболее умные из антисоветских деятелей современности прочно усвоили «крестьянскую ориентацию»... на словах, конечно, обо от Парижа и Берлина до русской деревни далеко. В то время как неисправимые меньшевики если о чём

и думают, то только о том, как они будут организовывать «сплочённую **оппозицию**» в будущей России (ср. их «Социалист<ический> Вестник»), — Милюков систематически обсуждает вопрос о «крестьянской партии», долженствующий служить непосредственным политическим базисом будущей власти. Ему вторит энергичная г-жа Кускова с своими «Днями», не желающими, однако, уступить лидерство в сказанной «крестьянской партии» бывшему лидеру кадетов...

Но куда у эмигрантских Казбеков с Шат-горами идут великие споры на различные, подчас и интересные темы, — московская власть в свою очередь начинает отчетливо сознавать, что только то правительство может быть устойчивым в нынешней России, которое прочно свяжет себя с интересами и подлинными стремлениями крестьянства. В Кремле эта истина «колет глаза» с тем большею убедительностью, что именно коммунистам пришлось испытать на себе всю сокрушающую тяжесть *«пассивного сопротивления»* нашей необъятной деревни. Такого урока нельзя забыть. Нельзя забыть опыта 1920-го года, когда мужик *«встретил политику национализации сокращением посевов как раз настолько, чтоб оставить городское население без хлеба и не дать власти ни зерна на вывоз за границу»* (из речи Каменева на IX съезде советов).

И пока заграничные политики размышляют о крестьянском базисе, советское правительство этот базис реально нащупывает. Гений Ленина уже дал соответствующий курс, и если его преемники с него не свернут, прочность советского правопорядка обеспечена всерьёз и надолго. И, пожалуй, не понадобятся ни П.Н. Милюков, ни Е.Д. Кускова, ни даже сама бабушка русской революции, так безжалостно покинутая своею «внучкою»...

Но только курс этот должен быть действительно твёрдым и содержательным. «Классы обмануть нельзя», и ориентация на деревню обязывает. Необходимо вдумчиво учесть конкретный облик русского крестьянства, раз навсегда отказаться

от химерических мечтаний «окоммунизировать» современное крестьянское хозяйство и вместо преподнесения громких, но чуждых мужику лозунгов, оказать ему реальную, ощутительную помощь в сфере его очередных экономических нужд. Судя по многим признакам, на этот путь и вступает в данное время Москва.

Организуется сельскохозяйственный кредит для крестьян, неуклонно проводятся в жизнь начала «основного закона о трудовом землепользовании» 22 мая прошлого года, раскрепостившего деревню от утопии революционной весны, поощряются одинаково все формы трудового землепользования, не исключая и участковый, откровенно признаётся при этом «инициатива хозяйственно-прогрессивного меньшинства» (ставка на сильных), допускается «трудовая аренда земли» (временная переуступка прав на землепользование) и, наконец, согласно тому же закону, широко практикуется привлечение «вспомогательного **наёмного** труда» в трудовых земледельческих хозяйствах. На нужды деревни обращено самое серьезное и трезвое внимание, и ещё недавно президиум ВЦИК, регулируя организацию с.-х. кредита, категорически подчеркнул в вводной части своего постановления:

*«Ныне задачей советский власти является укрепление нашего народного хозяйства **и, прежде всего, восстановление и усиленное развитие сельского хозяйства: им живёт основная масса населения РСФСР – крестьянство, от него зависит восстановление и дальнейшее развитие промышленности.***

Таким образом, совершается то, что неминуемо должно было совершиться. На место России дворянской, самодержавно-бюрократической на авансцену истории выступает Россия крестьянская, народная. Выявляется с неотвратимостью основное содержание нашего революционного процесса. И поскольку советское правительство отдает себе в нём отчет, оно остается у государственного руля. Логикой вещей оно будет и далее эволюционировать, из власти рабочей переро-

ждаясь в правительство по существу своему **крестьянское**<sup>11</sup>. Только в том случае и удастся ему, обеспечив себе прочную социальную основу, в корне парализовать атаки и подкопы враждебных ему политических сил.

---

<sup>1</sup> *Примечание ко второму изданию.* Должен признаться, что удачнее было бы сказать не «крестьянское» просто, а *крестьянско-рабочее*. Но тут уже подстерегает г. Бухарин:

«Г–н Устрялов впадает, как полагается, в самую обыкновенную, весьма распространённую ошибку: он смешивает вопросы о более или менее тесном сотрудничестве (иногда «блоке», «союзе» и т.д.) классов в *обществе* с вопросом об их сотрудничестве («блоке», «союзе» и т.д.) во *власти*, т.е. с вопросом о *разделе власти*. Диктатура пролетариата есть единоедержавие пролетариата как класса. Но она, эта диктатура, может быть в наитеснейшем блоке или союзе с крестьянством или его определёнными слоями» («Цезаризм», стр. 31).

Боюсь, что мой суровый критик взводит на меня напраслину. Не так уж мудрено постичь подчеркиваемое г. Бухариным различие. Но в нём ли дело? Если *единоедержавно пролетарская власть*, опираясь на «сотрудничество классов в обществе», будет принуждена всерьёз вести крестьянскую политику стилия «обогащайтесь» – каков объективный облик такой власти? Разве «единоедержавно-дворянская власть», опираясь на аналогичное «сотрудничество», не переходила у нас в годы Витте и Столыпина к «буржуазной» политике? Выходит, таким образом, что центр тяжести вопроса не в отвлечённо-формальном «разделе власти», а в конкретном содержании её политики, диктуемой социальным составом «общества», удельным весом и давлением входящих в него элементов.

## Сменовехизм

### Сменовехизм...

Я не люблю этого термина и неповинен в нём. Он был выдвинут моими европейскими друзьями и вскоре прочно привился и в эмиграции, и в России. Теперь он стал этикеткой, которую бесполезно пытаться сорвать или подправить. Бог с ней, — пусть остается!..

Ленин на 11 съезде проницательно отделил подлинное зерно этого политического течения от его шелухи, густо и скороспело красивой в коммунистические цвета. Помню, один из лидеров европейского сменовехизма на мои усиленные предостережения и упорные призывы заботливее хранить идеологическую самостоятельность нашей позиции ответил мне красноречивой апологией **«мимикрии, этого исконного оружия слабых»**.

С тех пор и в прессе стали поговаривать о «левом» и «правом» крыльях сменовеховства. Но ведь «мимикрия» — это тактика (на мой личный взгляд, в данном случае очень плохая), а не идеология. Идеологический же смысл течения оставался и остаётся поныне единым и целостным. Лучше всего он выражен нашею пражскою книжкой. Появившийся же вслед за нею парижский журнал, а затем, ещё более, берлинская газета в угоду мнимо тактических соображений лишь затемнили



его истинный облик. Это был уже, по меткому замечанию Лежнёва, не что иное, как «размен вех»...

За последнее время в местной прессе оживился вопрос о природе сменовехизма. Коммунистическая «Трибуна» напомнила ленинский о нас отзыв на 11 съезде, сопроводив его рядом собственных комментариев. Проблески некоторых новых мотивов в хозяйственной политике советского правительства, естественно, ставят в порядок дня старый вопрос о постепенной, неизбежной и разумной трансформации революционной системы.

Советская пресса официально уже давно считает этот «сменовеховский» вопрос решенным в отрицательном смысле: никакой, мол, трансформации или, Боже упаси, «эволюции» нет и быть не может!.. Но если пристальнее взглядеться в самую эту прессу, – нетрудно заметить, что под официальными формулами кроются следы более искренних признаний.

Не будем цитировать Троцкого и троцкистов с их знаменитым возгласом о «перерождении кадров»: кандидат в «русские Дантоны» ныне, по-видимому, достаточно фундаментально взят под подозрение, на манер павшего ангела, правоверною церковью большевизма. Но нельзя пройти мимо огромного множества предупреждений, раздающихся из уст, неоспоримо безгрешных.

«Мелкобуржуазная стихия на нас давит» – ведь это, в сущности, лейтмотив современных констатирований. «Под различными ярлыками мелкобуржуазные уклоны просачиваются в нашу партию» – это стало трюизмом. И каждый внутрипартийный оттенок мысли считает своим долгом упрекнуть другие оттенки именно в «перерождении», именно в «мелкобуржуазном уклонизме». И какой грех теперь распространённее среди коммунистов, нежели «обволакивание» и «хоз-обращение»?..

Следовательно, вопрос о трансформации партийного лика и советской политики отнюдь не устарел. Скорее, напротив.

Однако даже и не эта сторона дела представляется объективно интересной. Пусть партия внутренне осталась про-

летарски чиста, как кристалл, — но непреклонные условия жизни заставляют её лавировать, «маневрировать», приспособливаться, — словом, трансформировать свою политику.

Не буду повторять нашей старой, подробно развитой аргументации, подтверждающей глубокое и плодотворное «поумнение» (термин Троцкого) коммунистского «Цека» за истекшие семь лет. Лучше попробую вкратце обрисовать подлинную сменовеховскую позицию в связи с теперешнею ситуацией и упреками слева, против нас направленными.

Нас называют отразителями настроений мелкой буржуазии. Не будучи правоверными марксистами, мы отвергаем и соответствующие схемы, поскольку они чрезвычайно упрощают и, следовательно, искажают действительность. Вопрос идет не об интересах того или иного класса, а о благе всей страны в целом. Если бы при наличных условиях экономически целесообразнейшим было коммунистическое хозяйствование, против него интеллигенция и не подумала бы возражать. Отнюдь, таким образом, неправильно связывать сменовеховскую интеллигенцию с каким-либо определенным «классом».

Но с этою оговоркою мы готовы признать, что в **мелкобуржуазной стране, каковою является теперешняя Россия, только то правительство будет воистину прочно, которое реально удовлетворит хозяйственные запросы мелкой буржуазии, т.е. в первую очередь крестьянства.** Это ведь понимают и сами коммунисты. Но, понимая это, после ухода Ленина они проявляют известную робость в осуществлении взятого их вождем курса, некоторую медлительность, некоторые колебания.

Применительно к данному периоду времени Ленин был, если хотите, прав, утверждая, что *«сменовеховец выражает настроение тысяч и десятков тысяч всяких буржуев, или советских служащих, участников нашей нэп»*. Прибавим лишь, во-первых, что мелких буржуев в России не десятки тысяч, а десятки миллионов, и, во-вторых, что если «буржуи», приветствуя сменовеховцев, быть может, заботятся больше о своих непосредственных материальных интересах, то «советские

служащие» исходят в своих взглядах из общепатриотических, национальных соображений по преимуществу. Так было, так есть до сих пор, вопреки неожиданному уверению местной «Трибуны», что за эти годы русская интеллигенция перешла от «сменовеховства» к заправскому большевизму.

Интеллигенция Советской России в подавляющей массе своей лояльна по отношению к власти. Но было бы, конечно, недопустимой для коммуниста наивностью расценивать эту лояльность как стопроцентное усвоение принципов компартии. Наиболее вдумчивые и трезвые коммунисты отлично знают цену тем «примазавшимся» интеллигентам, которые кстати и некстати спешат выразить свое «полное сочувствие» последнему правительственному распоряжению, а то даже, при случае, и «перелевить» представителей власти. Огромная же интеллигентская масса лояльна именно по-сменовеховски (в истинном, не искаженном «мимикрией» смысле этого термина), а не по-коммунистически<sup>11</sup>. И кличка «буржуй» в её сознании вовсе не является каким-то жупелом, чем-то непременно порочащим и порицательным, равно как и понятие «пролетарий».

Чтобы привести яркий образец такой интеллигентской лояльности, укажем на покойного Н.Н. Кутлера. Вот подлинный, достойный пример честного спеца, делающего ради блага родины свое дело. И при этом совсем не норовящего суетливо перекраситься в пунцовую краску. И таких, как он, много на Руси.

Посильно отражать настроения именно этих кругов мы сочли бы для себя почётной задачей. С полнейшим равнодушием проходим мы мимо злобствующих воплей твердоголовой эмигрантщины, истерически кричащей доселе о «борьбе» с советской властью. Но, будучи искренно готовы к «полезной деятельности», к коей нас призывает «Трибуна», к самой тесной

---

<sup>1</sup> *Примечание ко второму изданию.* Эта истина нашла авторитетное подтверждение на VII расширенном пленуме ИККИ в декабре 1926 года в заключительной речи Сталина, трижды объявившего пишущего эти строки «представителем буржуазных специалистов в нашей стране».

совместной деловой работе с советской властью, мы позволяем себе оставаться при собственном взгляде на историческое развитие России, на будущее России, на историческую роль великой русской революции, которую мы «приемлем», но не совсем так, как это полагается по уважаемой «Азбуке коммунизма».

Милюков и эсеры тоже хотят быть выразителями интересов русского крестьянства и взглядов русской интеллигенции. Чем же сменовеховцы отличаются от Милюкова?

Они отличаются от Милюкова тем, что **отнюдь не добиваются власти**. Напрасно слева нас упрекают в тайных симпатиях к Учредилке: это совсем неверное и очень вульгарное понимание нашей идеологии, более всего чуждой фетишизму формальной демократии.

Основная ошибка П.Н. Милюкова и его друзей заключается в том, что они всё ещё ждут «призыва» со стороны русского мужика и строят свою тактику в соответствии с этим «ожиданием». В своей критике отдельных конкретных мероприятий московского правительства они подчас бывают и правы. Но их основоположный политический вывод («третья революция»), по нашему крайнему разумению, в корне ложен, зловреден с точки зрения интересов страны.

Милюков сам хочет оформить и удовлетворить домогательства крестьянства, свергнув большевиков, — а мы, сменовеховцы, хотим, чтобы русский мужик получил всё, что ему исторически причитается, от наличной революционной власти.

Ни о каких антисоветских революциях сейчас не идет и не должна идти речь. Цель и спасение в том, чтобы оздоровление страны было направлено по руслу спокойной и экономной эволюции. Просыпающаяся самодеятельность деревни может быть вполне уложена в рамки советской политической системы. Но выдвинутый нами (см. недавнюю статью Е.Е. Яшнова в «Новостях Жизни») лозунг **«свобода труду!»** ни в коем случае нельзя считать, по пролетарскому определению «Трибуны», — «интеллигентской брехнёй». Вне этого лозунга не построить трудового государства. Вне этого

лозунга не достичь действительной, а не словесной «смычки» с крестьянством.

Конечно, свобода труда отнюдь не есть «священная свобода частной собственности» во вкусе либеральных концепций 19 века. От этих концепций прочно отказались и западные народы, всерьез перешедшие от государства либерального к «государству культурному», с широким социальным законодательством. Не о воскресении принципов частной собственности и чистого капитализма в их старомодных формах говорим мы – нет, свобода труда в нашем понимании есть не столько «естественное субъективное право», сколько объективно целесообразная «общественная функция».

Чтобы Милюков и эсеры не оказались по-своему правы, т.е. чтобы страна не погрузилась в новый океан неурядиц, руководители советской политики должны чутко учитывать потребности мелкобуржуазной массы народов Советского Союза и, согласно диалектическим урокам учителя, идти навстречу этим потребностям. **В настоящий период времени такая тактика внутри страны вполне совместима с осуществлением международно-политических, «всемирно-исторических» заданий СССР.**

Если сменовеховцы и впрямь правильно отражают взгляды интеллигентско-спецовских кругов с одной стороны, и настроения инициативных «хозяйственников» города и особенно деревни – с другой, – то ведь из этого явствует, что все «мелкобуржуазные» элементы населения ныне придерживаются именно **советской** ориентации, а не какой-либо другой. Но, придерживаясь советской ориентации, они, несомненно, ждут от советского правительства не политики зажимов и Нарымов, не сплошных «департаментов препон», а резонного удовлетворения законных своих притязаний на жизнь и работу.

Ждут и – судя по многим признакам – дождутся.

# Два этюда

## I

### «Гетерогения целей»

Философы истории очень хорошо знают этот термин Вундта. Закон гетерогении целей есть несомненный эмпирический закон, подтверждаемый постоянными историческими примерами. Спутанная взаимозависимость между «целью и средством» в различного рода массовых движениях приводит подчас к любопытнейшей исторической диалектике, явственно вскрывает в этих движениях игру «лукавого Разума», для которого «страсти индивидуумов» — не более, чем «дань, которую материя платит идее» (по Гегелю)...

Как часто бывает, что большое историческое движение, ставящее себе большие, отважные цели, в процессе их осуществления задерживается в царстве средств! И объективно получается, что подлинной — то целью, истинным смыслом движения оказываются не его субъективные дерзновения, а его наличные, реальные достижения. Средство превращается в цель.

Бывает и так, что по мере осуществления тех или других частных задач, реализации тех или иных средств, — движение начинает обзаводиться новыми «идеями — силами», сворачивает в сторону от первоначальной цели, натывается на побочные, просёлочные дороги и через них выходит к иной цели,

новой задаче, не совсем похожей, а то и совсем непохожей на первоначальную. Извилист и сложен лабиринт истории, и сама нить Ариадны подчас начинает тут хитрить, сбивать с толку, ставить в тупики. И особенно часто в незавидном положении оказываются наиболее самоуверенные путники, в простоте душевной полагающие, что обладают ключом ко всем историческим загадкам, – резвые представители мнимого всезнания, ещё не усвоившие даже прекрасной методической заповеди Сократа – «я знаю, что я ничего не знаю»...

А разве цель, в свою очередь, не может превратиться в средство?

Издали она нередко рисуется такой заманчивой, привлекательной, окончательной. Но вблизи оказывается, что она вовсе не «конечная цель», а самое серое, будничное звено в прихотливой цепи исторического процесса. Горизонт раздвигается, открываются новые перспективы, новые цели, для которых достигнутая – только скромное и незатейливое средство. Такую метаморфозу разве не пережила на протяжении одного века хотя бы, скажем, идея демократии?..

Да, «гетерогения целей». Одно дело – субъективные умыслы, чаяния, стремления агентов исторического развития, другое дело – его объективная логика. В наше время полезно запастись достаточною долей критического чутья, чтобы уяснить себе этот фундаментальный тезис теории исторического познания.

Колумб ехал в Индию, а наткнулся на Америку. Не так ли и многие великие Колумбы мировой истории в погонях за пышными прелестями сказочных Индий высаживались на берегах реальных Америк, открывая новые исторические этапы и эпохи, неожиданно и не по задуманному прославляя себя?..

Колумб открыл Америку **попутно**. Но «попутное» стало **основным** и **главным**. А то, что представлялось его субъективному сознанию как «главное», – так и растворилось в сфере химер: до Индии ему доехать не довелось...

Не доехали и великие папы средневековья до совершенной и вечной теократии. Но в попытках её осуществления создали творческую и мощную культуру, своеобразную систему поли-

тических связей, «новый стиль» всемирной истории. Сделали всё это опять—таки «попутно», но и тут, значит, объективный смысл процесса воплощался не в непосредственных и прямолинейных планировках, а в сложной и изогнутой конфигурации средств, обходов, перепутий. Средства объективно зафиксировались в цели, обходы застыли, став самодовлеющими, перепутья преобразились в рубежи. Ехидная историческая диалектика превращает центральные и красочные фигуры в несознательных попутчиков подлинных своих предназначений и задач, до времени неисповедимых. А то, что самим этим фигурам в процессе борьбы и сутолоки, в бурливой игре субъективного воображения представляется побочным и попутным, оказывается нередко как раз центральным, пребывающим, стержневым.

В истории, как и в жизни, друг Горацио, есть много такого, чего не снится нашим мудрецам!..

В истории, как и в жизни, островки рациональных выкладок кругом объаты океаном таинственной иррациональной стихии, высший разум которой требует иных, не плоскостных, измерений.

В истории, как и в жизни, наш челн, по образу поэта, то и дело уносится приливом в неизмеримость тёмных волн —  
И мы плывём, пылающею бездной  
Со всех сторон окружены...

## II

### *Оппортунизм*

*Всё течёт.*

***Гераклит***

*Alles Vergängliche  
Ist nur ein Gleichniss.*

***Goethe***

Самый этот термин — «оппортунизм» — достаточно скомпрометируется долгими и дружными усилиями политиче-



ских романтиков, фанатиков и утопистов всех мастей, стран и устремлений.

Оппортунизм – это нечто серое, ползучее, презренное. Это жалкий и отвратительный «Уж» Максима Горького – тот самый, который, как известно, «рождён ползать» и «летать не может». Который никак не способен понять, что «безумство храбрых – вот мудрость жизни». Суций «мещанин»: читайте Иванова–Разумника!..

... Однако не пора ли уже все–таки приступить к некоей реабилитации целого ряда идей и понятий, заклёванных политическими «Соколами», «Буревестниками» и прочими «гордыми птицами»? Не прошло ли уже, в сущности, время, когда «жажда бури, сила гнева, пламя страсти» – все эти высокие и прекрасные вещи – принимались безо всякой оглядки и возводились в перл создания безо всякого раздумья? Не осмотреться–ли? Не прийти ли в себя?

Но мы уже слышим суровый окрик разношерстных фигур, по–прежнему «охраняющих входы»:

– Прочь! Здесь объявлена богам за право первенства война!..

А давайте, наконец, попробуем не испугаться этого окрика. Боги ведь нередко оказываются на проверку оловянными, а молнии бумажными. Да и сами «птицы» – заводными...

Что такое оппортунизм?

Гамбетта – его духовный отец, выразитель, идеолог – определял его достаточно ясно:

– **Политика результатов.**

То, что мы называем «реальной политикой». Учёт обстановки, трезвый анализ действительных возможностей. **При–способление к окружающим условиям, дабы успешнее их преобразить, направить к поставленной цели.** Гибкость стальной пружины. Упругость живой ткани.

Противники Гамбетты пустили в оборот словечко «оппортунизм», придав ему порицательный, предосудительный смысл. Оппортунизм, мол, есть беспринципное подчинение

фактам, «шествие в хвосте событий». Пользуясь современным термином, – «фактопоклонство».

Разумеется, это не так. Гамбетта имел и твердо знал свои цели. Если уж сравнивать, он был в них куда сознательнее и твёрже, чем большинство его крикливых противников. Но именно **преданность целям** заставляла его относиться серьёзно к вопросам о путях их осуществления. Он понимал, что *«политика налагает на нас необходимость делать много уступок, обходов, пускать в ход бесконечное множество средних терминов, средних решений... La modération – c'est la raison politique»*<sup>1</sup>. Нет ничего хуже в политике, чем упрямое и безответственное доктринёрство. И даже жертвенность не искупает порока ослеплённости: «мученичество не есть аргумент истины» (Спиноза). Жертвы оправданы только тогда, когда они – **реальные и необходимые средства к достойным и реальным целям**. Выше «безумства храбрости» должен быть поставлен – **разум расчёта**.

Ибо далеко не всякий, твердящий «Господи, Господи», войдёт в царство небесное.

«Цель и средство». Кажется, так ясно. Но в то же время здесь – начало новой большой проблемы. Мир не прост. И вредная фальшь – его искусственно упрощать.

Дело в том, что *«в бесконечном ряду исторических явлений всё является одновременно и причиной, и следствием»* (Еллинек). Везде связь, кругом «взаимозависимость». Относительны не только средства, но неизбежно и самые цели. То, что в рамках одной обстановки является целью, в пределах другой превращается в средство. Целью «русской политики» Англии до японской войны было уничтожение России, как морской державы. После Цусимы Россия превращается Эду-

---

<sup>1</sup> В этом отношении у Гамбетты были непосредственные предшественники. «Политика Дантона, – пишет, например, Олар, – была именно тем, что называют в настоящее время *оппортунизмом*, если принять это слово в его хорошем значении. Дантон был продолжателем Мирабо, так же как Гамбетта был продолжателем Дантона» («Политическая история французской революции», русск<ий> перевод, изд. Скирмунт, стр. 470).

ардом VII в «дружественную нацию», полезную для окружения Германии... Целью Наполеона было использовать революцию в качестве средства военной славы Франции и превращения её в империю. Но вышло так, что сами наполеоновские войны стали средством распространения революционных идей и их международного торжества... Целью римской империи было расширение национального римского государства. Однако по мере своего осуществления эта **цель** неудержимо становилась **средством** утверждения идеи сверхнационального, всемирного гражданства, т.е. опять-таки, значит, **новой «цели»**... – Словом, повсюду – причудливое сплетение **посредствующих целей** и **целеподобных средств**. Что же касается «конечных целей», то их, пожалуй, и вовсе не сыскать в нашем текучем временно-пространственном мире. Поистине, он есть **мир бесконечных задач**.

Если так, то ясно, что реализм должен распространяться не только на средства, но и на самые «цели». Не приводит к добру, когда реализм средств сочетается с утопизмом целей. Средневековые папы нередко доходили до виртуозного совершенства в практической политике; но их центральная цель – теократизация мира – была неосуществима, и не помогло политическое искусство, коверкалась и бунтовала жизнь, и страдали люди, – и «крушение дома сего было великое»...

Необходимо не только познавать подвижную механику средств и целей. Нужно держать перед собой отчет и в самой **иерархии целей**, в «таблице ценностей». Нужно усвоить, что цели и ценности имеют свою **лестницу**, упирающуюся в небо, но установленную на земле. Плох тот, кто топчется на месте или тянет вниз. Но не многим лучше и тот, кто тщится шагнуть разом через несколько ступеней и бесславно срывается в пропасть...

Такого нечего жалеть, потому что он сам виноват. И в его сальто-мортале нет ничего ни нравственно, ни эстетически привлекательного. Восторгаться горьковскими «соколами», историческим Геростратом, ибсеновским Брандом – признак не только нравственной аберрации, но и не слишком высокого

вкуса. Нравственность есть **действенность** и **конкретность**. Красота есть **воплощение Смысла**. Порочен пустопорожный моральный взлёт. Безобразен срыв нерасчетливого порыва.

И сурова мудрая реакция жизни, запечатлённая словом величайшего из великих оппортунистов мировой истории:

– Vae victis!

Однако, с другой стороны, оппортунизм не должен быть мелкотравчатым крохоборчеством, политикой сегодняшнего дня, текущей минуты. Он не исключает, а, напротив, предполагает большие анализы, широкие интуиции, непрерывную активность. Нерасчётливо увлекаться текущей минутой: ибо слишком ущербна реальность минуты. **Крохоборчество есть такое же игнорирование и нарушение иерархии целей, как брендовский максимализм**. Цели должны быть достижимыми; из этого не следует, что они не могут быть великими. Нужно идти по линии наименьшего, а не наибольшего сопротивления; но нужно идти **вперёд и вверх**, а не назад и вниз. Оппортунизм – это не вялое сердце и не мелкая душа; это – ясная голова. И он требует, чтобы большие анализы были реальны, широкие интуиции конкретны, а непрерывная активность осмысленна, содержательна, плодотворна.

Несравненным и классическим теоретиком той системы идей, что ныне зовется оппортунизмом, недаром считается Маккиавелли. Источник его учения – глубочайшее знание человеческого сердца. Веками клеветали на него людские пороки – глупость, зависть, тщеславие, лицемерие: вероятно, оттого, что он их гениально распознал и учил, взнуздав их, пользоваться ими. Веками чернили «маккиавеллизм» – гений Маккиавелли не стал от того ни менее ярок, ни менее предметен, ни менее актуален в своей положительной и творческой направленности. *«Понимать историю, – справедливо утверждает Шпенглер, – значит быть знатоком человеческого сердца в высшем смысле слова».*

*«Люди живут не так, как должны бы жить. Между действительностью и мечтой громадная разница. Кто пренебрегает знанием действительности, тот идет к гибели, а не к спа-*

сению». – Вот бессмертное поучение политического реализма. Вся система политики великого флорентинца построена на этой предпосылке. Именно поэтому – то *«государь, сохраняющий свою власть, обязан уметь не быть добродетельным»*. Именно поэтому он должен сочетать в себе *«свойства льва и лисицы»*. Именно поэтому *«счастье государя зависит от степени согласия его поступков с требованиями времени»*. **Требования времени, «разум эпохи» – вот общий критерий политического действия.** *«Дела рук человеческих постоянно в движении»*. Но каждая эпоха имеет свой логос. Удел теоретиков – его открывать. Удел политиков – его облекать в плоть и кровь истории. Маккиавелли был одновременно и теоретиком, и практиком политики. И, конечно, весь безбрежный релятивизм средств ни на минуту не заслонял в его гениальном, ясновидящем сознании прочного достоинства руководящей задачи его времени, разума нарождавшейся эпохи: **великая родина, великая нация, великое государство**. Отсюда и формула его: *«защищать отечество всегда хорошо, как бы его ни защищать, – бесчестьем или славою»*.

Оппортунизм не отрицает ни решительности, ни твёрдости, ни смелости. Он требует только, чтобы эти качества применялись к месту и ко времени, во имя реальных целей и в качестве эффективных средств. Гамбетта недаром в тяжкие дни национальной обороны своей огненной энергией стяжал себе кличку – *«fou furieux»*. Маккиавелли, с своей стороны, подчёркивал, что осторожность не должна быть целью в себе: *«человек осторожный, не умеющий сделаться отважным, когда это необходимо»* (курсив мой – Н.У.), *сам становится причиной своей гибели»*.

Нет незыблемых «целей в себе» в изогнутом, условном и сложном лабиринте истории. Есть лишь этапы, станции, перепутья. Вот монархия, вот республика, вот сверхнациональная империя, вот национальная держава. Вот «эпоха субъекта», сменяемая «эпохой объективности» (Гегель). Вот насильственная теократия, вот просвещённый абсолютизм, вот правовое государство. А вот уж и «кризис демократии», призраки воз-

рождающегося цезаризма («горе побеждённым!») – и новые перспективы, усложнённые, диалектические: тут – национальные движения, неудержимое и бурное самоопределение народов, там – их мировое, интернациональное объединение... И вьётся, уходит в бескрайнюю даль живописная, чудесная дорога... Да, живописная, чудесная... но вместе с тем какая страшная, взлохмаченная, кровавая!..

**Нужно понять и полюбить её такую.** Нужно найти в себе умственные и нравственные силы **осознать, осмыслить и принять** её в её подлинном, реальном и конкретном **бесконечном становлении**, постоянно и твердо помня, что

Всё преходящее

Есть только образ...

## **Февральская революция**

(К восьмилетнему юбилею)

*«Что мы сейчас видим в революции,  
ничего не говорит о далеком расчёте и замысле,  
с каким дух вызвал её в жизнь».*

**(Гершензон. «Переписка из двух углов»)**

Когда вспоминаешь теперь эти нелепые, взлохмаченные, наивные дни, — ощущается в душе осадок досады и грусти одновременно. Весенняя улыбка, весенняя распутица... и весеннее головокружение...

Да, все мы, даже самые трезвые, были хоть на миг, хоть на пару дней опьянены этим хмельным напитком весенней революции. На фоне Распутина, Штюмера, Протопопова — яркими и волнующими казались первые часы свободы, насыщенными и жуткими — часы недолгой борьбы.

— Опять телефон с Петербургом не работает... Подавят или нет?.. И что — дальше?..

Стоишь, бывало, у редакционного телефона, у аппарата междугороднего сообщения, — ждёшь...

— Дума во главе восстания... Восставшие гвардейские полки у Таврического Дворца!..

Эти фразы, теперь столь истрёпанные, запылённые, просто скучные, — тогда возбуждали, мучили, жгли...

Слишком всё это было необычайно. Россия явственно вступала в какую-то новую историческую полосу. Сразу разлилась весенним половодьем народная стихия, прорвав плотины исторической государственности, подгнившие, износившиеся. И словно сбылось загадочное пророчество, вернее, заклинание поэта:

Туда, где смертей и болезней  
Лихая прошла колея, —  
Исчезни в пространство, исчезни,  
Россия, Россия моя...

Государство русское растворилось в народной стихии, умерло... и многим казалось, что навсегда. Многие малoverы смутились, смущены доселе.

Но недаром сказано:

— Да не смущается сердце ваше...

Видно, нужно было России исчезнуть, уйти в пространство, чтобы опять из пространства восстать.

Помню, в разгар разрухи, когда слепая стихия сокрушала все рубежи, когда символом России казался безглазый поезд, облепленный серою, ужасной массой человеческой саранчи, — думалось мучительно, непрерывно:

— Нет, но кто же, какая сила их образумит, обуздает, возьмёт в руки, введёт в берега?.. И как это сделать?..

И разум не находил ответа.

Его нашла история, октябрьским морозом дохнувшая на захмелевшую от свободы Россию и огромный бунт превратившая в великую революцию.

Каковы бы тогда, в феврале, ни были субъективные настроения подавляющего большинства русской интеллигенции — объективно основа февральских событий теперь может считаться уже достаточно выясненной: **это было не что иное, как военное поражение России.**

Катастрофа надвигалась с неумолимой необходимостью. Уже к осени 1916 года экономическая надорванность страны заставляла многих деловых работников на «хозяйственном фронте» предвидеть неизбежность скорого краха. Но когда



«пришла революция» с громкими лозунгами, театральными позами и дразнящим отсутствием «начальства» — бес истонного интеллигентского революционаризма принялся усиленно шептать во все уши, что мол, «теперь всё пойдет по хорошему», что теперь «препятствия на пути к победе устранены». Революцию воспринимали как спасение от катастрофы, столь зловеще надвигавшейся.

**Между тем, на самом деле это и была в образе «грозы и бури» пришедшая катастрофа.**

«Февраль» весь был соткан из противоречий, фатально влекших его к гибели. Декламируя о «победе», он быстро уничтожал её последние шансы. Вещая о «государственном разуме», он не носил в себе и его крупницы. Болтая о революции, он более всего чуждался революционного дерзновения.

Межеумочный, крикливый, фальшивый, он казался, согласно грубоватому русскому присловию, «ни Богу свечкой, ни чёрту кочергой». Недаром его олицетворением был Керенский, ничтожество из ничтожеств, мыльный пузырь, жалкий актёр истории.

Февраль мог быть только увертюрой или эпилогом. В нём не было собственного содержания. Он знаменовал собою либо конец, разрушение, смерть, либо зарницу действительной, освежающей атмосферу грозы. Либо, пожалуй, то и другое вместе.

Февраль непрерывно поглощал сам себя, разлагался внутренними противоречиями. Стыдно и больно за Россию было в те месяцы, как никогда ни раньше, ни после них. Потом, в годы октября, подчас становилось **страшно, тяжело** за русский народ, за русское государство. В месяцы «февраля» основным чувством ощущался именно **стыд**. Никакого величия, ни грана подлинной трагедии, ни йоты действительного героизма. Разгул мелкого беса, дешёвых чувств, кургузых мыслей, дряблых сердец. Болото.

Никогда после октябрьских дней не бывало на душе так отвратительно, досадно, гадко. Никакие шипы «нелегального положения», гражданской войны, уличных боёв, сознанных

политических ошибок не воспринимались сознанием так остро и мучительно, как горькие эпизоды бесславной февральской эпопеи, идейно растленной, эстетически отталкивающей, духовно импотентной.

Это воистину был **распад**. Вероятно, иным быть он и не мог. Теперь, в «исторической перспективе», нужно осознать его своеобразную историческую осмысленность. Но тогда, когда он являлся «современностью», – нельзя было его не оценивать под углом зрения его непосредственной собственной значимости.

Конечно, первым элементом нашей революции была смерть. Смерть «старого режима», старого правящего сословия, старого государственного стиля, старого «общественного мнения».

В страшной исторической судороге кончились оба петербургские антипода – дворянское самодержавие и радикальная интеллигенция, – и с их концом исчерпал себя петербургский период русской истории.

Процесс смерти, распада, разложения – не может быть привлекателен. И поскольку смерть составным элементом неминуемо входила в революционный кризис, густо окрашивая собою его начало, – постольку и февральский пролог русской революции был богат мотивами гниения, тления, упадка.

Припоминая первые февральские дни, и до сего времени испытываешь жгучее чувство тревоги, смешанной с надеждою, – специфическое чувство, тогда переживавшееся. Помню, уже на третий день революции, 1-го марта 1917 года, тревога окончательно вытесняла надежду, и, всматриваясь в праздничные уличные толпы, в малообещающие лица солдат, в знаменитые «грузовики», перевитые красными лентами, – мучительно думалось:

– Не быть добру. Быть худу.

И «худу» пришло, и разлилось по всей безбрежной русской земле, неистовым сумбуром прокатилось по городам и весям, всех захватив, многое исковеркав, повсюду поселив нужду, стоны, нищету...

Но не следует, однако, ограничиваться этим печальным признанием, когда далеко спустя, в наши дни пытаешься подвести исторический итог происшедшему сдвигу. Теперь уже нетрудно и, во всяком случае, обязательно рядом с пассивом революции учесть её актив, и за её «худом» не игнорировать её «добра» – её огромного значения в русской, да и не только в русской истории.

Хотя первоначально революция наша была не чем другим, как военным поражением России, но уже скорая ликвидация пустопорожного февраля показала, что смысл революции этим не исчерпывается. Катастрофа получала более грандиозный и симптоматичный смысл, обретала самостоятельность, обзаводилась собственной творческой логикой. И растворившаяся в пространствах Россия вновь восстает из пространств.

В новом облике, в новом одеянии. И плохи те патриоты, которые не узнают её в нём. Значит, они чтили её только устами, но не сердцем. Значит, они чтили только фасад её, а не субстанцию.

Разве в имени дело? «Name ist Schall und Rauch»... И потом – разве не прозревали лучшие люди нашей великой роли России – вне, выше её самой?..

Разве Достоевский не говорил о «всечеловечестве», о «всечеловечески-братском единении»?..

Разве славянофилы, упоенные всеславянской идеей, завоженные Византийским Алтарем, не зывали о нём к русскому царю:

Пади пред ним, как царь России,  
И встань, как всеславянский царь!..

И если ныне русское государство пало, чтобы встать всесоюзным, многонародным государством, – то где тут унижение, гибель России?..

*«Чего хлопочут люди о народности, – говорил Станкевич, один из замечательнейших русских людей. – Надобно стремиться к человеческому, своё будет поневоле. На всяком искреннем и произвольном акте духа невольно отпечатывается своё, и чем ближе это своё к общему, тем лучше.*

*Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя – можно только человеческими началами».*

Впрочем, тут уже особая, сложная, большая тема. Но нельзя не подойти к ней, подводя итог нашего злосчастного февраля. Ибо в свете драмы, уже клонящейся к завершению, по иному оцениваешь, иначе понимаешь и её пролог..

И опять, и снова вспоминается поучение мудрого учителя политики, великого Маккиавелли об историческом смысле смутных эпох:

– Добрые деяния происходят от доброго воспитания, доброе воспитание от хороших законов, а **хорошие законы от тех самых смут, которые многие безрассудно осуждают. Эти смуты никогда не вредили общему благу.**

Пусть же будет эта оваянная сединою веков, мудро бесстрастная сентенция лучшим компасом нам, современникам, в наших размышлениях о трудностях переживаемой нами бурной, переломной, но по-своему прекрасной эпохи.

# Обогащайтесь<sup>1</sup>

*Ныне отпущаеши.  
(Свящ. Писание)*

Наконец–то!

Настоящее слово сказано, лозунг дан. Это куда лучше ещё, чем «лицом к деревне». Конкретнее, прямее, понятнее. Почти по–ленински.

– Крестьяне, обогащайтесь! Не бойтесь, что вас прижмут.

Свежо предание, а верится с трудом: этот лозунг брошен ортодоксальнейшим и монолитнейшим Бухариным, нашим «русским Сен–Жюстом», суровым столпом правоверия, утверждением закона и пророков.

Исторический лозунг буржуазной Франции, наливавшейся жизненными соками, весёлыми, как шампанское, приходившей в себя после революционных потрясений.

Лозунг роста и здорового индивидуализма, трезвый, как работающая деревня, неотвратимый, как жизнь, повелительный, как история.

Да, опять и опять: зелено золотое дерево жизни, а теория сера, тосклива, запылена...

---

<sup>1</sup> «Новости Жизни», 5 июня 1925 года. Ср. отзывы на эту статью: Зиновьев, «Ленинизм», Ленинград, 1925, стр. 215–218, Бухарин, «Цезаризм», стр. 35–36.

Впрочем, слава гуттаперчевой теории, умеющей не заедать жизнь, крепко наученной «сохранять лицо» при всех превратностях и сюрпризах судьбы...

Так должно было быть и иначе быть не могло. Все нити тянулись сюда. Это было ясно и в сумрачные дни 12-го съезда, и в недобрые дни 13-го.

Оба эти съезда пытались исказить, по-сенатски «разъяснить» логику ленинского нэпа. Революция топталась на месте. Враги начинали злорадствовать, скептики ухмылялись, мужицкий лоб уже хмурился, страна погружалась в трудную думу:

– Что это, неужто опять рецидив?..

Ничего не поделаешь, история не есть беззаботная *парти де плезир* по заранее выработанному маршруту, и меньше всего революция – рациональный процесс. Вспышки рецидива неизбежны, хотя с каждым разом они бывают менее зловредны и более кратковременны.

Пришел конец и нашему «фрюктидору». Как и в дни Кронштадта, на авансцене неуклюже появился лесной наш медведь и внушительным, хотя и пассивным, жестом повернул дело по-своему, поставил на своём. Видно, опять исполнились какие-то времена и сроки.

И гуттаперчевые формулы вновь услужливо запрыгали по всем газетным листам, чтобы свести словесные концы с концами, пригладить шершавые вихры жизни, сохранить нужные рессоры и тормоза.

Да, несомненно: есть смысл подчас даже и в бессмысленных словесных лепетаниях. Рационально бессмысленные, они иррационально целесообразны, служа высшим целям торжествующей жизни.

Если книги имеют свою судьбу, то и слова – тоже. Когда-нибудь трудолюбивый историк поведает нашим потомкам миг-

рацию слова «кулак» в процессе русской великой революции: она стоит того, живописная, красноречивая, саркастическая...

Сначала «кулак» был столь же абсолютно бранным и столь же безмерно широким понятием, как «буржуй». Если буржуи все, кто носит котелок, то кулак – всякий «мелкий хозяйчик»: берегитесь, – в нем сидит Корнилов!

Потом от кулака отроился «средняк». Кулак похудел, но продолжал оставаться всё же очень нехорошим человеком.

Потом – с нынешней осени – принялись подробно «определять» термин «кулак». Плохо быть кулаком, но далеко, мол, не всякий зажиточный крестьянин заслуживает этого постыдного наименования. Определяли долго, тщательно, упорно, со всех сторон. А ведь известно из учебников логики, что «всякое определение есть ограничение». Пределы термина становились все теснее, скромнее, безобиднее.

Теперь, однако, надоела и эта игра в прятки. «Места» слабо усваивали хитрую словесную механику, полезную разве лишь для большой политики, и продолжали чересчур прямолинейно насиловать основные принципы здоровой экономики. И центр, наконец, бросив дипломатические бирюльки, решил действовать напрямик:

– Да здравствует подлинный нэп в деревне!..

*«Если в <19>19 году Лениным был поставлен вопрос о средняке, то в настоящих условиях нам приходится ставить вопрос не только о средняке, но и о кулаке... Мы предоставляем большую, чем прежде, свободу капиталистических отношений в деревне» (Молотов).*

*«При теперешнем развитии, при теперешней нашей политике на допущение рыночных отношений, мы будем в известной мере допускать развитие даже кулака» (Он же).*

*«Наша политика по отношению к деревне должна развиваться в таком направлении, чтобы раздвигались, а отчасти и уничтожались многие ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хозяйства» (Бухарин).*

Мелкий хозяйчик, на почве чётко усвоенного принципа «свобода труду», из врага превратился в первейшего друга:

*«Товаропроизводитель, мелкий хозяйчик, который составляет основную крестьянскую массу, должен чувствовать большую уверенность в обладании теми средствами производства, которыми он пользуется» (Молотов).*

Ещё немного, и мы, пожалуй, увидим, как на могучих хозяйственных грудях заблещут в деревне ордена «Красного Знамени»:

— Героям труда!

Всякому овощу свое время. «Беднота» культивируется ныне разве лишь в качестве газетного заголовка; в природе же бедняк уже отнюдь не внушает излишнего восхищения: *«Скатываться к бедняцким иллюзиям теперь уже нельзя» (Молотов).* Таковы директивы партконференции.

...Словом, в гуще быта скоро того и гляди услышишь бодрые, полнокровные голоса из деревни:

— Да, я кулак, я советский кулак, и горжусь этим!..

— Что если на том свете дух П.А. Столыпина случайно встретится в эти дни с духом Свердлова, или, скажем, Володарского, или Либкнехта?..

Любопытно бы подслушать соответствующий потусторонний диалог...

Но дух Ленина может покоиться с миром: он и впрямь прочно живет и в своей партии, и во всей революции. А значит, можно быть спокойным также и за ту, и за другую.

И, что ещё несравненно важнее, — за Россию. Тому ручательство лозунг жизни, лозунг выздоровления, гениальный крик нутра:

— **Хозяева, обогащайтесь!..**



## Национализация Октября

(К восьмой годовщине)

«Возвращается ветер на круги своя». Россия, по авторитетным свидетельствам, переживает *«последний год восстановительного периода»*, *«рекордный год в деле восстановления нашего хозяйства»* (Каменев). На глазах догорает лихолетье. На глазах «саперы разрушения» преобразуются в «армию строителей».

Над строительством — девиз:

**Мы наш, мы новый мир построим!**

Отличный девиз. Он вливает бодрость в души, будит веру; а зачем и существуют на свете девизы, как не затем, чтобы вливать бодрость в души, будить веру? Верования проходят, вера остается.

«Что сделало революцию? — Честолюбие. Что положило ей конец? — Тоже честолюбие. **Но каким прекрасным предложением была для нас свобода!..»**

Так на закате дней, в одиночестве «маленького острова», вспоминал о своей страшной матери, о великой революции, её не менее великий и страшный сын.

Пусть в этих словах гениального честолюбца много психологической правды. Но психологическая правда исторически нередко оказывается субъективной иллюзией. То, что в сознании самих деятелей тех дней было только **предложением**, история сделала **основным содержанием эпохи**. «Свобода»,

рождённая честолюбием, очень скоро забыла свое родство. И, окрепнув, пошла уверенно гулять по Европе. Предлог стал прологом. Прологом целой огромной полосы жизни народов.

В истории, вообще говоря, часто властвуют «поводы» и «предлоги». Маленькие побуждения больших лозунгов исчезают, – сами лозунги, «прекрасные предлоги», преломляясь в миллионах голов, формулируя миллионы интересов, начинают свою собственную, живописную, чудесную жизнь. Историей, всё-таки, по-видимому, правит не любовь к человеку, а, по термину Ницше, «любовь к вещам и призракам».

Призраки будут жить на земле, покуда жив человек. *«Нет великой ценности, которая не покоилась бы на легенде. Единственный виновник того – человечество, желающее быть обманутым»* (Ренан). Что же, да здравствуют творческие призраки и легенды!..

Впрочем, ближе к теме. Эти восемь лет, полные пожаров и легенд («Мы пустим пожары!.. Мы пустим легенды!..» – Петруша Верховенский), не перестают всё же быть историей. Куда же идёт процесс? Куда смотрит его объективная логика?

Думается, правильное всего основная тенденция современности может быть охарактеризована как **национализация Октября**. Революция входит в плоть и кровь народа и государства. Нация советизируется. И обратно: советы национализируются. «Ближе к массам!» – провозглашает Цека. «Глубже в быт!» – давно призывает Троцкий. Эти лозунги одинаково знаменательны и по одинаковому действенны.

Уходя в быт, погружаясь в массы, Октябрь, как Антей, наливается новыми соками. Оживление советов, рождение «мелкой советской единицы», усиление активности крестьянства, демократизация профсоюзов, неуклонная централизация государственного аппарата в его решающих элементах, успехи национализированной промышленности, заботы о законности, – всё это политические факторы первостепенного порядка. Правда, они действуют медленно, идут «голубиной поступью», но тем вернее их результат. Согласно словечку Ленина, страна «переваривает переворот». «Переворот», входя в обиход, пере-

стает быть переворотом: что нужно было перевернуть, уже перевернуто. И устанавливается новое равновесие.

«Завоевание быта» есть опять–таки процесс двусторонний, говоря учёно, «диалектический». Когда чернильницы выделяются по модели ленинского мавзолея, а скворец и уютная канарейка насвистывают «Интернационал», – невольно начинает мерещиться, что причёсанная буря уже перестаёт быть бурей. Разуливаешься даже как следует различать: когда революция наступает на быт, а когда быт на революцию. Мне самому пришлось этим летом не раз слышать в России, как царский «мерзавчик» величают «пионером», а сороковку – «комсомольцем». Это уже – откровенное, ехидно–торжествующее засилие «быта». Но и оно, что ни говорите – одна из сторон всесторонней «национализации Октября»...

Да, ничего не поделаешь. *«Национальность для каждой нации есть рок её, судьба её; может быть, даже и чёрная. Судьба в её силе... От судьбы не уйдёшь: и из «оков народа» тоже не уйдёшь»* (Розанов, «Опавшие листья»).

Октябрь был великим выступлением русского народа, актом его самосознания и самоопределения. Русский народ «нашёл себя». Но, конечно же, от себя не ушёл. И в мировых, всечеловеческих своих устремлениях, и в онтологии революции, и в её логике, и в её быте – он остался собою, вернее, он **становится собою**, как никогда ещё раньше. Прав Троцкий, утверждая, что «большевизм национальнее монархической и иной эмиграции, Буденный национальнее Врангеля» («Литература и революция»). Восьмилетняя динамика Октября – яркий документ этой непреложной истины.

Сейчас я ничего не оцениваю, ничего не проповедую – я только констатирую. Хороший рецепт преподал в своё время Барер: «не будем никогда подвергать суду революции, но будем пользоваться их плодами». Слева мне часто говорят, что констатирования мои, как «правда классового врага», полезны революции. Тем лучше. Не чувствуя себя ничьим классовым врагом, от души готов послужить революции, чем могу. Каждому свое.

Национализация Октября реально ощутима не только в свете внутренних процессов, наблюдаемых в Советской России. Ещё острее обличается она анализом международного положения СССР.

Программа октябрьской революции была и остается всемирно–историчной и строго интернациональной. В этом её «соль» и значение. В этом её большой исторический смысл, воспетый поэтом:

*Октябрь лёг в жизни новой эрой,  
Властней века разгородил,  
Чем все эпохи, чем все меры,  
Чем Ренессанс и дни Атилл.*

Однако, кроме «программы», революция обладает и «наличным бытием». Одно дело – её «размах», её «конечные цели»; другое дело – её конкретное содержание, диктуемое упрямыми фактами, окружающей средой. Игнорируя дальние цели революции, мы не поймем её роли в широком масштабе времён; закрывая глаза на её пределы, на её наличный облик, мы вообще утратим всякое представление о ней.

С этой точки зрения приходится признать, что истекшие восемь лет достаточно твердо ограничили поле непосредственного распространения и влияния Октября. Он охватил собою лишь Россию, да и то пока в несколько суженных границах. Дальше России революция не пошла. Конечно, она отразится и уже отражается в мире; но отражается косвенно и преломленно, а не прямо и не по задуманному. Отражается примерно так же, как в свое время Великая Французская Революция отозвалась на государствах старой Европы. «Непосредственное воздействие» не удалось. Началось эволюционное просачивание основных революционных идей на пространстве десятилетий.

Советские лидеры сами ясно отдают себе отчет в факте «стабилизации капитализма» на Западе. Отсюда неизбежно меняется и стиль советской внешней политики. Силою вещей она принуждена замыкаться в государственные, национальные рамки. Методы Чичерина теперь всё менее отличаются от обычных приемов мировой дипломатии. И в то же время

с неудержимой неизбежностью Наркоминдел вытесняет собою Коминтерн. Такова обстановка: судя по всему, всерьёз и надолго.

Активность внешней политики Москвы перенесена с Запада на Восток. Здесь осуществляется комбинированное давление всех революционных факторов в далёкой надежде окольным путем зажечь всемирный Октябрь. Но на Востоке даже и самые цели – по крайней мере, реальные, близкие – лишены действительно интернационалистского духа. Задачи советской восточной политики – национальное пробуждение колониальных народов. В нём – наш исторический своеобразный реванш (о, отнюдь не «империалистический»!) за Брест и Версаль, за Ригу и Лозанну. Возможно, что России здесь удастся в известной мере осуществить свою провиденциальную миссию. Но не значит ли это, что и здесь Октябрь фатально национализируется?

Восток – человеческий океан, неисчерпаемый резервуар человеческого материала. Огромны азиатские масштабы. *«Европа – это кротовая нора – говорил Бонапарт Буррьену после 18 фрюктидора; только на Востоке бывают великие империи и великие революции, – там, где живет семьсот миллионов людей»* Поворачиваясь лицом к Азии, Россия включает себя в могущественнейшие токи современного исторического периода.

И Запад начинает чувствовать это, и туманится заботой и тревогой. Словно в нынешних глухих громовых раскатах он уже смутно узнает давнее, знакомое ему «наследье роковое»:

*«После великих потрясений войны, глубоко всколыхнувших социальное равновесие внутри всех стран, всё ещё не миновала опасность революционных кризисов... Упорная пропаганда, субсидируемая и направляемая Москвою, распространяет свои интриги по всему земному шару. Здесь она стремится разжечь социальную ненависть, там – разнуздать националистические страсти, и фактически, под маской Третьего Интернационала, служит развитию национальной русской экспансии на её великих исторических путях. Перед лицом*

*Европы, утомлённой войною и нуждающейся в порядке и труде, московский советизм выдвигает Революционную Церковь, повсюду имеющую своих верных, свои воинствующие организации, и воспалённому воображению, жаждущему идеала, преподносящую мистику мира и всеобщего братства»... («Revue des deux Mondes», 1 декабря 1924 г.)*

И еще:

*«Между планами Ленина и Зиновьева, готовящих триумф Третьему Интернационалу через русскую державу и славу русской державе через Третий Интернационал, – между этими планами и мистическим панславизмом Достоевского, провидевшего в России Третий Рим, призванный возглавить народы земли, – нет существенной непримиримости, даже значительного различия, особенно в области практических действий» («Revue des deux Mondes», 15 июля 1925 г.)*

Что за странный бред? Или уже всё путается в голове испуганного парижанина? Иль уж и впрямь так страшен призрак вездесущей России, многоликой, как Протей или наш былинный Вольга, и всё же единой и равной себе, как Вечная Идея Платона?..

Что же касается методов советской восточной политики, то не нужно быть пророком, чтобы предсказать их неизбежное преобразование, уже на наших глазах начинающееся. Оно повторит, в общем, эволюцию европейской политики Москвы: от Коминтерна к Наркоминделу. По мере стабилизации национальных сознаний у колониальных народов, естественно придется переходить к чисто государственным способам связи с ними, помощи им, влияния на них. Просто потому что именно эти способы окажутся наиболее эффективны. Развитию этого процесса будет, вероятно, способствовать и непрерывное косвенное давление стабилизированного западного капитализма.

«Но, – скажут, – где же национализация, раз упразднена сама Россия? Какая же национализация в интернациональном СССР?»

Острый, серьёзный вопрос. Но, ближе в него вдумавшись, убеждаешься, что он далеко не так страшен, каким представляется с первого взгляда.

Не говоря о том, что даже и «словесно» львиная доля Союза географически занимается **Российской** Федеративной Республикой, – самая **национализация Октября** по существу своему есть процесс, конечно, весьма своеобразный и сложный. Он не есть реставрация старой императорской России и не может ею быть. Не может и не должен.

Национализация протекает многими каналами, по многим желобам. Идет культурно–национальное оживление **народов России**. «Интернационализм» сосредоточивается там, где ему и быть в данном случае надлежит: в сфере **государственности**. Москва – объединяющий государственный центр, и она зорко «стоит на страже». Ученые различают «государственную нацию» от «нации в культурном смысле», а эту последнюю – от «национальности». На наших глазах формируется **советская государственная нация**, а поскольку исторически и политически «советизм» есть **русская** форма, образ «российской» нации, – вывод напрашивается сам собой...

Но «культурно» – оживают «языки, сущие по всей Руси великой». И пусть оживают, освобождённые «интернационализмом». Вряд ли можно теперь настаивать на целесообразности «русификаторской» политики петербургского стиля, стремившейся к непрременному культурному обезличению государственно подчиняемых национальностей. Хорошо, когда происходит **русение**, а не «русификация». Эти понятия нужно и нетрудно различать: первое органично и естественно, вторая механична и насильственна.

Правда, в настоящее время замечается чересчур уже резкая реакция против петербургского «империализма»: вместе с водой словно готовы подчас выбросить и самого ребёнка из ванны. Но эта «готовность» – заведомо теоретична и худосочна: не таков «ребёнок»...

Нехорошо **искусственно подавлять** «языки». Но столь же плохо их **искусственно насаждать**. И в первом, и во втором

случае неизбежен здоровый **естественный** протест жизни. Искусственно воздвигаемые карточные домики имеют свойство рушиться при первом дуновении.

Революционная доктрина побаивается «шовинизма господствующей нации» и склонна иногда препятствовать её культурно–историческому «самоопределению», принося его в жертву даже «выдуманному» культурно–национальным **призракам**. Это – понятные крайности эпохи. Они преходящи, хотя и опасны. Но суть её – не в них.

Конечно, если культурно пробуждаются туркмены или калмыки, – как же не проявлять признаков культурного оживления **русским**? Вчитайтесь в современную русскую поэзию, современную советскую (русскую!) литературу:

*Не нищий оборвыш,  
Не кучи обломков  
Не зданий пепел!  
Россия вся –  
Единый Иван,  
И рука у него –  
Нева,  
А пятки –  
Каспийские степи...  
Красноармейца можно отступитъ заставить,  
Коммуниста сдавить в тюремный гнет,  
Но такого – в какой удержатъ заставе  
Если такой шагнет?!*

**(Маяковский, «150.000.000»).**

Но, шагая, он, однако, влечёт за собою и всю ту пёструю, красочную, прекрасную фалангу народов, которых судьбы связались историей с его великой судьбой. Больше того: он сам, этот огромный «Иван», несёт теперь в себе самом эту нарядную фалангу. И на плечах – знамя: СССР..

Полнота – в разнообразии, а не в исключительности. Интенсивность жизни, привлекательность жизни – в её богатстве. Пусть в рамках единой государственности, проникнутой твёрдым сознанием спасительности своего исторического единства, цветут и пенятся разномастные, многоцветные



обычаи, привычки, нравы, «культуры». Пусть идёт свободное и дружное их состязание: жизнеспособные устоят, немощные растворятся, приобщатся к сильным. Вызывая к бытию свободное проявление, живую игру многообразных культурно–национальных содержаний народов исторической России, **Октябрь и здесь переживает свою, историей продиктованную национализацию.**

Будем же думать о ней, бодро слушая сегодня полные легенды и веры, торжественные звуки октябрьского гимна, Интернационала!..

# ***Интеллигенция и народ в русской революции***

## **I. Интеллигенция и революция**

### ***1.***

Мало–помалу приближается время духовного осознания русскою мыслью великого кризиса нашей истории. Всё чаще и чаще русская революция становится предметом серьёзного исследования, углублённых дум. Разбитая и разгромленная в ней русская интеллигенция стремится постичь её природу, уяснить корни своего поражения. Как это всегда бывает, мысль, отброшенная с пути непосредственного действия и активной работы, уходит в сферу общих основ, размышлений и принципов, проясняющих сознание и обогащающих национальную культуру. Может показаться, что русская интеллигенция как бы вновь возвращается к своей традиционной роли. К мысли она привычней, чем к действию. Но в то же время великое революционное действие, живой, хотя и страшный опыт пережитых лет, оплодотворяя мысль, сулит ей действенность, способствует творческому перерождению самого организма русской интеллигенции, тесно приобщившейся к государству российскому, в эти четыре бурных года привившей себе терпкие соки государственности. Её думы

уже становятся существенно иными и по характеру, и по содержанию.

Мы говорим об интеллигенции, разумея под нею то её большинство, которое ныне идеологически противопоставляет себя официальной доктрине русской революции на современной ступени её развития. Но было бы правильнее сказать, что **сама русская революция есть прежде всего борьба русской интеллигенции с самой собой**. И большевизм, и его политические противники – одинаково порождены историей нашей общественной мысли. И тот, и другие черпают свои кадры из рядов русской интеллигенции, являясь как бы её Белым и Голубым Нилом. По двум большим руслам протекает процесс духового самоопределения русского «культурного слоя», и оба эти русла, каждое по-своему, глубоко извилисты, многомотивны, неровны. Оттого и потоки, по ним бегущие, так напоминают собой водопады.

## 2.

В большевизме исконный радикализм русской интеллигенции причудливо сплетается сначала с характерным бунтарством, а потом – с исконной «пассивностью» русского народа. Пусть первые дни «свободы», казалось, хотели засвидетельствовать собою, что интеллигенция преодолела свой радикализм, а народ – как бессмысленное бунтарство своё, так и свою вековую пассивность: министры переворота твердили о патриотизме и государственности, а облечённый в солдатские шинели и рабочие куртки «народ» отказался от «родного долготерпения», проявив волю к какому-то сознательному, организованному «действию». Но это была только мгновенная видимость. На самом деле, крушение русского «государства» могло лишь с наглядною очевидностью обнаружить основные качества обоих элементов русской «земли» – «народа» и «общественности». Предоставленные самим себе, лишённые опеки, уже в процессе «свободного кипения» должны были эти элементы изжить свои «опасные для жизни» свойства, и вновь создать – изнутри, из себя – великую броню госу-

дарственности, взамен обветшавшей и распавшейся в прах. Такая задача, естественно, не могла быть осуществлена легко и безболезненно. Она решается в муках. Не решена она ещё и доселе, поскольку длится ещё состояние революции.

Петербургский абсолютизм, убитый мировой войной, оставил после себя не взрослого наследника, а лишь беременную вдову в лице Государственной Думы. Под шум крушения вековых связей она родила недоношенное дитя – Временное Правительство, – облик которого как две капли воды напоминал собою думское большинство (оппозиционный «блок»), а колыбелью которого стала русская вольница, лишённая узды и получившая возможность до конца проявить свою природу. Оно зажило – это неудачное дитя – жизнью взбудораженной страны, с каждым месяцем всё беспомощней отдаваясь стихии, пока стихия его не поглотила без остатка...

В этом сказалась историческая закономерность. Чуждая непосредственным стремлениям народных масс и бессильная ими руководить, безвластная мартовская власть во всех своих вариациях оказалась вместе с тем чужда и подлинной логике революционной идеи, выношенной поколениями русской интеллигенции. Большевизм не только сумел вовремя учесть стремления масс, – он пришел безоговорочно исполнить и заветы истории русской интеллигенции.

Ростки своеобразного «большевизма» проявлялись на протяжении всей этой истории – от Радищева и особенно от Белинского до наших дней. Фанатическое, **религиозное** преклонение перед материальной культурой и материальным прогрессом подготовило активно материалистический культ октябрьской революции, а систематически воспитываемое недружелюбие к началам нации и государственности («враждебный государству дух») привело к безгосударственному космополитизму идеологии интернационала. История русской интеллигенции, развивавшаяся, как известно, в условиях исключительно неблагоприятных, представлявшая собою, по выражению Герцена, «или мартиролог, или реестр каторги», – не способствовала воспитанию уравновешенных и трезвых характеров. Вместе

с тем, длительная невозможность практической деятельности в сфере государственно–политической воспитала в широких интеллигентских кругах одностороннюю «теоретичность», безграничную влюблённость в крайние утопии, в отвлечённые «идеалы». Ведь известно, что прекраснодушие и максимализм – верные спутники бездействия и конспирации.

*Если к правде святой,  
Мир дороги найти не сумеет, –  
Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой!..*

Жили, как в сне золотом... Жили миражами, тем более прекрасными, чем безотраднее представлялась окружающая действительность. И не хотели в этой действительности видеть и крупиц добра. И не хотели её совершенствовать, – мечтали её сокрушить. И тогда... «жизнь станет такой прекрасной»... Всё новое, радикально новое, – «новый мир». На меньшем не мирились.

Пусть велики, гениальны, «всечеловечны» были многие представители нашей интеллигенции, – в общем, в массе своей она была изуродована, искалечена до мозга костей. Да и гении её отражали нередко своеобразный склад её духовных устремлений, по–своему интересный и привлекательный, но мало обещавший русской государственности, русской державе, **как таковой**. И это очень знаменательно, что та часть нашего культурного слоя, которая приобщалась вплотную русскому **государству** (линия Сперанский – Столыпин), даже и не считается у нас, как известно, принадлежащей к «интеллигенции». И немало труда потратили всевозможные Ивановы–Разумники, чтобы этот взгляд превратить в «научную истину»...

Первая революция конкретно обнаружила опасность. Под покровом дряхлеющей власти шевельнулся хаос, мелькнул смутный облик бездны. И уже тогда, после первых революционных опытов, наиболее чуткие из тех, кто были властителями дум своего поколения русской интеллигенции, стали сознавать тупик, к которому она пришла. Уже тогда её авангард суровой критике подверг её прошлое, решительно осудил её

традиционный путь, её «большую дорогу», сжёг многое, чему поклонялся, поклонился многому, что сжигал. Конечно, тут прежде всего надлежит сослаться на знаменитые и пророческие «Вехи», появившиеся в 1909–м году.

Но то был лишь авангард. Его осмеяли, его, разумеется, заподозрили в «реакционности», его немедленно отлучили от интеллигентской церкви, а вся армия, вся масса интеллигентская осталась при прежних своих верованиях, столь красочно разоблачённых одиозным сборником.

Поверхностный, банальный и устаревший позитивизм в качестве основы «общего мирозерцания», наивная религия прогресса в духе Конта и Фейербаха, кичащаяся маркой квалифицированной «научности», некритический утилитаризм в этике («человек произошёл от обезьяны, а потому... люби ближнего своего») и, как социально–политическое завершение, непременно – социализм, коммунизм в роли рая на земле... И в этот комплекс ограниченных, сумбурных идей вкладывали великий идеализм упований, жертвенные порывы веры и любви.

Поколениями воспитанные в ненависти к власти, мы приучались отождествлять правительство с государством и родиной. Все духовные ценности – религию, мораль, искусство – мы привыкли расценивать по их внешним «проекциям», по их «общественно–политическим» выводам. Нет ничего удивительного, что от такой расценки мы перестали воспринимать и ценить всё действительно ценное, всё, что не поддаётся плоскостному измерению. Само собою разумеется, что понятие «национального лица», как ускользавшее от такого измерения, было объявлено «мистической выдумкой», а принцип национальной культуры провозглашен «реакционным» и «шовинистическим». Самый термин «национализм» стал у нас бранным словом. За роскошью факта великодержавия притуплялся в стране великодержавный инстинкт. *«Мы жили так долго под щитом крепчайшей государственности, что мы перестали чувствовать и эту государственность, и нашу ответственность за неё»* (П. Струве. «Размышления о русской

революции»). В конце концов мы превращались в каких-то Иванов-непомнящих, людей без отечества, оторвавшихся от родной почвы. «Высокие идеалы», нас питавшие, придавали лишь отвлечённую моральную высоту нашим настроениям и поступкам, но не способствовали их действительной плодотворности и не животворили их творческим духом. Государственность при таких условиях постепенно превращалась в оболочку, лишённую жизненных корней и связей. Государственность вырождалась, превращаясь в омертвевшую шелуху.

Лишь подлинно великое потрясение могло бы излечить русскую интеллигенцию от её тяжкой болезни. И вот пробил час этого великого потрясения.

### 3.

Империя, когда-то вздёрнувшая Россию на дыбы, а затем пропустившая время умело «ослабить поводья», – рухнула. Начальство ушло, и у государственного руля в трагичнейшую минуту нашей национальной истории внезапно очутилась сама русская интеллигенция – со всеми её навыками, со всеми её идеями, со всем её прошлым.

Я никогда не забуду одного московского впечатления тех весенних, мартовских дней, первых дней свободы. Оживлённая, радостно гудящая улица. Среди бесконечных грузовиков с солдатами, весело приветствовавшихся толпой, вдруг появились два или три силуэта, вызвавшие повсюду особенный восторг, усиленные приветствия, исключительно бурный энтузиазм. Умилённый, прерывающийся шепот слышался повсюду по мере их приближения: – «это из тюрьмы, освобождённые узники, еще 905 года, и раньше...» И пели марсельезу – тогда ещё «Интернационал» не приехал, – и самозабвенно кричали «ура»...

Автомобили поравнялись со мною, и я увидел этих людей. Каким-то странным и в то же время уместным, волнующим контрастом выделялись они на фоне всеобщего торжества и весеннего опьянения. Бледные, исхудавшие, «прозрачные» лица, большинство ещё в арестантских халатах, – глаза бле-

стящие, словно ослеплённые неожиданным светом, устремлённые поверх толпы, поверх действительности, куда-то вдаль, в пространство, и даже за грани пространства –

За пределы предельного,  
В бездну светлой безбрежности.

«Исступлённые», – как их гениально определил в свое время Достоевский...

Из тюрьмы, из мрака многолетнего заключения, они сразу устремлялись на вершины политической власти. Из Бутырок при радостных криках толпы они проехали прямо в Кремль.

#### 4.

История вручила им судьбу России. С каторги, из недр сибирских захолустий, из душных эмигрантских кофеен Парижа и Женевы, с восточных кварталов Нью-Йорка – отовсюду потянулись к русским столицам любимые сыны русской интеллигенции, её герои и мученики, в борьбе обретшие, наконец, право своё. И лозунги подполья превратились в программу власти.

Правда, в течение первых недель февральско-мартовского переворота эти лозунги подпольных людей ещё выдержали краткую борьбу с теми группами русской общественности, которых опыт первой революции и великой войны уже успел несколько отклонить от ортодоксального символа интеллигентской веры. Но и здесь, как в эпизоде с «Вехами», победила традиция, – да и сами новаторы, впрочем, оказались весьма сговорчивыми, нетвёрдыми в своем «ревизионизме»: недаром же непротивленческое правительство князя Львова выслало почётный караул навстречу Ленину после его эффектного переезда Женева – Берлин – Петроград...

Крушение Временного Правительства обозначило собою кризис не только исторический и политический, но и внутренний, идеологический. Соприкоснувшись с государством и остро почувствовав свою ответственность за него, широкие круги интеллигенции принялись за пересмотр своего поколениями накопленного политического багажа. Но было уже



поздно, и логика жизни, отбросив колеблющихся, вызвала «последовательных до конца». В этом сказалась не только естественная закономерность событий и процесса идей, – тут проявился глубокий и разумный смысл совершающегося. Кризис интеллигентского мирозерцания должен был быть углублен, «пересмотра» одной только **политической** идеологии было недостаточно. Началось с политики, – перебросилось во «внутрь», в царство духа. Сама политика от «мелких дел» перешла к широким масштабам, дерзновенным претензиям, подлинно «новым словам». Разверзлись духовные глубины, обнажились «последние» вопросы, полные всемирно–исторического значения и смысла. Грянула **великая революция**.

«Великой» она стала лишь к ноябрю 17 года. *«В марте мы слышали только революционный лепет медового месяца и видели только робкие шаги родившегося общественно–политического обновления, – буря пришла потом, и только на мрачном и зловещем большевистском небе засверкали ослепительные зарницы»* (Б.В. Яковенко, «Философия большевизма»).

Углубление революции совершалось с чрезвычайной быстротой. Мы видели, как облекались плотью и кровью давние фантазии русской интеллигенции, как жизнь от Рылеевской «Полярной Звезды» и Герценского «Колокола» перебрасывалась к Добролюбовскому «Свистку», а от него – к Ткачевскому «Набату». Мы пережили на пространстве нескольких месяцев какое–то магическое «оживотворение» истории русской политической мысли – от идей декабристов, от либерализма западников и славянофильского романтизма до нигилистических отрицаний шестидесятников, до утопий Чернышевского, до французских и немецких формул Бакунина. Слушали Рудиных, созерцали Волоховых, – болтали Степаны Трофимовичи, а вот пришло и младшее поколение, тут и Шигалевы, и Верховенские: «мы сделаем такую смуту, что всё поедет с основ...» А рядом тут же – андреевские «Семь повешенных» с исповедью человеколюбцев–убийц: –

Мою любовь, широкую как море,  
Вместить не могут жизни берега...

Всё это странно воскресло в подновлённом, модернизированном наряде. И разразилось великим дерзновением, неслыханным, вдохновенным размахом... Страшный суд пришёл — суд над духом и плотью русской интеллигенции.

И вот она увидела воплощёнными мечты свои в их крайних выводах, в их предельно последовательном и чётком выражении. Она реально ощутила неизбежный конец своего пути в изображении ярком и красочном, как был сам этот путь. Она познала плоды дум и дел своих.

Волевые, бесстрашно верные себе её элементы грозой и бурей воплощали прошлое её в настоящее. «Монахи воинствующей церкви — революции», они не испугались никаких инквизиций для реализации «золотого сна». Но масса, но «армия» интеллигентская содрогнулась. Эти реальные образы жизни показались ей страшными и безумными, и с ужасом отшатнулась она от них. Почувствовала, жизненно постигла всю ту бездну духовной опустошённости, в которой прежде видела высший закон мудрости. И когда погасли в её сознании традиционные «светочи», её ослеплявшие, — в наступившей тьме засияли светила подлинных и глубоких ценностей, ей прежде чуждых и далёких. На этот раз уже широкие массы её и рядовые представители познали необходимость того коренного «пересмотра идеологии», который за 10 лет был предугазан её авангардом: заговорила тоска по государству, тоска по отечеству, тоска по внутреннему, духовному содержанию жизни.

Но её воплощенное прошлое не простило её отступничества. Вызванное к жизни и к власти, в своеобразном единении с пробуждённой народной стихией, оно потребовало её к ответу. Произошла трагическая борьба, в которой восставшая против самой себя, против своей истории, армия русской интеллигенции была разбита наголову. И вот снова она — словно в стане страждущих и гонимых, и опять её жизнь — или мученичество, или реестр каторги.

Но всё же, эти новые муки — объективно осмысленнее, хотя, может быть, внешне, материально, они и более ужас-

ны, а по обстановке своей более трагичны, чем прежние. Но эта трагичность – возвышающая, плодотворная. Уже нет в них той убийственной драмы, той безысходной внутренней порочности, пустоты, которая была в тех, в прошлых. Эти страдания – очищающие, эти жертвы – искупительные. Ими все мы, круговую порукою связанные русские интеллигенты, искупаем свою великую вину перед родиной. Ими мы воскреснем к новой жизни.

Поймем ли мы только это **до конца**? Удержимся ли от рецидива своих прежних настроений? Было бы верхом бессмыслицы и ужаса, если б в результате новой борьбы русская интеллигенция заболела своим старым радикализмом – дурною «революционностью наизнанку»! Если бы борьба в её сознании, как прежде, превратилась в самоцель!..

## II. Народ в революции

*Революция  
царя лишит царева званья,  
Революция  
на булочную бросит голод толп.  
Но тебе  
какое дать названье,  
Вся Россия,  
смерчем скрученная в столб?..  
**Маяковский.***

### 1.

Крушение старого порядка произошло у нас под непосредственным влиянием войны. Русское государство зашаталось от ударов извне, и февральско–мартовский взрыв лишь добил его. Государственная Дума бессознательно и невольно способствовала крушению русского государства, духовно подготавливая революцию в наивной уверенности, что революция усилит обороноспособность страны. *«Когда в Государственной Думе гремели речи против правительства, ораторы Думы*

*не отдавали себе отчёта в том, что совершалось вне Думы, в психике антигосударственных элементов и в народной душе. Просто большая часть русского интеллигентного общества не понимала народной психологии и не учитывала трагической важности момента»* (П. Струве, «Размышления о русской революции»). Теперь, в исторической перспективе, это становится совершенно ясным<sup>1</sup>.

Революция быстро разошлась с официальной идеологией своих первых дней. Её зачинатели повисли в воздухе, оторвавшись от исторической русской государственности и не пристав к «Земле», вдруг оставшейся без «Государства»...

Но тут-то и начинается глубоко плодотворный, хотя и бесконечно мучительный процесс воссоздания из пепла «новой России», о которой многие любили говорить, но которую мало кто чувствовал и сознавал конкретно.

Страна была «предоставлена самой себе». В политическую жизнь стали непосредственно втягиваться широкие массы, захотевшие самостоятельно устраивать свою судьбу. С самого же начала они заявили себя чуждыми национально-государственной идеологии Временного Правительства, мыслящего революцию в классических категориях благонамеренного «конституционного права западных держав». Эта разумная, головная, многоуважаемая революция – с первых же часов была «в опасности», неудержимо хирела с каждой неделей, чтобы в октябре приказать долго жить. Настоящая же, реальная, жизнью воспитанная революция развивалась далеко не «улыбчиво», а шершаво, коряво, часто нелепо, но зато становилась действительно всенародной, захватывающей всех и вся...

Налетел страшный вихрь, отозвавшийся в последней деревенской избе, в последней хибарке городских окраин. История

---

<sup>1</sup> Любопытно отметить, что П.Н. Милюков до сих пор не хочет сознаться, что уверенность в патриотической спасительности революции была ошибочной, а стало быть была ошибочной и тактика, на ней построенная. См. по этому поводу главу «Война и революция» в т. I его «Истории второй русской революции».

объявила смотр всему русскому народу в его собственном лице. Вопреки первоначальным планам и предположениям, процесс подлинной и наглядной «демократизации» движения неуклонно развивался, стремясь дойти до своего логического предела. Временное Правительство попало в чрезвычайно фальшивое положение, выйти из которого оно могло бы, лишь перестав быть самим собой: доктринёрски связывая себя с «народною волей», оно на самом деле («субстанциально») было ей чуждо, и добросовестно, но близоруко способствуя её выявлению, оно роковым образом подрывало основу своего бытия. Февральский переворот лишь убил старый порядок, но взамен его не дал стране ничего, кроме формальной «возможности самоопределения».

И это самоопределение началось.

## 2.

Знаменитая «деморализация» фронта и всей страны в конце 17 года была не чем иным, как первым актом «народного самоопределения» в революции. «Пусть будет так, как хочет народ», — упорно твердило правительство Керенского. И дождалось ответа... в октябре.

Народ, несомненно, хотел «мира, хлеба и свободы». И, превратившись в «кузнеца своего счастья», стал их добывать, как умел: бросал фронт, «грабил награбленное», жёл и громил поместья, предавался разгулу и праздности. Тут-то вот и произошла своеобразная встреча народных масс с наиболее бесстрашными, активными и «верными себе» элементами русской интеллигенции, — и «марксова борода» вдруг причудливо сочеталась не только с бакунинским сердцем, но и с мужичьим зипуном...

«Разбить государственный аппарат», «сломать машину государственного принуждения» (Ленин, «Государство и революция») — эта задача ставилась сознанием «революционного авангарда» интеллигенции и охотно осуществлялась стихийным порывом почуввавших волю и утративших чувство родины широких народных масс. Прав Уэллс, утверждая, что

в октябре 17 года большевики захватили власть уже «не над государством, а над тонущим кораблем». За восемь месяцев смуты страна в корне разрушила государство и представляла собою сплошное анархическое море бурлящих народных инстинктов, стремлений, переживаний. **Но эта анархия была глубоко национальна**, несмотря на свою смертельную опасность для державы российской, и **в ужасном кровавом хаосе зарождались основы нового народного самосознания и новой государственной жизни.**

Корабль исторической русской власти, действительно, потонул. Но, что особенно знаменательно и существенно, — вместе с собою старый порядок увлѣк в бездну не только то дворянское «служилое сословие», которое было его опорой, но и ту «интеллигенцию» (в её массе), которая стояла по отношению к нему в традиционной и хронической оппозиции. Антитеза, внесѣнная в русскую историю петровским переворотом, оказалась «снятой» в её обоих элементах. Петр был одновременно отцом и русской государственной бюрократии, и русской интеллигенции. И вот пришло время, когда не только старую бюрократию, но **одновременно** и старую интеллигенцию постиг неслыханный погром. Шингарев встретился в петропавловском тюремном коридоре с Щегловитовым, в Виктор Чернов в эмиграции — с Марковым Вторым. В страшной национально–революционной конвульсии погибли оба врага, — и с их исторической смертью кончился и «петербургский период» русской истории.

Рупором революции явились большевики — тоже несомненные русские интеллигенты и, как мы уже видели, наиболее правоверные, наиболее **русские** и по складу ума, и по темпераменту. Но именно в них и произошел тот решительный, органический кризис интеллигенции, который один только был способен вывести её на широкую творческую дорогу. **В большевиках и через большевизм русская интеллигенция преодолевает своё историческое отщепенство от народа и психологическое отщепенство от государства.** Преодолевает диалектически, изнутри, силою критики исторического опыта.

Рабоче–крестьянский бунт требовал соответствующей, подходящей к нему «идеологии». Новая пугачёвщина искала лозунгов и нашла их у группы большевиков–интеллигентов, не только не испугавшихся анархии, но «приявших» её до конца и даже стремившихся её углубить, дабы потом по–своему руководить её самоликвидацией. И случилось чудо: в момент народного «пробуждения» исчезла вековая пропасть, нашёлся общий язык между народными массами и квинтэссенцией революционно–интеллигентского сознания. Но как только это произошло, – «старая интеллигенция», как таковая, уже фатально оказалась в стороне от жизни, за бортом истории. Не понимая событий в их подлинном значении, утратив перспективу, она ушла в небытие.

Народ сам, в лице своих активных элементов, становился властью. Как только пало Временное Правительство, немедленно начался знаменитый «саботаж» интеллигенции, психологически неизбежный, но политически ошибочный и исторически обречённый, – и большевики в силу необходимости ещё теснее и непосредственнее связали себя с чисто «народными» кругами, опёрлись на них. Правда, сначала это был по большей части «сброд», низы деревни и города, но тогда именно эти низы были характерны для конкретного устремления народной воли. Да и вообще говоря – разум истории менее брезглив, нежели индивидуальная человеческая совесть, и часто пользуется самыми непривлекательными руками для самых высоких своих целей... Современники имели удобный повод применить к России тех дней характеристику революционной Франции у Тэна: *«подчинённая революционному правительству страна походила на человеческое существо, которое заставили бы ходить на голове и думать ногами»*<sup>21</sup>.

<sup>2</sup> «Происхождение современной Франции», т. IV. Для усиления красочности и удовольствия современников могу привести ещё одну цитату из Тэна (т. III): *«Таковы те политические элементы, которые, начиная с последних месяцев 1792 года, управляют Парижем, а через Париж и всю Францией: пять тысяч зверей или негодяев и две тысячи падших женщин, которых хорошая полиция свободно могла бы выгнать, если б нужно было очистить столицу»*. Тэн при этом почему–то умалчивает, что для умирения этих

Быт эпохи был ужасен и отвратителен. Но правительство бесспорно приблизилось к народу, зажило его соками, стало от него зависимо и ему доступно. С своей стороны, народ, привыкший безмолвствовать, учился властвовать, сознавать свои интересы и свои возможности. Угнетённым «классом» оказалась интеллигенция старого типа, над которой сбылись вещи слова Гершензона из «Вех»...

По существу своему интернационалистская и коммунистическая идеология большевизма в её ортодоксальном выражении имела, конечно, весьма мало общего с духовным миром русского народа. Но к народу большевики были обращены не своими марксистскими схемами, а своим бунтарским духом, своим пафосом предельной правды и своими соблазнительными социальными лозунгами. Отсюда та плоть и та кровь, в которые вдруг облекла русская революция концепцию революционного Интернационала. Но отсюда же и несомненно **русский** стиль московского осуществления этой по замыслу своему отвлечённо интернациональной концепции. По мере развития революции «серая теория» растворялась и преодолевалась себя в «зеленом дереве жизни»...

Аппарат власти в стране переходил к людям из народа. Деревенские комитеты бедноты (потом «середняков»), советы депутатов, комиссары из рабочих, крестьян и вездесущих матросов – всё это явилось на смену правившего дворянства и «специалистов» из интеллигенции. Ясно припоминается, сколь странное, дикое впечатление производили тогда наши государственные учреждения в столицах... На первое время это экзотическое «народное правление» лишь санкционировало, даже поощряло анархию. Большевизм, восторжествовавший милостью стихии, творил волю сил, обеспечивших ему победу. Доламывался старый государственный механизм, и «новый мир» заявлял о себе прежде всего тем великим «духом разрушения», который уже давно был признан его русским апостолом за «творческий дух»...

---

«политических элементов», готовых пасовать перед «хорошей полицией», оказалось мало вооруженных усилий всей Европы.



3.

Но долго так длиться не могло. Анархия, исполнив отрицательную миссию, не давала осуществления народным чаяниям и превращалась неизбежно в войну всех против всех. В горении ненависти народ не находил желанного покоя и в факте своевольной разнузданности ожидаемого жизненного благополучия. *«Несчастье в том, что, желая убить богатого, убивают бедного»* (Бюзо). Не было ни настоящего мира, ни обеспеченного хлеба, ни действительной свободы. В стране наступало тяжкое, но плодотворное разочарование. Лишённый исторической опеки Государства, народ остро почувствовал необходимость в порядке и твердой власти. Он учился горьким опытом, и на самом себе познавал результаты безначалия и своеволия. И «начальство» зрело в его собственных недрах...

В русской душе рядом с инстинктами анархического бунтарства (отрицательно связанными с повышенным чутьем предельной правды) искони уживалась воля к здоровой государственности большого размаха и калибра. Быть может, тем твёрже и действенней была эта воля, что для торжества своего ей приходилось преодолевать не только внешние исторические препятствия, но и неумолчную внутреннюю самокритику. Патриарх Гермоген и нижегородские вожди лишь закалили идею государства, пронеся её сквозь огонь казачьей вольницы, а Медный Всадник не только попирал своим конём змею старой дореформенной жизни, но и высился над актуальными, неизбывными туманами петербургского периода.

Русский народ – народ глубоко и стихийно государственный. В критические минуты своей истории он неизменно обнаруживал государственную находчивость свою и организаторский разум. Проявлял несокрушимую упористость, умел выдвигать подходящих людей и выходил из исторических бурь, на первый взгляд губительных, здоровым и окрепшим. В петербургскую эпоху созданное им государство даже обогнало в сфере своих державных претензий внутреннее его самосознание («государство пухло, а народ хирел» – В.О. Ключевский).

чевский), что в значительной степени и обусловило великую военную катастрофу наших дней. Но и разрушив конкретную форму своего государственного бытия, под конец утратившую жизненные соки, он не мог перестать и, конечно, не перестал быть государственным народом, и, предоставленный самому себе, затосковал по государственности в бездне анархии и бунтарства. С этого момента в революции происходит внутренний перелом, анархия изнемогает и начинается процесс «собирания и воссоздания России».

Однако уже не в категориях «старого мира» протекает этот процесс, а в атмосфере **реально новых заданий и предвестий**. Государство нужно, необходимо преображающейся России не как отвлеченная самоцель, а как средство выявления некоей всемирно–исторической истины, ныне открывающейся человечеству ярче всего через русский народ и его крестные страдания. По внутреннему своему смыслу эта истина переливается за грани обычного понятия государства и нации, установленного текущим периодом всеобщей истории. Острее, чем когда–либо, чувствуется, что старые пути человечества уже исчерпали себя и остановились у тупика. И если было нечто символическое в русской революционной анархии, в русском уходе от войны и «неприятии победы», то ещё более вещим смыслом проникнута русская революционная государственность с её неслыханной философско–исторической программой и с её невиданным политико–правовым строением...

И вот, в «поядающем огне» русской революции мир вдруг начинает различать образ пробуждённого русского народа во всем его «всечеловеческом» величии. Революция переходила от отрицания к творчеству, к выявлению заложенных в ней национально–вселенских возможностей. Социально и государственно оформляясь, она раскрывала человечеству своё «большое слово». В хаосе несравненных материальных разрушений повеяло дыханием Духа. И с каждым днем ощущается это дыхание всё живее и явственней, и многие уже слышат его.

*«Ныне пробил час всестороннего и всеисчерпывающего европейского и мирового выступления русского народа. В поднятой им всепотрясающей революции он разом сменил прежнюю свою пассивную позицию на активную и со всем своим большевистским темпераментом, со всем багажом своих крайних и глубоких переживаний вышел на мировую арену»* (Б.В. Яковенко, «Философия большевизма»). Международно-правовой «провал» России совпадает с её всемирно-историческим торжеством. *«В том правда, что «исчезнувшая» Россия сильнее и пророчественнее стоящего и устоявшего Запада... В своем особом рода «небытии» Россия в определённом смысле становится идеологическим средоточием мира»* (Сборник «Исход к Востоку», статьи П. Савицкого и Г. Флоровского<sup>31</sup>).

Начался процесс созидания действительно «новой» России. Изнутри, из себя рождал народ свою власть и своё право, своё подлинное «национальное лицо», — в страшной борьбе с самим собой. Он не только учился властвовать, — ему нужно было научиться и сознательно повиноваться. В мучительных, потрясающих борениях изживало себя всенародное бунтарство, сломленное лишь в обстановке высшего развития революции. Но, быть может, ещё более мук и тягостных усилий стоило русскому народу сохранять в революции свою «активную позицию» и после преодоления первоначального бунтарства. Конец анархии грозил естественным рецидивом его былой пассивности, осложнённой и углублённой усталостью от пережитой болезни. Однако через власть, выдвинутую им в революции, он неутомимо боролся с опасными своими качествами, доселе, впрочем, им ещё не вполне изжитыми, и реально зафиксировал момент своего максимального напряжения, претворив его в неопровержимый отныне факт революционного правительства, удивившего мир, при всех безмерных своих недостатках и ошибках, стихийной своею яркостью.

---

<sup>3</sup> Этот сборник «Исход к Востоку» (София, 1921) должен быть признан одним из интереснейших документов современной русской мысли, оплодотворённой великой революцией.

Так новая Россия обрела и обретает себя. Процесс ещё не завершён, ещё глубоки её страдания и внешние унижения – но контуры её преобразующегося лика уже обрисовываются. Они очень сложны, ибо «новая жизнь» несёт собою слишком много итогов, сливающихся в единое начало, в единый исходный пункт. Эта «новая жизнь» – результат всей русской истории и всей истории русской культуры. В ней – синтез московской и петербургской России, встреча народа с интеллигенцией, пересечение славянофильства с западничеством, марксизма с народничеством. В ней – великое обетование и великое национальное свершение.

По своему социологическому и духовному смыслу становящийся облик молодой России глубже и значительнее официальных канонов революции, во многом даже им противоположен. Но они верно передают его мировой, **вселенский** характер, масштабы его очертаний. Эти масштабы запечатлеются историей, сколь далеко бы ни зашел процесс неизбежного «отлива» после гениально–безумного напряжения наших дней. Вместе с тем кристаллизуются и непосредственные результаты кризиса в душе русского народа. Медленно, но непрерывно его самоопределение в революции вливает новое содержание и в её официальные формулы, постепенно преобразует и самую власть. Марксова борода по–своему усваивается, но и «переваривается» русской действительностью, логическая и психологическая пестрота революционной весны «утрачивается», приобретая цельный стиль и единое культурно–национальное устремление. Всероссийской пугачёвщиной разрушивший историческое русское государство, народ приходит к осознанию новой, своей государственности. Бросивший равнодушно и злорадно фронт войны «старого мира» накануне небывалой славы, разбив вдребезги бывшее своё великодержавие, – он загорается пафосом нового патриотизма и в исканиях правды вселенской обретает **своё**, близкое ему, глубоко выстраданное отечество. В сокрушительном порыве своем соблазнившийся приманкою материальных благ, обманом бездны животной, – он, нищий, голодный и в рубище,

вскрывает перед лицом человечества величайшие проблемы духа, в жертвенном экстазе творит неслыханные духовные рубежи. Он превращает Россию подлинно в радугу нового мира, «выводит её в полноту истории» (Достоевский), словно оправдывая старые слова её поэта, обращенные к ней:

О, недостойная избранья.

Ты – избрана!..

# **Кризис современной демократии**

*Под этим общим заголовком я объединяю четыре свои статьи, написанные в разное время, но связанные единством основной темы. Если некоторые отдельные, конкретные утверждения статьи «Шестой октябрь» в настоящее время могут считаться устаревшими, даже ошибочными, общий смысл как этой статьи, так и остальных трёх, мне кажется, остаётся вполне свежим и теперь.*

## **I. Старорежимным радикалам**

За последнее время часто приходится выслушивать и вычитывать нападки на нашу идеологию, исходящие из лагеря неисправимых демократов, доселе живущих «светлыми идеалами русской интеллигенции». Нападки эти, конечно, обличают в нас прежде всего «реакционеров», славянофилов, сторонников К. Леонтьева и т.д. Нападающие очень довольны, что получили возможность оперировать старыми этикетками, и усердно нацепляют их привычными руками. Разумеется, преобладающую роль в этом деле играют правые социалисты и кадеты–милюковцы (ср., например, статью г. Мирского «Приходящие справа», по поводу моих «Фрагментов» в «Последних Новостях» от 8 июня).

Сейчас мне хочется отметить лишь один момент в такого рода критике: **момент прямо–таки чудовищного консерватизма, присущего русским радикалам.** Притом консерватизма наиболее бесплодного, узко формального, того самого, который столь блестяще был развенчан старыми «Вехами».

Казалось бы, крушение исторической России и сотрясение исторической Европы заставит русскую интеллигенцию задуматься о себе самой, о своей горькой судьбе, переоценить многие из ценностей, казавшиеся десятки лет незыблемыми. Иными глазами взглянуть и на своих традиционных властителей дум, иными глазами взглянуть и на государство, и на национальную культуру, и на вождей «одиозной» линии русской мысли: Достоевского, Данилевского, Леонтьева... Несколько иначе отнестись, страшно вымолвить, даже и к таким историческим фигурам, как Иван Грозный...

Казалось, что потрясающий опыт революции привёл большую дорогу русской интеллигенции к обрыву, в котором она обретёт целительный «кризис сознания», благодетельный «катарзис».

Вместе с тем так ясно чувствовалось, что революционный огонь переплавил все бывшие наши политические категории, что смешно и нелепо теперь оперировать старыми журналами, упиваться трафаретами «правизны» и «левизны», молиться на опустошённый алтарь отвлечённого, формального «народоправства» и в заветах французской революции по–прежнему усматривать всю «суть глубочайшей науки и смысл философии всей».

И вдвойне представлялась нелепой и неуместной та поза «воплощённой укоризны» перед отечеством, которая служила предметом усиленной гордости нескольких поколений русской интеллигенции. «Укорять» ей следовало прежде всего саму себя... Одним словом, революция беспощадно обнаружила глубочайшую внутреннюю несостоятельность всей идеологии нашего традиционного радикализма и глубочайшую фальшь его психологии.

К этому следует прибавить факт несомненного в наши дни кризиса политических форм западного конституционализма, ведущих свое начало от французской революции. Трудно ещё предсказать, что выйдет из этого кризиса, куда он приведёт. Но вряд ли объективный его смысл будет всецело соответствовать субъективным ожиданиям человеческих масс, с ним связываемым. Он протекает в атмосфере надежд на «увенчание здания» демократического прогресса, он обуславливается столь распространённой ещё в наши дни *«восторженной холерой демократии и общего блага»* (Леонтьев). Но его результаты глядят в иной план исторического бытия. История развивается диалектически.

*«В истории чередуются дневные и ночные эпохи, — замечает Н. А. Бердяев в своей недавней статье о Шпенглере («Предсмертные мысли Фауста»)... — И мы стоим у грани ночной эпохи. День новой истории кончается. Рациональный свет её гаснет. Наступает вечер... По многим признакам наше время напоминает начало раннего средневековья. Начинаются процессы закрепощения, подобные процессам закрепощения во времена императора Диоклетиана. И не так неправдоподобно мнение, что начинается феодализация Европы. Процесс распада государств совершается параллельно универсалистическому объединению»...*

Как бы то ни было, — **идёт новая эпоха**, корни которой уходят в глубину высших откровений исторического Духа, но своеобразие которой отчётливо ощущается и в плоскости общественных отношений, политических форм. Формальная демократия повсюду переживает сумерки, едва ли не превращается в собственную противоположность. История словно стремится воспроизвести некоторые черты государства просвещённого абсолютизма, только, конечно, в существенно новом выражении, в иной обстановке. Индивидуализм XIX века, всесторонне развивая свои определения, переходит в «этатизм» XX-го, новые социальные идеи, становясь мощной, активной силой, решительно трансформируют облик современного человечества. Весь этот процесс бесконечно осложняется



болезнью европейской культуры, ставящей под вопрос и под удар многие общепризнанные, казалось бы, ценности новейшей европейской истории. Но, параллельно тёмным признакам наступающего периода, можно различить и несравненные духовные достижения, которыми он чреват и которые отличают его от предшествующего.

В свете совершающегося великого исторического перелома, уже явственно ощущаемого и наиболее чуткими умами Запада, особенно знаменательное значение приобретают предчувствия и предвестия тех русских мыслителей, писателей и публицистов, которые, пребывая в стороне от прямого западнического влияния в России, провидели неизбежность грядущего сдвига в судьбах европейского человечества. Нельзя уже теперь к ним относиться свысока, мерить их запалёнными трафаретами обмельчавших идей уходящего века. Прав Бердяев, что книга Шпенглера, явившаяся откровением для Европы, *«не может слишком поразить тех русских людей, которые давно уже ощущали кризис, о котором говорит Шпенглер»*. Совершенно ясно, что *«в мыслях Шпенглера есть какое-то вывернутое наизнанку, с противоположного конца утверждаемое славянофильство»*. «Славянофильские» мотивы, обновлённые и углублённые жизнью, звучат всё слышнее и определённое не только в России, но и в Европе. Русское влияние на Западе становится ощутительным, как никогда.

Это влияние обязывает. Его не оправдаешь перепевами вечерних западных мелодий, столь любезных сердцу «Последних Новостей» с господами Мирскими. И недаром русская революция, западническая по официальным своим схемам, всем жизненным своим воплощением ниспровергает устои «великих принципов 89 года». В ней и через неё впервые переживают эти принципы крутое испытание, от коего вряд ли уж оправятся. Нужны какие-то новые откровения, на почве изжитых начал исцеление человечества немислимо.

«Реакция»? «Обскурантизм»? — Эх, господа, оставьте, право, эти плакатные формулы и смешные жупелы. Пора уже признаться, что они канули в лету вместе с дореволюционной

русской интеллигенцией, ими наивно упивавшейся. Помните, что это **именно в вас** шевелится старорежимная психология, когда вы пытаетесь реставрировать «незыблемые ценности русского радикализма», как недавно с напыщенностью выразился некий приват-доцент из «Голоса России»...

Реакционеры те, кто хочет восстановить прошлое. Но нужно быть... Марковым Вторым или здешним «воеводой» Дитерихсом, чтобы верить в возможность осуществить это «всерьёз и надолго». К формам безвозвратно ушедших времен человечество не вернется. Не вернешь старую монархию, как не заставишь никого вновь поверить в мистику голубой крови и белой кости. Идти можно и нужно не назад, а вперёд. Но откуда видно, что это «вперёд» заключается всё в той же парламентской демократии и магической четыреххвостке, которые на наших глазах вызываяще бессильны спасти Европу от худосочия, становящегося хроническим? Откуда видно, что Россия, вместо того, чтобы в муках искать своего собственного творческого выхода, предчувствованного её глубочайшими умами и болезненно нащупываемого её великой революцией, — откуда видно, что вместо этого она должна пасть ниц перед линияющими западными канонами, зачеркнуть свою культуру и свою революцию, дабы скорее обзавестись «мирной демократической конституцией»?

Я сейчас ещё ничего не решаю, — я лишь констатирую исключительную мелкотравчатость критики, направляемой по нашему адресу со стороны замаринованных европейской атмосферой старорежимных русских демократов. И чтобы лишний раз скомпрометировать себя в их глазах преступным цитированием Конст. Леонтьева, заключаю свою реплику следующей выдержкой из его «Востока, России и Славянства»:

*«Надо желать, чтоб якобинский (либеральный) республиканизм оказался совершенно несостоятельным: и не перед реакцией монархизма, а перед коммунарной анархией (курсив Леонтьева); ибо монархическая реакция все-таки прочна не будет, а только собьет ещё раз с толку наше и без того плохое общественное мнение... торжество же коммуны, более*

*серьёзное, чем минутное господство <18>71 года, докажет несомненно в одно и то же время и бессилие «правового порядка», искренно проводимого в жизнь (чем искреннее, тем хуже!), и невозможность вновь организовываться народу на одних началах экономического равенства. Так что те государственные организмы, которым ещё предстоит **жить**, поневоле будут вынуждены избирать новые пути, вовсе непохожие на те пути, по которым шла Европа с <17>89 года. Большинство не умеет ни отвлечённо предвидеть, ни художественно предчувствовать: большинству нужны наглядные примеры».*

Пора понять, что мы реально вступаем в новую историческую эпоху, когда «аргументы от радикализма», коими ныне кокетничают «Последние Новости», будут мирно покоиться в музеях древности, подобно алебардам и екатерининским каретам. Пора понять, что эта новая эпоха будет запечатлена более, нежели всякая другая, **мировым влиянием России и русской культуры**.

Обратимся же, наконец, к самим себе!

## II. Шестой октябрь

- **Генерал, рейхстаг против вас!**
- **Да, но за меня рейхсвер!..**

Он прекрасно передает «стиль эпохи», этот краткий, но крылатый диалог, недавно облетевший немецкую прессу. Он символичен. В нем мудрость века сего.

История даёт отставку начисто всем этим профессионалам демократии и первосвященникам парламентаризма. Сегодня здесь, завтра там горькая судьба гонит их за борт политической жизни, и даже подчас не в двери, а прямо в окна, как в своё время их неудачливых предков из Сен-Клу... Меркнет слава вселенских законодательных соборов, и у четыреххвостки скоро, пожалуй, не останется ни одного хвоста...

О чём, как именно не об этом, вспомнить в шестую годовщину нашего отечественного «Октября»?.. Ведь нигде ещё, как только в этом своем пункте, октябрьская программа не обрела

реальной «мировой» значимости. Нигде, как только здесь, не ощущаются её конкретные «завоевания». **Всемирно–исторический смысл октябрьской революции заключён прежде всего в ниспровержении устоев формально–демократической государственности 19 века.** В этом своём «смысле» она истинно победоносна и **подлинно интернациональна.** Более узкие, тесные, «высокие» её задачи – коминтернские – ещё всецело под знаком вопроса: коминтерн пока – чересчур уж «кремлёвский», и недаром его так обидно часто принимают за границу за «департамент воссозданного русского империализма» (отзывы Керзона и Пуанкаре). Но вот «сумерки демократических кумиров» – факт, и роль в них революционной России – тоже неоспоримый факт. Нельзя игнорировать эти характерные различия. В «круглых скобках» коминтерна, кроме русских деятелей, не видать заметных фигур: сплошь «третий сорт», танцующий под московскую музыку. А в «квадратных скобках» действенного антипарламентаризма рядом с Лениным, Бухариным и Троцком найдут себе место и – странно вымолвить! – Муссолини, и покойный Стамболийский, и здравствующий Цанков, и Кемаль, и Хорти, и Ривера, и по существу, конечно, сам Пуанкаре. Очередь за Германией. Вопрос там теперь в «круглых», а совсем не в «квадратных скобках». В какие формы выльется кризис демократии? Кто её покончит, завершит: красное знамя или чёрная рубашка?.. Веймарская конституция обречена, если даже и не по букве, то по «духу». Неважно, за кем пойдет рейхстаг, – всё дело в том, куда склонится рейхсвер, т.е. квинтэссенция активных элементов страны...

Рассеивается марево арифметического демократизма, окутавшее собою 19 век. Именно тогда, когда осуществлялись наиболее заманчивые и дерзновенные демократические чаяния, – вскрылась их роковая внутренняя недостаточность. Вводятся сложнейшие расчёты пропорциональных систем представительства, устанавливаются референдумы, реализуется избирательное право женщин. Идеал демократии, столетие маячивший перед человечеством, наконец достигнут. И, до-

стигнутый, он вдруг как-то разом погас, съёжился, показал себя таким жалким, относительным. Он привёл к распутью, к сплошному знаку вопроса, неизбытному раздумью Буриданова осла. Воистину, произошла магическая метаморфоза: прелестная Дульцинея оказалась несносной девкой Альдонсой, пропитанной атмосферой скотного двора...

*«Всеобщее голосование, последняя пошлость формально-политического мира, – писал Герцен семьдесят лет тому назад – дала голос орангутангам. Ну, а концерта из этого не составить»...*

*«Мир изобилует олухами, а вы добились **всеобщего** голосования!»* – ещё более выразительно сокрушался Карлейль.

*«Великим политическим суеверием прошлого – добавил Спенсер в <18>85 году, – было божественное право королей. Великое суеверие нынешней политики – божественное право парламентов. Миропомазание незаметно перешло с одной головы на многие, освящая их и их декреты. Можно находить иррациональным первое из этих верований, но следует допустить, что оно было более логичным, чем последнее».*

Что же, в конце концов, удивительного, что параллельно высшему торжеству демократического начала, мы видим ныне его поразительный декаданс, его эффектный эпилог?.. **Массы отрываются от своей непосредственной власти.** Измученные смерчем войн и революций, народы хотят одного – спокойствия и порядка. И облечённые высшею властью, калифы на час, они спешат уступить эту высшую власть активному авангарду, **инициативному меньшинству** из своей собственной среды. Инициативному меньшинству, обычно завершённой инициативнейшей фигурой, авторитетною волей вышедшего снизу вождя. Отсюда – культ Ленина в России, Муссолини в нынешней Италии. Эти две фигуры, при всей их политической полярности, одинаково знаменательны, они фиксируют новейшую ступень эволюции современной Европы. В этом смысле они однокачественны, как одноцветно пламя, несмотря на всё разнообразие горящего материала...

Перед лицом надвигавшейся экономической и политической катастрофы послевоенных лет демократические парламенты Европы напоминали собою человека, панически мечущегося по мостовой направо и налево под носом наезжающего автомобиля. «Заметался, – отмечают в таких случаях шоферы, – значит погиб»...

И народы приходят в себя, просыпается *роевой* (не арифметический) разум. Народы словно говорят своим волевым, монолитным вождям:

– Наши парламенты нам надоели и наши митинги нас разорили. Разгоните их и правьте нами во имя нашего блага!

И рождается **новая аристократия**, по-своему народная и по существу передовая, – **аристократия чёрной кости и мозолистых рук**. Белая кость и голубая кровь в прошлом, в безвозвратном, безнадежном прошлом. Шумливый век демократии поглотил, запачкал, обесцветил и ту, и другую. Но он же взрастил побег новой правящей знати, рыцарей без страха, хотя, конечно, и не без упрека с точки зрения «светлых идеалов» наших отцов. О, эти милые, уютные, наивные «светлые идеалы»!

Под ними хаос шевелится!..

Итак, власть народная, но не демократическая. Власть крутая, но понятная народу. Вышедшая из масс, но массы прибирающая к рукам ради их же благополучия...

На языке историков, любящих аналогии, уже вертится назойливая этикетка:

– **Цезаризм...**

В самом деле. Бравый матрос Железняк лишь наиболее красочно и лапидарно выразил суровую «идею века». Он не стал дожидаться, пока власть, как зрелый плод, не только фактически, но и «формально» скатится в инициативные руки. И чуть-чуть «потряс яблоню». Результат вышел на славу: от черновщины не осталось и следа...

В других странах исторический разум побрёл к аналогичному результату несколько более лукавыми путями. Муссолини, совершив переворот, не разогнал напрямик никудышную пала-

ту, а заставил её предварительно принять закон о собственном самоустранении, – вышло и целесообразно, и «законно»! На Балканах парламенты автоматически «поддерживают» всякую удачливую фигуру: крестьянская диктатура Стамболийского формально была «парламентарной», – нынешний цанковский фашизм, наверное, тоже соблюдает конституционные аппарасы. В Турции парламент послушно выбирает президентом Кемаля, в Китае Цза-окуна<sup>1</sup>. В Германии вручает диктатуру коалиционному Штреземану, – до более солидного и менее коалиционного кандидата, которого выдвинет жизнь, а не говорильня. В Испании, Греции «санкционирует» власть сильнейшего. В Венгрии раболепствует перед Хорти. И, наконец, во Франции – на очереди конституционное новшество, юридическое подтверждение уже практикуемого порядка, – реформа, о коей в следующих словах возвещает официоз Пуанкаре «Revue des deux mondes»:

*– Нужно покончить с медлительностью и бессилием парламентского правления, с византийским многословием палат. Путём закона у нас нужно реорганизовать исполнительную власть и, дабы пресечь возможность насилий, укрепить её авторитет. Опыт неизбежно приводит нас к пересмотру понятий «свободы» и «власти», как они были выработаны французской революцией для 19 века. Нельзя противопоставить демократию авторитету (№ от 15 июня с[его] г[ода]).*

По существу это та же мысль, которую Муссолини после фашистской победы формулировал логичнее и короче:

*– Через несколько дней у вас будет **не министерство, а правительство!***

Ясно, что во всех этих странах парламентаризм органически проституирован, втопан в грязь, «превращён в собственную противоположность». Парламенты словно охвачены эпидемией самоубийств. А где они ещё медлят кончать с собой, – с ними кончают извне. И немудрено: «кто превращает себя в червяка, тот не может жаловаться, когда его топчут ногами» (Кант).

---

<sup>1</sup> В современной русской транскрипции Цао Кунь.(прим.ред.)

Логика процесса очевидна: сумерки формальной демократии. Тоска по силе. Воля к повиновению.

И даже в Англии нетрудно вскрыть по существу аналогичный процесс, но только в иных, свойственных английскому государственному гению, гибких, достойных формах: «пизанская колокольня» великобританской государственности и здесь, как всегда, верна себе. Но и там сбываются предчувствия Сиднея Лоу, и там налицо покорность неотвратимым веяниям истории...

Да, в древнем Риме когда-то было нечто подобное, и острый ум Цицерона метко схватил свою эпоху, отозвавшись на кризис римской демократии афоризмом:

– **Спасти жизнь тут важнее, чем сберечь вольность.**

Лучшие из демократов всегда понимали сами благой смысл диктатуры. *«Диктатура, – говорил Мирабо – это предохранительный клапан для демократического строя, условие его спасения в трудные минуты».*

Сама жизнь в наши годы выдвигает компактную, волевою, упорную власть. Помимо прочих соображений, – лишь она одна способна справиться с задачами, взваленными историей на плечи современного государства. «Фонарь ночного сторожа» ещё могли с грехом пополам держать многорукие парламенты прошлого века, но как быть с «огнем Весты»?.. Чтобы вести за собою, чтобы направлять и регулировать, а не плестись беспомощно за «свободной игрой социальных сил», государство должно радикально преобразоваться. Экономический либерализм себя изжил дотла, нынешнее «культурное государство» – на пути к осуществлению ряда требований социалистической программы, а социализм, как это прекрасно подметил его тонкий исследователь Кельзен, формально стоит ближе к идеологии теократии, нежели демократии...

Впрочем, это большая проблема и, конечно, не для газетной статьи. Но и газетная статья может констатировать всю исключительность мировой роли русской революции в сфере этой большой проблемы. Бесстрашно и беспощадно бросили русские революционеры в лицо лицемерному



синклиту демократий лозунг инициативной диктатуры. Он откликнулся, этот лозунг, в усталой, больной Европе, и слетел ореол божественности с парламентарных миропомазанников. И хотя кризис демократии там протекает не по русским рецептам, вернее, даже вопреки им, – но общий и формальный смысл его в значительной мере единосущ. Народы выдвигают железные когорты труда и почина, ударные батальоны государственности, и ждут от них того, чего не смогли им дать тяжеловесные машины словесных прений, бумажных оппозиций, напыщенных резолюций.

По-разному разные нации воспринимают близящийся лик новой эпохи. Но это тот же лик, лишь дробимый в родственных оттисках, как у Овидия:

*Facies non omnibus una.*

*Nec diversa tamen, qualem decet esse sororum.*

«**Диктатура прогресса и нового мира!**» – провозглашают русские революционные энтузиасты. «**Диктатура порядка, трезвой умеренности, здравого смысла, мирного труда!**» – отвечают на Западе.

Ещё и там, и здесь бушует исторический вихрь, не улеглись волны борьбы и ненависти, не преодолены ужасные тупики – наследие прошлого века. Но уже ясно, что путь выздоровления – в своеобразном жизненном синтезе (не нарочитом компромиссе), взаимопроникновении обоих лозунгов. Диктатура прогресса должна быть вместе с тем и трезвою диктатурой порядка, мирного труда, а последняя, в свою очередь, чтобы победить, должна воплощать дыхание «нового мира». Ни диктатуры утопии, ни диктатуры реакции не потерпят и не простят родившие диктатуру народы.

И когда, в день шестой годовщины Октября, размышляешь о роли русской революции в плане всеобщей истории и хочешь дать себе отчет в **интернациональной** её значимости, то невольно перед умственным взором встаёт идея этого творческого синтеза, в коем осуществляются основные **положительные** революционные задачи и погаснут боевые увлечения и односторонности преходящего революционного дня.

### III. К модной теме о «кризисе демократии». (Фрагменты)

Да, тема бесспорно модная. О переломе исторических путей теперь читаешь не только у философствующих «романтиков», вроде Шпенглера или Бердяева, но и у писателей трезвого ума, острого взгляда, точной науки: достаточно припомнить хотя бы знаменитого итальянского историка Ферреро и наших выдающихся ученых Виппера и Ростовцева.

От этой темы нельзя благодушно отмахнуться: «кризис», мол, «выдумали профессора», подобно тому, как врачи выдумывают болезни. Всё, мол, обстоит благополучно на прилизанных дорожках раз навсегда налаженного прогресса. Такой элементарный, обывательский оптимизм просто слеп. Он даже не чувствует проблемы. Споры с ним поэтому совершенно бесполезны. По отношению к нему применим известный совет Ницше: *«Бывают противники, с которыми можно сделать только одно:*

– *Пройти мимо»...*

Но, может быть, эта тема не более, чем только «модная»? Часто слышишь, что она – плод ненормальной современной ситуации, порождённой мировой войной. Войдут в руслу взбаламученные человеческие реки – и снова засияет солнце парламентов, возблещет демократия.

Вероятно, то же самое говорилось многими сенаторами на римском форуме в эпоху Цезаря. Про монархию Божией милостью аналогичные суждения высказывались в годы французской революции. «Маленькое, случайное недоразумение, а там опять всё войдет в норму». И смеялись над Гёте, отзывавшимся на битву при Вальми: *«Сегодня родился новый период всемирной истории, и каждый из нас вправе сказать, что присутствовали при его рождении»...*

Разве мировая война есть не более, чем досадный исторический случай? Разве она была чем-то «ненормальным» в условиях предвоенной эпохи? Неужели даже и теперь не очевидно, что военная катастрофа диктовалась фатально всем складом предшествующих десятилетий, была их итогом, их венцом, их Немезидой? «Кризис демократии» зрел до войны. Как и в истории Рима, в европейской истории демократия разлагалась тем сильнее, чем успешнее побеждала. Она способна, по-видимому, жить лишь в атмосфере борьбы, но не победы. Она, говоря философским слогом, «таит в себе своё собственное отрицание».

Но что такое демократия?

Для демократии новой истории характерны два момента, два принципа, исчерпывающие её содержание: 1) «личные права», и 2) «народный суверенитет». — Это и есть то, что называется «великими принципами 89 года». Статья первая декларации прав человека и гражданина: **«люди рождаются и живут свободными и равными в правах»**. Статья третья той же декларации: **«принцип всякого суверенитета покоится в народе»**.

Да, «великие принципы». Зажигавшие сердца. Творившие живую плоть новейшей истории. Раз навсегда в тяжёлой вековой схватке сокрушившие старый многовековой «принцип власти». Нет и не будет больше старых аристократий. Нет и не будет больше старых монархий «Божиею милостью».

И здесь опять-таки мировая война лишь подвела итог назревшим тенденциям. Умерли богоустановленные монархии — 89 год трубит последнюю победу.

Пиррову победу. Победившая демократия на длинном и славном пути победы незаметно растеряла свои принци-

пы. Чем-то забытым и далёким представляется нам теперь французская декларация прав, – почти «пропавшей грамотой».

Свобода и права человека? О, эта формула уже давно успела обрасти мохом. «Голос свободы ничего не говорит сердцу того, кто умирает с голоду». Чем больше свободы, тем меньше равенства; эти начала подобны «двум сообщающимся сосудам»: чем выше уровень воды в одном, тем он фатально ниже в другом. И поскольку демократия принялась осуществлять свободу, Бог равенства, притязательный и ревнивый, автоматически отстранялся ею за кулисы.

*«Демократический режим создаёт социальные неравенства в большей мере, чем какой-либо другой... Демократия создаёт касты точно так же, как и аристократия. Единственная разница состоит в том, что в демократии эти касты не представляются замкнутыми. Каждый может туда войти, или думать, что может войти».* Так отзывался об индивидуалистической демократии 19 века Лебон («Психология социализма»). Словно, в самом деле, плодом демократического общества было исполнение евангельского завета: «имущему даётся, у неимущего же отнимается и то немного, что он имел».

И вот начинается преобразование демократии – от свободы к равенству. Сначала – на почве всё того же свободолобивого индивидуализма: «право на достойное человеческое существование». Недаром Вл. Соловьев называл государство «организованной жалостью». Государство должно не только охранять, но и содействовать, упорядочивать, помогать. Право на жизнь. Право на труд. Социальное законодательство.

Однако, ведь сосуды-то «сообщаются». И с эмпирической неизбежностью индивидуализм стал «превращаться в собственную противоположность». Вскоре же обозначилась истина, что *«развитие культурных функций государства представляется процессом непрерывной экспроприации в отношении индивидуальной деятельности»* (Еллинек).

Конечно, это уже – признак огромных перемен, радикального кризиса. Индивидуалистическая культура – наиболее

глубокое проявление демократической идеи нового времени – ныне охватывается зловещими сумерками. Из «эпохи субъекта» мы явственно вступаем в «эпоху объективности» (Гегель)<sup>21</sup>. Оживает старая сентенция Аристотеля: «Государство существует прежде человека». Исчезает мало-помалу самая идея «субъективного права», заменяясь принципом «общественной функции». Свобода – не право, а обязанность. Не только социализм, но и все виды солидаристской, синдикалистской и фашистской идеологии горячо провозглашают **культ могучей государственности**, перед коей бледнеют и тают неотчуждаемые личные права. В исторической атмосфере веет «тиранией альтруизма». Культура грядущего столетия реставрирует словно концепцию Левиафана – только с неприменным «кольцом общего блага» в ноздрях...

*«Демократия, которая последовательно вступила бы на путь социализма и решила бы заменить политическую централизацию экономической, должна была бы отказаться от некоторых самых существенных своих начал и учреждений. И прежде всего она перестала бы быть системой свободы, и вместе с новой сущностью должна была бы усвоить и новое наименование»* (П.И. Новгородцев, «Демократия на распутье»).

Великий Инквизитор и демократия «великих принципов 89 года» – явления органически несовместимые.

Но как же **«народный суверенитет»?** – термин великих надежд и высоких слов. Так удобно им клясться на митингах, щеголять в статьях. Но насколько трудней определить его реальное содержание!

«Всё для народа и всё через народ!» – Как это просто на словах и как сложно на деле!

---

<sup>2</sup> «...Es kann daher die Sehnsucht nach einer Objektivität entstehen, in welcher der Mensch sich lieber zum Knechte und zur vollendeten Abhängigkeit erniedrigt, um nur der Qual der Leerheit und der Negativität zu entgehen» («Grundlinien der Philosophie des Rechts», Zusatz zu § 141).

Воля народа – идея, абстрактный принцип, а не факт. «Французская революция, – читаем у Г. Ферреро, – попыталась применить этот новый принцип. Но трудность его применения обнаружилась немедленно при переходе от теории к практике. Что такое народ? По каким признакам узнаётся его настоящая воля? Какие органы могут её выражать? Мы знаем, через какие колебания прошла французская революция, пытаюсь ответить на все эти вопросы. Но такие колебания легко объясняются, если обратиться к тому новому властителю, который должен был заменить старых. Народ, воля которого должна была управлять государством, доказывал, что у него не было ни этой воли, ни идей для этого управления; иногда даже он проявлял свою волю в виде отказа от своей власти и восстановления тех властей, которым он сам должен был наследовать» («Гибель античной цивилизации»).

И невольно спрашиваешь: откуда известно, что у «народа» имеется «воля» в почетном смысле этого слова, т.е. ясное сознание своих целей и решимость осуществить их разумными средствами? Ибо если его воля должна быть понята «по-шопенгауэровски», т.е. как безумное, слепое, бессмысленное стремление, – то она, очевидно, не может выдаваться за норму... Второй проклятый вопрос: как узнать, разгадать волю народа, если даже и предположить её наличность?

Оба эти вопроса встали практически перед победоносной демократией новой истории. Она выдвинула идеи всеобщего избирательного права и парламентаризма, как наиболее способные обеспечить реальное народоправство.

Однако победа этих идей лишь обнаружила их недостаточность, их бессилие оправдать упования, с ними связывавшиеся. Обезврежены монархи и верхние палаты, четыреххвостка торжествует со всеми своим усовершенствованиями. Но именно тогда – то и вскрывается вся фетишистская наивность «мистики большинства», обман и самообман «арифметического представительства», атомизирующего живой социальный организм.

Не арифметика, а психология творит историю. Психология, воплощаемая в реальную внешнюю мощь. Рационализаторски

упрощённый государственный механизм переставал быть даже и фотографией страны с её творческой борьбой различных сил. Качество вытеснялось количеством. Но качество – реальность, которую опасно игнорировать: Монтескье это прекрасно отмечал, защищая верхние палаты. И жизнь пошла своей колеёй, опрокидывая надутые фикции – поздние плоды самоуверенного «века просвещения» и энциклопедизма...

Думали, что, покончив с коронами и «палатами знати», возведут на престол избирательный бюллетень. Но разве вместо старых органических объединений не рождаются новые? Разве рабочие союзы, партийные комитеты, капиталистические тресты – не новые «палаты знати»? Разве «представительство интересов» – не кризис интегральных демократических каонов?

Реально правят авангарды социальных слоев: промышленной и финансовой буржуазии, рабочих союзов, крестьянства. Фокус современной политики – за стенами парламентов. Политику делает инициативное меньшинство, организованное и дисциплинированное. Не избирательный бюллетень, а «скипетр из острой стали», хотя и без королевских гербов, – сейчас в порядке дня.

И день этот будет долог. Это будет целый исторический период. Чуткий взор Ницше отчетливо различал его контуры:

*– Высшая порода людей, сильная волей, знанием, влиянием – воспользуется демократической Европой как послушным орудием, возьмёт в свои руки судьбы земли и будет, подобно художнику, творить новые ценности из человеческого материала.*

«Власть исполнительная да подчинится власти законодательной!» И здесь – перелом, знак вопроса, распутье. Даже и те, кто отрицают наличие кризиса **демократии**, не обинуясь, соглашаются признать факт кризиса **парламентаризма**.

Ещё в начале нынешнего века Сидней Лоу подметил коренную перемену ролей между палатой общин и кабинетом в Англии. *«Функции власти и правомочия палаты общин, – писал он, – самым неуклонным образом передаются в руки кабинета... Палату общин едва ли даже можно считать на деле законодательным собранием; это скорее особого рода машина, предназначенная для прений по поводу законодательных предположений министров... Палате общин уже не принадлежит более контроль над исполнительной властью; напротив, она сама находится под контролем правительства»* («Государственный строй Англии»).

Мало–помалу менялась и самая идеология парламентарной системы, поскольку премьеры превращались в «некоронованных королей». Теперь уже демократы сами охотно повторяют, что «глубоко коренящийся аристократизм является солью жизнеспособного демократизма». Парламентский механизм объявляется инструментом для наилучшего **отбора вождей**, а демократическое правление – **мудрой олигархией**.

Но всё неотвратимее и определённое даже и сами вожди формируются путем внепарламентских влияний. Факты достаточно известны (см. хотя бы предшествующую статью «Шестой Октябрь»). История разрывает устаревшие формы механического демократизма, и там, где они не хотят спадать безболезненно, подобно ветхой чешуе змеи, мы наблюдаем революции и государственные перевороты.

«Пусть так. Но разве всё это – к лучшему?» – Наивный вопрос. Покоящийся на «линейной теории прогресса», как последовательного перехода со ступеньки на ступеньку в обитель всеобщего сладенького благополучия. Это опять – отрывки веселого просветительства 18 века...

*«Идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы – самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий»* (К. Леонтьев).



*«Жизнь происходит от неустойчивых равновесий. Если бы равновесия везде были устойчивы, не было бы и жизни. Но неустойчивое равновесие – тревога, "неудобно мне", опасность. Мир вечно тревожен и тем живёт... Какая же чепуха эти "Солнечный город" и "Утопия": суть коих **вечное счастье**. Т.е. окончательное "устойчивое равновесие". Это не "будущее", а "смерть"» (Розанов. «Опавшие листья»).*

Ещё древние – Платон, Аристотель – учили о «круговороте государственных форм». Пусть этот круг – не порочный. Пусть это – спиралеобразное восхождение. Но его критерием и целью всё же не могут быть, разумеется, наивные сказки о золотом веке.

Им позволительно противопоставить любопытное пророчество Герцена о «третьем томе всеобщей истории»:

*– Основной тон его мы можем понять и теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побеждён грядущею, неизвестною нам революцией...Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение, corsi e ricorsi истории, бесконечный круговорот жизни...*

#### IV. Спорная аксиома.

##### *(По поводу возражения г. А. Витлина на мою трактовку проблемы демократии)*

Все мы – русские интеллигенты – поколениями воспитывались в атмосфере безоглядного почтения к формально-демократическому символу веры. Он даже стал для нас в конце концов какою-то «аксиоматической истиной», догматической «очевидностью». Вот почему вполне естественны и представляют собою общественный интерес недоумения г. Витлина по поводу моего «Шестого Октября», этой мнимой очевидности

противоречащего. Предвидя подобные недоумения, я недавно сопроводил помянутую статью дополнительными «фрагментами». Чтобы не повторяться, к ним я и отсылаю читателя. Остаётся добавить лишь немного. И то не столько о самой теме, сколько «по поводу» неё.

Прежде всего — о «чёрных тучах густой, удушливой пыли», носящихся вокруг нас. Неужели не очевидно, что никто иной, как именно век демократии родил эти чёрные тучи? Именно этот скептический, критиканский и в то же время по-своему глубоко наивный век вырвал из душ людей вековую органичность, опустошил душевную стихию, изуродовал человека. И это уродство хорошо заметно со стороны: вспомните характерный отзыв Рабиндраната Тагора о современном европейце:

*— Когда развитие умственной и физической силы человека значительно опережает развитие его нравственной силы, то он становится иногда карикатурой жирафа, голова которого непомерно выступает из его туловища, сохраняя с ним лишь очень слабую связь. Эта ненасытная голова с её мощною челюстью пожрала все верхушки деревьев, но пища слишком поздно проникает в пищеварительные органы, и вследствие этого сердце стало малокровным.*

«Благо народа — сумма благ всех его членов». Пусть так. Но, во-первых, нужно установить самое понятие «блага». Во-вторых, «благо народа» и «воля народа» — понятия далеко не совпадающие.

«Малокровное сердце» заставляет искать «благо» в царстве материальных, грубо утилитарных оценок. Поистине, евангельский «соблазн хлебами» есть лейтмотив эпох исторического декаданса. Но чем победоноснее этот соблазн, тем дальше прельщенные им от подлинной удовлетворенности. Не единым хлебом будет жить человек. И хлеб ему «приложится» только тогда, когда жив и бодр его **дух**.

Благо народа – и не в утехах **власти**. Опыт античного мира и нынешнего века согласно свидетельствуют, что само по себе непосредственное участие народных масс в государственном управлении отнюдь не повышало «суммы благ» всех членов народного целого.

В одной из своих речей (против Сервилия Рулла) Цицерон очень сочно обрисовал печальную судьбу Греции, ставшей жертвой демократических увлечений. *«Там все дела решаются на опрометчивых и увлекающихся собраниях... Уж я не говорю о нынешней Греции, давно расстроеной и парализованной своими парламентами (suis consiliis), но даже и та великая старинная Греция, блиставшая некогда своим богатством, могуществом, славою, и она погибла именно от этого зла, от неумеренной свободы и необузданности дебатующих заседаний. Рассаживались точно в театре неопытные люди, ни в чём не осведомленные, невежественные, и результат был тот, что они поднимали ненужные войны, ставили во главе государства беспокойных честолюбцев и изгоняли из общины заслуженных людей»* (цитирую по «Очеркам истории Римской империи» проф. Виппера). Что же удивительного в том, что знаменитый английский историк Маколей, касаясь этой же проблемы, высказал в письме знакомому американцу (1857 г.) следующее характерное пророчество, правда, пока ещё не сбывшееся:

*«Одно из двух: или какой-нибудь Цезарь или Наполеон сильной рукой заберет бразды правления, или ваша республика подвергнется грабежу со стороны варваров XX века, такому же ужасному, какому подверглась Римская империя со стороны варваров V века. Разница будет только в том, что гунны и вандалы явились извне, а ваши хищники будут порождены в вашей собственной стране вашими же учреждениями. **Моё давнишнее убеждение, – что чисто демократические учреждения таковы, что должны рано или поздно уничтожить либо свободу, либо цивилизацию, либо то и другое вместе»** (курсив мой. – Н.У).*

Есть над чем задуматься. Есть основание проверить многое, что на первый взгляд представляется аксиоматичным.

«Воля народа» – зыбкое, шаткое, неуловимое понятие. Как поймать её, определить, выразить? Выражала ли волю русского народа черновская учредилка? Шевельнул ли пальцем «народ» в её защиту? Кто «народнее» – Керенский или Ленин? Нитти и Факта, или Муссолини? Кто был «народнее» в 1907 году – И.Г. Церетелли или П.А. Столыпин? Кто лучше выражал волю французского народа 18 брюмера: Бонапарт или разогнанные им, в окна спасавшиеся депутаты? Как отнёсся к этому разгону «державный хозяин» Франции, французский народ? – *«В кабачках со смехом говорят – констатирует современник, – что прыгающие забияки напоминали собой водопады Сен-Клу»...*

Да, вопрос о «воле народа» гораздо сложнее, чем его себе и нам представляли наши деды и отцы. Народ редко бывает правоверным демократом. Нельзя заставлять его непрерывно «властвовать», хотя бы против его собственной воли. Нельзя за «народом-самодержцем» отрицать суверенное право добровольно «уходить в отставку» (термин славянофилов), как ушёл в отставку русский народ на триста лет после 1613 года...

Но, отойдя от формального участия в правящей власти, «народ», конечно, всем существом своим творил свою историю, свою судьбу. Петр Великий, 1812 год, Пушкин – разве это не подлинные народные явления, хотя первый рождён не четыреххвосткой, второй не дебатировался в парламенте, а третий был продуктом «николаевской России»...

«Народные благородные умственные и деловые силы» для своего проявления отнюдь не нуждаются непременно в условиях европейской государственной жизни последнего века. И откуда известно, что можно проводить знак равенства между этими светлыми силами и «первосвященниками парламентаризма»? Нужно отряхнуть от своих ног этот эгоцентричный европеизм, взглянуть дальше него и шире него.

Впрочем, самая проблема кризиса демократии – проблема не русская, а чисто европейская. Ибо Россия до сего времени, как известно, не знала формально-демократического строя.

Кстати, о Николае Первом. Раздумывая об «инициативном меньшинстве» и об «инициативнейшей фигуре», не рискуем ли мы вернуться идеологически к нему?

Конечно, нет. Наивно представлять себе Николая I, как оторванного от пространства и времени громилу, расправляющегося с добрым народом по своему капризу. Русское самодержавие – грандиозное историческое явление, глубоко закономерное в рамках своей многовековой эпохи. Закономерен был и Николай I, и власть его, разумеется, не висела в воздухе, а имела прочную опору в наиболее мощном тогда сословии, дворянстве, и вместе с тем не противоречила сознанию русского народа в его массе. Если бы это обстояло иначе, то день 14 декабря 1825 года на Сенатской площади кончился бы совсем не так, как он кончился.

Но сто лет прошли не бесследно, и теперь Россия уже не та. И необходимым образом иною должна быть и её власть. Дворянство кончено, – фатально кончено и дворянское самодержавие. «Инициативное меньшинство», а, следовательно, и «инициативнейшая фигура» ныне существенно иные. Именно эту мысль я и хотел выразить формулой – «аристократия чёрной кости и мозолистых рук». Николаю I нынче взяться неоткуда. Нынешний Кирилл Ницкий даже и при случайном успехе не мог бы уподобиться своему прадеду, как французский Людовик XVIII не смог реставрировать Людовика XIV.

Государственная власть никогда не падает с неба, а вырастает из народной среды, обуславливается тысячами окружающих факторов. В этом смысле всякая власть, если хотите, «демократична». Отсюда и хороший афоризм: «всякий народ имеет то правительство, которое он заслуживает». В большом историческом масштабе этот афоризм, несомненно, прав. Но не только не нужно смешивать эту реальную демократичность с формальной. «Митрич» – в порядке дня. Но он возьмет своё безо всяких печальной памяти учредилок и предпарламентов.

Эти замечания должны, мне кажется, предостеречь от вульгарного понимания проблемы кризиса демократии. Пусть не приписывают нам бессмысленной идеологии «кто палку

взял, тот и капрал»<sup>31</sup>. «Палка» только тогда помогает, когда она взята умеючи, в соответствии с логикой истории и психологией народа. «Палку» должны ведь держать живые люди, «штыки» тоже умеют думать и чувствовать. Не голое насилие и не принципиальное беззаконие идет на смену «принципов 89 года», а новое государство, новое право, новый «культ» (без культа нет и культуры). Кризис европейских **форм** демократии не есть абсолютное, всестороннее отрицание демократической **идеи**, как таковой. Формальная демократия умирает, но река истории не течёт вспять, и жизнеспособные элементы отцветающего периода будут жить в нарождающемся. На смену демократии грядет **сверхдемократия**.

«Государственный строй с человеческими жертвоприношениями — это язва, ведущая к гибели».

Допустим. Но эта истина есть не более, чем иллюстрация к известной гетевской сентенции: *Alles, was entsteht, ist wert, das es zugrunde geht...*<sup>4\*</sup>

Разве придуман на земле строй, чуждый человекоубийству в той или иной форме? Разве «власть народа» не знает человеческих жертвоприношений? *«Свобода, свобода, сколько преступлений творится во имя твоё!»* — вспомните это предсмертное восклицание гражданки Ролан. Демократические падишахи подчас неистовствуют не лучше турецкого. Вспомните нашу площадную керенскую демократию. Вспомните

---

<sup>3</sup> *Примечание ко второму изданию.* Любопытно, что именно это «вульгарное понимание» нашей идеологии счёл за благо отстаивать г. Б. Мирский (прив<ат>-доц<ент> Миркин-Гецович), один из публицистов парижских «Последних Новостей». Кстати сказать, — мне просто грустно было читать его статью, посвящённую настоящей книге («Новый манифест сменовеховства», «Посл<едние> Нов<ости>», 23 августа 1925 г.): во всем «национал-большевизме» он так-таки и не узрел ничего, кроме «пожатия кровавой руки Дзержинского»!..

<sup>4</sup> [Я дух, всегда привыкший отрицать / И с основаньем: ничего не надо.] / Нет в мире вещи, стоящей пощады» («Фауст», перевод Б. Пастернака). (Прим. ред.)

колониальную политику великих демократий. Наконец, разве не демократия превратила современную Францию в «преступный Вавилон»? Не будем уж лучше аргументировать подсчётами трупов и сравнением добродетелей. *«Добродетель всегда осуществляется меньшинством на земле»*, – сказал самый яркий из идеологов европейской демократии, великий террорист Робеспьер.

*«Государство – самое холодное из всех холодных чудовищ»* (Ницше). Но оно – плоть от плоти человеческого общества, тоже ведь чудовища достаточно холодного. Снимем розовые очки. Конечно, следует неустанно стремиться к упразднению человеческих жертвоприношений. Но нужно всегда помнить, что нередко их словесное упразднение лишь способствует их небывалому и отвратительному торжеству. Опыт Керенского у нас ещё свеж в памяти.

Дыхание своеобразного «цезаризма», ощущаемое в современной европейской атмосфере, не есть откровение совершенства. Но я ни на минуту и не выдаю его за таковое. Я только констатирую его наличие. Я отчётливо вижу, что оно более глубоко и органично, чем это сейчас кажется многим. Оно не принесет собою земного рая, ибо земного рая вообще нет и не будет. Но, судя по многим признакам, оно отметит собою «очередной фазис всемирной истории»<sup>51</sup>.

...Но, разумеется, это тема не газетной статьи, в которой мыслимы лишь тезисы и намеки, а не доказательства и обоснования.

---

<sup>5</sup> *Примечание ко второму изданию.* Бухарин («Цезаризм», стр. 6–7) уличает меня в противоречии, даже в «игре в прятки»: как можно одновременно признавать будущее и за социализмом, и за цезаризмом? Ответ ясен, и его предвидит сам г. Бухарин: «социализм» явственно тоскует по политической форме цезаризма, а цезаризм XX или XXI века неизбежно усвоит ряд элементов социалистической программы; и уже во всяком случае, он не будет по-старому «буржуазным». В пределах исторического предвидения – не эфемерное «бесклассовое и безгосударственное общество», а широкий расцвет этатизма. Разумеется, это положение требует подробных обоснований, которые здесь не могут быть даны.

## **Вера или слова?**

(«Царство Зверя» г. Мережковского)

*«Жалок тот историк, который не умеет видеть, что в бесконечной сложности и глубине всемирной жизни известное зло нередко глубокими корнями связано с известным добром!»*

**К. Леонтьев**

### **I.**

Странное, смешанное впечатление производит лекция Д.С. Мережковского «Большевизм, Европа и Россия», читавшаяся им в Европе и теперь появившаяся в печати. По обыкновению, холодно блестящая по форме («красноречие может сверкать и как огонь, и как лёд» — Карлейль), идеологически она столь сумбурна и вместе с тем местами столь захватывающе остра и психологически показательна, что хочется остановиться на ней подробнее.

Мережковский ставит вопрос о русской революции и о большевизме в большом и углублённом «плане» — в плане мировой истории, уходящем в религиозную глубину. Он оперирует, верный себе, привычными для него «предельными» категориями: христианство, Христос, Антихрист, «спасение»,



«воскресение», «царство Зверя». Он хочет проникнуть в тайну всемирно-исторического назначения России, Европы, человечества. И все эти размышления окрашивает резким, кричащим призывом к Западу от имени России: «помогите, спасите от пентаграммы Зверя – большевизма!»...

В этом призыве – величайшая фальшь всей статьи и всей нынешней позиции Мережковского. Благодаря ему все сами по себе достойные всяческого признания восклицания автора на тему «Россия спасётся – знайте!» – приобретает неприятный характер пустых и бездушных декламаций. Нужно иметь очень мало действительной веры в спасение России, если ставить его в зависимость от помощи Европы, да ещё той самой, у которой «общая с большевиками метафизика».

Прямо-таки диву даёшься, как можно в одной статье выдвигать столь безнадежно противоречащие друг другу суждения, какими щеголяет Мережковский. Даже не «контрадикторные» противоположности, могущие быть «примирёнными» в некоем «высшем синтезе», – а просто положения, взаимно уничтожающиеся...

*«Россия лежит, как тяжело больной, без сознания, без памяти; **сами не можем встать**»* (вторая глава) И вдруг: *«Россия гибнущая, может быть, ближе к спасению, чем народы спасающиеся; распятая – ближе к воскресению, чем распинающие»* (третья глава).

То детская мольба о спасении – вплоть до возведения варшавских легионов в сан рыцарей воинства Христова; то презрительные взгляды на спасителей свысока. То на Европу лишь одна надежда, ибо «нашу Русь мы уже потеряли». То, напротив, Европа – проклята, будучи землею «буржуа окаянного», а вот «Третья Россия», земля «буржуа святого», Европу спасёт, опалив предварительно «белым огнём». Бесильное словесное метание из одного строя мыслей в другой, существенно и органически противоположный. И вряд ли такое зрелище может импонировать кому-либо, и прежде всего европейцам, в поведении которых столь заинтересован г. Мережковский.

Побольше целомудрия в обращении со словом.

## II.

Впрочем, есть в его статье один твёрдый, выдержанный тезис, на котором он настаивает, не шатаясь: это — полная, абсолютная непримиримость к большевизму. Он очень яркими, едва ли даже не стилизованными штрихами описывает настроение русских в нынешней России, очень метко говорит, что между знающими большевизм и не знающими его — «стена стеклянная». Красочно живописует пороки, зло советского строя.

Однако, когда от психологии и бытописания переходит к логике и метафизике — впадает опять-таки в фальшь.

Он доходит до того, что надменно проклинает Деникина, Юденича, покойного Колчака за их «соглашательство» (?), за их «торг о России единой и неделимой»: нужно было «всем пожертвовать для свержения Красного Дьявола». Значит, и Россией, и национальной частью? — Да: «Лучше всё, чем большевики!»

Если это крик измученной обывательской души, то нечего было бы особенно долго на нём останавливаться. Но автор превращает его в «систему», возводит его в перл создания, в последний закон мудрости.

Верный своему традиционному пристрастию к схемам и формальным абстракциям, к упрощённому жонглированию элементарными антитезами, Мережковский особенно слаб, когда касается живой плоти истории, упругой, многоцветной, усложнённой («мир пластичен!» — провозгласил в своё время мудрый американец Джемс).

Вот основной принципиальный аргумент его непримиримости:

*«Мириться можно со злом относительным, с абсолютным — нельзя. А если есть на земле воплощение Зла Абсолютного, Дьявола, то это — большевизм».*

Но ведь в том-то и дело, что ошибочно с точки зрения метафизической и еретично с точки зрения христианской искать в **длящемся** историческом процессе воплощение Абсолютного

Зла. Отсюда и гипотетическая форма фразы Мережковского («если есть на земле...») не может быть обращена в категорическую, что он молчаливо делает, – и, следовательно, его безукоризненная большая посылка («мириться можно лишь со злом относительным») не имеет никакого отношения к нашей проблеме.

Наши бояре и раскольники видели Антихриста в Петре. Пьер Безухов высчитывал звериное число в применении к Наполеону. Многие готовы были обличать пентаграмму на лбу Вильгельма. Убогая и курьёзная страсть людей к ошибкам перспективы, к «абсолютизации относительного»!..

Да, мириться с абсолютным злом нельзя, но в конкретном процессе истории добро и зло так переплетены взаимно, что каждое историческое явление есть по необходимости смесь этих двух начал. *«Дьявол с Богом борется, и поле битвы – сердца людей»* (Достоевский). **Относительное** же зло может стать орудием добра, и нравственная задача каждого – способствовать этому процессу. Тут – то и крах Дьявола, отмеченный в парадоксе Гете: он *«stets das Böse will und stets das Gute schafft»*. Особенно ярко такая иерархия цели и средств проявляется в сфере политических форм, и не кто иной, как величайший из отцов Церкви, блаж. Августин, отметил условную и относительную, но все же неоспоримую **положительную ценность** и того «града земного», который, в отличие от града небесного (церкви), порождён «любовью к себе, доведенною до презрения к Богу»: *«пока оба града, – учит он, – перемешаны, пользуемся и мы миром Вавилона, из которого народ Божий освобождается верою так, как бы находится в нем во временном странствовании»* («О Граде Божиим», XIX, 26).

Можно возражать против того или иного отношения к большевизму с точки зрения конкретно политической, национальной, экономической и т.д. Но попытка создать тут какую-то метафизически неизменную истину, религиозный императив, нравственную аксиому – порочна в самом своём корне. Она

всецело построена на **извращении метафизической, религиозной и нравственной перспективы.**

Дурная метафизика, сомнительная религия, фальшивая мораль!..

### III.

Мережковский дает беспощадную характеристику духовного состояния современной Европы, «буржуйской» и «лакейски-смердяковской» до мозга костей. Он всемерно прав, утверждая, что история подошла к *«глубочайшему духовному кризису всей европейской культуры»*. Остановливаясь на психологическом типе буржуа, он не без ехидства замечает: *«буржуй – большевик наизнанку; не потому ли борьба Европы с большевиками – такая бессильная и бесчестная?»* Совершенно непонятно, как можно после такой характеристики не только надеяться на европейское «вмешательство», но и призывать его, молить о нём?..

Впрочем, к своим обличительным словам о Европе автор неожиданно притягивает за уши рассуждение диаметрально противоположного свойства: оказывается, *«Европа, что бы ни говорила и ни делала, всё ещё тождественна христианству и революции – величайшему откровению христианства после Христа»*. Почему так? Очень просто: *«Буржуй – собственник. А что такое собственность? – Экономическая проекция метафизического понятия личности, – где я, там и моё»*... Ну, а *«абсолютная мера человеческой личности – личность божественная, абсолютная личность, Христос»*...

Опять–таки, только г. Мережковский способен с серьёзной миной выводить подобного рода «силлогизмы». Считать собственность религиозной категорией! Видеть в собственности чуть ли не прямое воплощение Христа, символ Безусловной Личности!! Снова «абсолютизация относительного», только ещё в более нелепой, искусственной форме.

*«На основании естественного права все вещи суть общие»*, – говорил Фома Аквинский. *«Всякий богатый есть или*

вор, или наследник вора», – добавил Цезарий фон-Гейстербах, средневековый христианин и ни в какой мере не приверженец «буддийской мудрости небытия», и тем менее «слуга Антихристов». *«Наг должен ты предаться в руки Спасителя, – учил св. Франциск Ассизский, тоже отнюдь не могущий быть заподозренным в опасном пристрастии к Антихристу, Шопенгауэру и Ницше. – Через собственность, о которой люди заботятся и из-за которой они ведут взаимную борьбу, любовь к Богу и ближнему уничтожается».* А св. Бенедикт Нурсийский даже запретил монахам употребление слова «мой» и «твой», а велел вместо этого говорить «наш». – Нужно ли ещё приводить аналогичные цитаты из христианских авторитетов средневековья? Нужно ли вспоминать о коммунизме первохристиан? О монастырской общности имущества?

Спешу оговориться, что из этих цитат и фактов я отнюдь не хочу выводить заключение, будто отрицание собственности и в самом деле – безусловный религиозный долг христианина. Совсем нет, но становится лишь очевидной беспочвенность противоположного утверждения Мережковского. Приходится признать, что попытка непосредственно связать с христианством тот или иной общественный строй ошибочна по самому своему заданию: она не возвышает хвалимого строя, а искажает чистую идею христианства. Получается то «смешение граней», которое так прекрасно обличает с христианской точки зрения кн. Е.Н. Трубецкой в своей монографии о Вл. Соловьеве.

Собственность, **как таковая**, индифферентна христианству; равным образом, индифферентен ему и коммунизм. Всё зависит от нашего внутреннего отношения к той и другому. Именно это отношение и подлежит религиозной оценке, религиозному суду. Вот почему с христианской точки зрения можно и оправдывать, и осуждать как собственность, так и коммунизм. Религиозная идея, взятая в себе, – вне этих категорий, выше их. Собственность – не менее **относительная** ценность, нежели её отрицание.

Отсюда столь натянута и **нечестива** допускаемая Мережковским религиозная абсолютизация идеи личной собственности и собственника. Отсюда же и ещё одна глубокая фальшь его статьи – объявление великой французской революции «святою», а великой русской революции в её нынешнем облике – «антихристовой». На самом деле, **оба эти исторические явления – одного порядка.**

Я готов понять односторонне реакционную трактовку русской революции как начала нехристианского и даже антихристианского, хотя считаю такую трактовку объективно ошибочной. Но тогда точно такой же взгляд должен быть всецело распространен и на революцию французскую. Ж. де Местр, как известно, так и смотрел на неё – «это чистая нечисть», «это явление сатанинского порядка» («Размышления о Франции»). Приблизительно ту же точку зрения на неё развивал и наш Тютчев: «бунт возгордившегося человеческого я против Бога»!..

Но если, несмотря на «культ разума», массовые разрушения храмов и боевой дух рационализма, французская революция объявляется «величайшим открытием христианства после Христа», то очевидно, что под это определение должна вполне подойти и русская революция, несмотря на формально противорелигиозный характер своей «канонизированной» идеологии. Вполне ясна и та философско–историческая позиция, с которой возможна такая оценка этих внутренне однокачественных явлений новой истории: *«неверующие двигатели новейшего прогресса действовали в пользу истинного христианства: ...социальный прогресс последних веков совершался в духе человеколюбия и справедливости, т.е. в духе Христовом»* (Вл. Соловьев<sup>1</sup>). Откровения прогресса благословляются христианством, ибо история – христианка, хотя ли этого отдельные её деятели, или нет. Касательно

---

<sup>1</sup> Ср. любопытную фразу А.П. Чехова в одном из его писем к А.С. Суворину (1894 г.): «Расчётливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса».

современных русских событий в этом отношении чрезвычайно поучительны общеизвестные поэмы и статьи Александра Блока и Андрея Белого.

Мережковский же, проклиная русскую революцию, одновременно благословляет французскую, игнорируя их совершенно одинаковое отношение к христианству и выдвигая на первый план глубоко несущественный с религиозной точки зрения вопрос о личной собственности. В результате получается удручающая идейная неразбериха.

#### IV.

Выразительные строки посвящает Мережковский в одном месте своей статьи вопросу о «пользе грядущей России для Европы»:

*«..Духовно, культурно, – что могли бы дать Европе «русские варвары»? Не то же ли, что варвары давали всем культурам, всем людям интеллекта – люди интуиции? Не то же ли, что Риму, не только языческому, но и христианскому, дали христианские варвары: огонь религиозной воли, раскаляющий докрасна, добела; чтобы расплавить на Европе скорлупу антихристову, окаянню–буржуйную, нужен именно такой огонь»<sup>2</sup>.*

Сущая правда. Но раз так, раз «огонь религиозной воли», столь нужный современному Западу, может быть найден лишь у «русских варваров», то зачем же тогда бить челом перед Европой «окаянню–буржуйной», к чему строчить почтительнейшие панегирики маршалу Пилсудскому, от которых даже Бурцев в свое время пришёл в смущение? Разве не худший грех – прельститься «буржуем окайненным»? Неужели не ясно, что бессильна Европа современная самостоятельно справиться с великою историческою задачею всемирного духовного обновления? Из слов самого Мережковского следует, что – ясно.

---

<sup>2</sup> Ср. также замечание М. Штирнера («Единственный и его собственность», ч. II): «Правовое равенство, провозглашенное революцией, есть не более, чем лишь видоизмененная форма «христианского равенства», «равенства братьев», детей Божиих, христиан и т.д., короче – fraternité».

*«Горн Божий раскалил Россию докрасна (что же, значит, выходит, что «Красный Дьявол» рожден «горном Божиим»?!); раскалит и добела. Россия красная вас не жжёт, европейцы; погодите, обожжёт – белая».*

Опять любопытная мысль. Но дальше снова жалкая декламация: *«то, что вы с нами делаете, – подло и глупо вместе; если бы вы большевиков не поддерживали, их бы давно уже не было».* – То «горн Божий», то всего только «глупость и подлость европейцев»!.. И вдобавок, – разве для того, чтобы получить белое каление, не нужно поддерживать огонь, уже давший красное?..

Как былинка, в поле ветром колеблемая, покачивается автор, шатаемый дуновениями своих антитез и образов. И если одна линия его мысли представляется плодотворной, идейно содержательной, то другая, свивающаяся в заведомо бесплодную гримасу просителя, не может не вызывать досадного чувства. А их сочетание приводит к тому, что и облик целого получается нецельный, испорченный, «пятнистый»...

А тут ещё и вовсе уже никчёмные «аргументы от политики», вроде запугивания Франции возможностью соединения «русского хама с хамом германским» (!!)... Не менее никчёмные, нежели декламация о каком–то «Третьем Христианстве» (?!), «Третьем Завете»...

И рядом – опять выразительные, вдумчивые строки:

*«Всё человечество под ношею крестною. Но на России сейчас – самый острый край креста, самый режущий... Глубина страдания неутолённого, глубина чаши ненаполненной. Никогда ещё не подымало к Богу человечество такой глубокой чаши. И эта чаша – Россия».*

Да, воистину, так. Только в плане всемирной истории может быть до конца осознан смысл совершающейся национальной драмы России, только в свете человеческого искупления, и если уж говорить о действительной «вере в чудо», мистической вере в Россию, то насколько же целостнее, ярче, живее, чем во всей этой колеблющейся словесности Мережковского, проявляется такая вера хотя бы в «Двенадцати» Блока или



---

в «безумных» строках «истерика» Белого, его поэмы «Христос Воскресе»:

*Россия! Страна моя!  
Ты – та самая  
Облеченная солнцем Жена,  
К которой возносятся взоры;  
Вижу явственно я:  
Россия моя –  
Богоносица,  
Побеждающая Змия...  
Народы, населяющие Тебя,  
Из дыма простерли длани  
В твои пространства,  
Преисполненные пения  
И огня  
Слетающего Серафима –  
И что-то в горле у меня  
Сжимается от умиления...*

# Русская звезда<sup>1</sup>

(Отрывок из дневника)

**Теперь или никогда** – вот дилемма, жгущая ныне наше сознание. Или Россия воистину вступает в «полноту исторического возраста», пробуждается к жизни всемирной, всечеловеческой, – или революционный смерч, её закруживший, есть ни что иное, как её историческое увядание, национальная смерть. К небывалому здоровью или к окончательному распаду – переживаемая русским народом болезнь?

В этом вопросе – вся проблема русской культуры. Именно теперь разрешаются сомнения Чаадаева, споры западников с московскими славянофилами, смутные тревоги Герцена. Именно теперь подводятся итоги петербургского периода, петрова дела, пушкинского слова. Всё наше прошлое предстало на суд: что оно – фундамент грядущего здания, увертюра, пролог, – или самодовлеющий обрывок, капризный фрагмент без завершения, несбывшееся пророчество, бесплодный намек?..

Кто прав – Аксаков, утверждавший, что история русская *«имеет значение всемирной исповеди и может читаться, как жития святых»*, – или Чаадаев, в минуту отчаяния не видевший в ней *«ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника»* и с горечью констатировавший, что *«мы составляем пробел в нравственном миропорядке»*?..

---

<sup>1</sup> «Новости Жизни», 8 апреля 1923 года (Светлое Воскресенье).

Россия ещё не сказала своего исторического слова, не выявила «идеи», в ней заложенной. Она неизменно выступала перед Западом в роли «Сфинкса», страны будущего, народа великих возможностей. Какова же разгадка этого Сфинкса и существует ли она?

– *Чудное дело ваша Россия*, – говорил Шеллинг кн. Одоевскому в 1842 году, – *нельзя определить, на что она назначена и куда идет она? Но она к чему-то важному назначена.*

И сам Одоевский, этот любопытнейший пионер славянофильства, ещё до бесед своих с Шеллингом, в 1833 году, задумавшись о судьбах родины, воскликнул:

– *Россия матушка! Тебя ожидает или великая судьба, или великое падение! С твоей победой соединена победа всех возвышенных чувств человека, с твоим падением – падение всей Европы, такое падение, которое, вероятно, постигло те безымянные народы, которых остатки гаснут в степях Нового Света* (см. Сакулин. «Кн. Одоевский», т. I, ч. 2, стр. 274).

В историю Европы Россия вписывала много страниц, – но они связаны больше с былью войн, побед, завоеваний. Не это – главное. Не этим одним определяется обитель нации в доме Отца...

Не наступает ли время вносить русские мысли в историю мира? – Вопрос этот ставится теперь не только в России и не только русскими. На мечты Одоевского откликнулся Шеллинг, на многие думы Хомякова, Аксаковых, Леонтьева отзывается ныне популярнейший из современных западных мыслителей – Шпенглер. И, помимо него, другие дети западной культуры, люди изощрённых чувств и утончённого интеллекта, Анатоль Франс, Барбюс, Уэллс, Гауптман, Б. Шоу – пристально всматриваются в контуры нашей вещи бури, нашей Великой Революции, провидя за ними какое-то новое свершение, какой-то новый рубеж...

Так ли это?

И охватывает страстная надежда, смешанная с жутким раздумьем и сомнением, – лейтмотив нашей национальной мысли, прекрасно выраженный четверостишием Тютчева:

*Ты долго ль будешь за туманом  
Скрываться, Русская звезда,  
Или оптическим обманом  
Ты обличишься навсегда?..*

Страшен пассив текущих лет, несомненно, заслуживших наименование «лихолетья». Печально современное состояние России, подорванной в жизненных силах своих, и бесплодны попытки всю глубину нашей разрухи замалчивать или игнорировать. Бесконечно дорогою ценою платит народ за великую жизненную школу, за опыт, ведущий к зрелости, за насильственный разрыв с прежними формами жизни, за наследственные свои грехи.

Но этою дорогою ценою, по-видимому, действительно будет куплена народная и, стало быть, национальная зрелость. На широкую историческую арену выйдет весь русский народ, каков он есть, со всеми своими особенностями, но уже без иллюзий детства и отрочества. Ему-то и предстоит сказать всемирно-историческое «слово», лишь предощущавшееся творчеством отроческого его периода. Ему-то, очевидно, и подобает извлечь из-за тумана заветную «русскую звезду»...

Тогда-то и родится та русская культура, по отношению к которой, как думает Шпенглер, творчество самого Достоевского есть не более, чем косноязычный и бессильный детский лепет...

Велика надежда, но и тяжек долг, ей соответствующий. Обетование – в пору неслыханным страданиям, выпавшим на долю русского народа. Страданиям, которым равных трудно найти в европейской истории. Хочется верить: даром такие испытания не посылаются.

Но есть и ещё один конкретный вопрос, чрезвычайно существенный для уяснения «смысла» русской культуры, как исторической задачи.

Судя по всему, из бурь революции Россия выходит отрезвевшей и «оземлившейся», утратившей многое от своей

былой психологии. Часто приходится слышать, что страна психологически «американизируется». Несомненный хозяин новой России – крестьянин – отличается чертами исключительной «органичности», «почвенности», узкой практичности. Новая интеллигенция тоже значительно больше, чем прежняя, предана очередным нуждам дня, «малым делам». По общим отзывам, интеллигенция стала более «мещанской», более «прозаической», но зато гораздо более деловой и социально-полезной. Ушла из русской жизни чеховщина, тургеневщина, исчезли и мотивы народнического «покаяния». – Но не значит ли это, что ушла и «достоевщина»? Что нет уже и гоголевской «птицы-тройки»?..

Но что же остаётся тогда от «великого призвания» России? Не о «второй же Америке» размышляют лучшие люди Европы и не для того же тосковал одинокий Чаадаев, метался в духовной лихорадке Герцен, пророчествовали славянофилы, горел и сгорел Белинский, бредил вещей Достоевский, не для того же творилась русская история и созидалась русская мысль, чтобы после величайшей из национальных революций русский мужик приобщился идее свободного накопления, а русский интеллигент – духу размеренного мещанства!

Тут большая проблема. Пуст беспочвенный романтизм, но недостаточна и умеренная трезвость, **превращённая в самоцель**. В тумане скрывалась русская звезда, пока народ пребывал в атмосфере примитивного существования, а интеллигенция нежилась мыслью в царстве будущего. Но обнажится ли эта звезда в России крепкого мужичка и прочного хозяйственного самосознания, если «очередная забота очередного дня» вытеснит окончательно с поля её зрения все «исторические горизонты» и «мировые задачи»?..

Недавно в специфическом разрезе, в рамках коммунистического мирозерцания, эту проблему поставил в «Известиях» Луначарский (статья «Новый русский человек»). Но она может и должна быть поставлена также и вне этих рамок, во всей своей острой, захватывающей широте.

Отрезвление России (весьма отрадное, конечно) не должно быть, однако, её омещанением. Свежести материального возрождения должна соответствовать напряжённость и глубина духовных порывов. Усвоение чужой цивилизации не должно убить собственной культуры.

Иначе тщетна вера наша. Если Россия, выдержав нынешний кризис, выйдет из него страную безмузыкальной цивилизации только, если она утратит в нём своего Бога, свою *душу живу*, – это будет ни чем иным, как особою лишь формою её исторической смерти, которой так боялся К. Леонтьев. Это будет лишь образом медленного умирания, полным уподоблением западным соседям. За стуком машин и тракторов нельзя забывать «энтелехию» национальной культуры.

И, стоя на роковом рубеже, жадно вперив взоры в туманную даль, где по-прежнему скрывается звезда русской идеи, русской культуры, мы снова и снова с мучительным страхом повторяем вслед за поэтом неумолчный, полный тревоги вопрос:

*Ужель навстречу жадным взорам,  
К тебе стремящимся в ночи,  
Пустым и ложным метеором  
Твои рассыплются лучи?*

Кто знает? Кто ответит? «Великая судьба, или великое падение»? – Что бы то ни было, – не будем терять веры, и вера сотворит чудеса.

## **Трагедия правды**

*(Памяти Л. Н. Толстого,  
как социального философа<sup>1</sup>)*

Платон в «Государстве» уподобляет человеческий род узникам, скованным цепями и ввергнутым в тёмную пещеру. Лица их обращены к стене, противоположной выходу из пещеры, через который в эту мрачную темницу проникает сверху свет. И всё, что видят её обитатели, — это только образы, тени, отражающиеся на стене. Повернуть голову и заметить действительные предметы, жизнь, как она есть, — они не могут, им этого не дано. И, обречённые, живут в царстве теней, принимая их за единственную и подлинную реальность...

Но вот кому-либо из них, избранному свыше счастливицу, удаётся вырваться из этой подземной сферы обмана и мрака. Свет земли сразу ослепляет его, он ничего не видит, и должен ещё приучать свои глаза к восприятию окружающего. Сначала различает он виды ночи, звезды, луну. Но потом и предметы дня становятся доступны ему, и, наконец, ему открывается само солнце, великий источник жизни, счастья и истины...

Но вот он волею судьбы снова возвращается в свое подземелье. Теперь уже ослепляет его пещерная тьма, и глубоко равнодушен он к игре теней, в которой раньше видел, как все, сущность и содержание жизни. И, не переставая, говорит

---

<sup>1</sup> Из речи, произнесенной 20 ноября 1920 года на торжественном заседании харбинских юридических курсов в память Л.Н. Толстого. «Новости Жизни», 21 ноября 1920 г.

о солнце, о мире настоящего бытия, высшей действительности, избличая ложь этих искривлённых бликов, этих сумрачных отображений. Но не понимают его узники, смеются над ним, даже возмущаются его словам и призывам, представляется он им наивным, безумным, ненужным: и впрямь, не помогает он им разбираться в механике теней, познавать законы их соотношений, и анализом их движений познавать принципы их природы... Не облегчает он и мучительной тяжести цепей.

Невольно всплывает в сознании этот бессмертный образ Платона, когда задумываешься о Л. Толстом. Ибо, воистину, подобен он такому узнику, побывавшему «там, наверху» и вернувшемуся к нам, в нашу земную пещеру, с душой, обожжённой солнцем. И сразу тусклы, неинтересны и ненужны, призрачны показались ему наши очередные дела, наша условная, относительная правда, наши временные ценности. И говорил он нам о высоких своих постижениях, о том действительном мире, что ему открылся, о царстве, где правда живет, о всепроникающем нравственном Солнце...

Это Солнце ослепило его, и его такие острые, насквозь пронизывающие глаза словно навсегда утратили желание видеть тени и полутени, его уши, после гармонии духа, ими услышанной, — разучились слушать скучные песни пещеры...

Помните, как раненый князь Андрей смотрел на аустерлицкое небо, на это спокойное, тихое небо и плывущие по нему облака?.. «Нет ничего, кроме него, кроме этого неба». Далекою и ненужною, пустою предстала перед ним его прежняя жизнь с её надеждами и суетой, с войною и Наполеоном, со всем, что казалось столь важным и серьезным... «Царство теней», «мир призраков»...

В жизни Л.Н. Толстого было свое «аустерлицкое небо». Ему открылась правда праведного бытия и её предельной незыблемости, и свет её, такой благодостный и такой ясный, как бы пронизав насквозь всё его существо, раз навсегда отнял у него возможность понимать и ценить условную правду текущей жизни, изменчивую и временную. Подобная правда представилась ему ложью и **только** ложью. Он осудил её, как некогда Антигона, во имя требований абсолютного Добра.



Всё стало для него обманом и грехом, кроме высшего закона любви, живущего в наших сердцах, — этого голоса Божия, обращенного к нам. Только внутри нас, в этом законе — царство Божие, и достаточно это постичь, ощутить, как оно станет жизнью, реальностью, осуществлённым добром.

«Стоит только захотеть» — вот краеугольный камень толстовской этики, её путь и пафос. Стоит людям только понять и захотеть, — и они увидят солнце, и солнце будет в них.

А весь этот долгий путь прогресса, это медленное восхождение по исторической лестнице, вся эта кропотливая и непрерывная внешняя организация людей, право, государство, власть — всё это обман и ложь, бестолковый танец в царстве теней, судороги заблудившегося человечества. И главное, всё это — «великий грех» перед лицом правды, сплошное нарушение истинного и единого закона добра и любви.

Ярко и мощно, всеми красками своей несравненной палитры обличает Толстой пороки наших относительных, «прагматических» ценностей. Последовательно раскрывает он неизбежную греховность всех наших внешних законов, исходящих от насильственного организма государства, извращающего и загрязняющего чистую природу человека. Издевается над этими законами и их служителями. С прямолинейною суровостью пророка отвергает всю культуру, пропитанную фальшью, нравственным компромиссом, извилистой сложностью заблуждения.

Всё это — по ту сторону «аустерлицкого неба». А здесь, с ним — «простота, добро и правда», без которых нет и не может быть величия...

Для него, видевшего солнце, узники пещеры — мечутся в обмане и грехе. Но ведь, с другой стороны, и для этих самых узников не менее очевидна его ослеплённость в тёмной и запутанной пещерной обстановке. «Разучился разбираться в наших делах». Ослеп. И твердит своё, простое и яркое, но не подходящее к нашему лабиринту, не уясняющее в нём ничего и не выводящее из него. — Так говорит, или, по крайней мере, может сказать население сферы теней.

Велика истина любви и непререкаем её закон. Но бесконечно тернист и длинен путь её воплощения в собирательную жизнь людей. Счастлив тот, кому открылось солнце, чья душа зацвела от его лучей. Но ведь пещера этим ещё не устранена, и не сняты оковы с узников... И недостаточно им «лишь захотеть», чтобы пали оковы, как недостаточно ещё понять добро, чтобы воплотить его в себе.

Быть может, это ужасно и тяжело, что жизнь безмерно сложнее гениальной простоты великого русского моралиста. Но тем не менее это так. Это так же верно, как то, что Толстой, как человек, как творец и художник, не умещается, бесконечно не умещается в рамки Толстого – моралиста.

В кризисе духовного самоуглубления он познал правду «в её бытии», в её «идее», как сказали бы философы. Но ему осталась чужда правда «в её становлении», в развитии. Толстой не хочет знать истории. Это – один из самых неисторических, даже антиисторических умов человечества. Он не хочет видеть, что *«всё прекрасное столь же редко, сколь трудно»* (Спиноза), что оно достигается не сразу. **Реальная сила зла для него словно не существует**, и поэтому во всём, что не вмещает в себя добра целиком, «теперь же и здесь же», – он усматривает лишь грех, отрицание, слепоту.

Он фанатически требователен, даже жесток в своем идеале любви, и бесконечно строг к жизни, этот идеал ограничивающей.

«Не противься злу насилеи» – сказало ему высшее откровение, и с тех пор всякое принуждение в его глазах стало безусловно греховным. И так как социальная жизнь человечества строится на начале принудительном (право, государство), он не останавливается перед тем, чтобы отвергнуть всё древо человеческой культуры.

*«Не надо подчиняться государству, не надо идти на войну, не нужно судов, даже науки, искусства не надо»...* Уподобиться полевым лилиям, отдаться закону всеобщей любви. Все люди – братья. Не нужно власти. Не нужно повеления и повиновения.

Эти заповеди — дети высшей правды, как она воспринята великим моралистом. Но во всей своей чистоте брошенные в мир, как действенные призывы, они встречаются с другими заповедями, заветами той же правды, но только воплощающейся во времени. И, встретившись, бледнеют, бессильные себя оправдать в сфере несовершенной, но совершенствующейся жизни.

В самом деле. Отрицание права во имя нравственного совершенства ведет в жизни не к торжеству безусловного добра, а к утрате и тех относительных нравственных достижений, которые воплощаются в праве. Отрицание государства приводит не к царству Божию, а скорее к анархии тьмы, войне всех против всех. Отрицание культуры влечёт за собою не блаженную невинность полевых лилий, а лишь всеобщее огрубение, косность души и ещё большую прикованность её к пещере теней и призраков. И это не случайно, конечно, что в своем отрицании культуры Толстой является самым мощным порождением всемирной культуры и был бы немислим вне её преемственного развития и роста. — Так мстит за себя отвергаемая правда земли.

Это — глубочайшая трагедия земного существования. В здешней жизни людей бывает слишком часто, что призыв к **немедленному** осуществлению предельной правды Божией нарушает **самую эту правду** в её естественном и нормальном, объективном, жизненном воплощении. Люди «града вышнего», подвижники и святые, всегда идут впереди своего века, жизнью своею нарушая его закон. Для мира, лежащего во зле, такие люди — лучшее оправдание и украшение. Но подчас они уже слишком резко расходятся с ним, слишком резко себя ему противопоставляют. И тогда кажется, что они — не от мира. Требования мирские проходят мимо них. И когда условные законы времен, законы государств и народов встают на этих людей, человечество становится свидетелем великой **борьбы правды с самою собою**. Правда в своём законном, конкретном объективно-историческом воплощении сталкивается с правдой в её чистом, отвлечённом, абсолютном выражении.

Люди, предвосхитившие последнее откровение правды и нашедшие в себе силу жить сообразно ему, – такие люди, конечно, должны быть названы нравственно гениальными или святыми. Они морально пленяют и очаровывают, они иногда вносят благодетельные потрясения в жизнь человечества, разрывая связь времен. Они оплодотворяют мир, делая его богаче, ярче, углублённее. Но побеждают его все-таки не они: их святость узка при всём её величии, при всей её необыкновенной красоте. **Они не чувствуют правды относительного, правды обусловленного, и глубоко грешат перед ней** (*sanctus error*). Их трагедия в том, что всю полноту верховного совершенства они пытаются целиком перенести в несовершенную обстановку земли. Побеждает мир идеализм конкретный, целостный, сочетающий в себе и стремление к безусловной правде, и сознание того, что эта правда лишь на небе живет.

Но для нас, русских, всё же особенно близок, понятен Толстой даже и в великом ослеплении своём открывшимся ему солнцем. Именно для России бесконечно характерны этот суровый «максимализм», эта любовь к предельным ценностям, к безусловной, последней правде. *«Все мы любим по краям и пропастям блуждать»* – говорил Крижанич, наш первый славянофил. Гений Толстого живёт в душе его родной страны, и она – в нём. Среди трезвых народов всемирной пещеры Россия опалена, опьянена лучами далёкого солнца, по-своему воспринятого ею. Недаром же превратилась она ныне в чистый факел мира, пламя которого устремляется в безбрежную высь. Она познала на себе, в потрясающих страданиях своих, в своих огненных муках горения, весь ужас своей любви, её Немезиду, – но ведь сердцу не прикажешь...

Социальная философия Толстого – «великий грех», но это – грех праведника. Религиозный анархизм его – великое заблуждение, но это – заблуждение гения, живущего истиной.

И если грех и заблуждение его – грех и заблуждение России, то и праведность его, и гений его – русская святость и русский гений.

## Пестель

(К столетию 14 декабря)

...Это было любопытное время. Царства шатались. Перевороты сменялись переворотами. Европейские языки пребывали в смещении. Витал над Европою саркастический смех Вольтера. Звучали магические формулы Руссо. Мерещились призраки Робеспьера, Сен-Жюста. Ещё не улеглась страшная тень Императора...

Вольнодумство пробиралось подчас даже и в очень благородные мозги. Шатобриан рассказывает, как одна его знакомая, большая парижская аристократка, читая в газетах о падении тронов, невозмутимо промолвила:

— Положительно, напала какая-то эпизоотия на этих коронованных бестий...

...В это время в далёком и холодном Петербурге Магницкий мрачно докладывал царю об опасностях, свойственных дурной, греховной эпохе.

Европу охватил растлевающий дух, который грозит проникнуть и в Россию, — утверждал он. — Это тот самый дух, который скрывался у Иосифа II под личиною филантропии, у Фридриха, энциклопедистов — под скромным плащом философизма; в царствование якобинства — под красною шапкою свободы; у Бонапарта — под трехцветным пером консула, и, наконец, в короне императорской. *«Этот дух с тракта-*

тами философии и хартией конституции в руке поставил престол свой на Западе и хочет быть равным Богу».

...А молодые гвардейские офицеры, восстановив в Париже легитимную монархию, возвращались домой в Петербург под гипнозом духа укрощённой ими революции, опьянённые воздухом свободы. Кружились головы. Воспламенялись сердца от отечественных несовершенств. Жадно следили за появлением то там, то здесь новых представительных учреждений. Друзья, встречаясь, спрашивали друг друга:

— Ну, что, нет ли ещё какой-нибудь свежей конституции?..

Пестель впоследствии в следующих словах изображал тогдашние настроения, атмосфера коих породила 14 декабря:

*«Происшествия 1812–1815 годов, равно как предшествовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учреждённых, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций свершённых, столько переворотов произведённых, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобствами оные производить. К тому же имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположностей. То же самое зрелище представляет и вся Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать. Вот причины, полагаю я, которые породили революционные мысли и правила и укоренили оные в умах».*

Павел Пестель, бывший адъютант графа Воронцова, полковник Вятского пехотного полка, несомненно, был центральной фигурой декабризма.

Он идеолог, он и практик. Он пишет «Русскую Правду», т.е. будущую конституцию российской республики, — и он же руководит подготовкою восстания, вербует заговорщиков

и вдохновляет тайное общество. Без него всё распадается, лезет по швам.

*«Он не только самовластно управлял Южным обществом, — характеризует его следственная комиссия, — но имел решительное влияние и на дела Северного. Он господствовал над сочленами своими, обворожал их обширными познаниями и увлекал силою слова к преступным намерениям его разрушить существующий образ правления, ниспровергнуть престол и лишить жизни августейших особ императорского дома. Словом, он был главою общества и первейшею пружиной всех его действий».*

Таким рисуется полковник Пестель и по другим документам Декабря. Это человек ясного сознания и железной воли. Это человек незаурядный. Пушкин после свидания с ним в Кишиневе в 1821 г. недаром категорически констатирует:

*— Умный человек во всём смысле этого слова... Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...*

Он знает, на что и куда идёт. Среди декабристского общества это остров твёрдой земли среди голубого романтического тумана. У него есть план и цель. Обдуманы у него и средства.

Цель — процветание, величие родины. Пестель прежде всего русский патриот. *«Настоящая моя история, — пишет он в тюрьме в тягостном ожидании приговора и смерти — заключается в двух словах: я страстно люблю моё отечество, и желал его счастья с энтузиазмом»...*

Пестель — суровый и жесткий государственный деятель. Он любит родину в образе **великого государства**. В отличие от конституционного проекта Никиты Муравьева, «Русская Правда» глубоко проникнута инстинктом и разумом великодержавия. Пестель понимает, что текущая эпоха — эпоха великих государств. Россию он мыслит мощной державой, построенной на фундаменте разумного централизма. Он отвергает муравьевскую тенденцию федерализации, опасаясь, что при ней *«любовь к отечеству будет ограничиваться любовью к одной своей области»...* Проект Муравьева грозит воскресить удельную систему, и в «Русской Правде» самая мысль о расчленении

государства *«отвергается совершенно, яко пагубнейший вред и величайшее зло»*. Можно вообще сказать, что если Муравьев был «жирондистом декабризма», то Пестель — его несомненный и последовательный **якобинец**.

Великая Россия может и должна быть только республикой. Южное Общество решительно настаивало на этом. *«Я вспомнил блаженные времена Греции, когда она состояла из республик, и жалостное её положение потом. Я сравнивал величественную славу Рима во дни республики с плачевным её уделом под правлением императоров. История Великого Новгорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей»*.

Республика, таким образом, рисуется надёжным условием государственного благоденствия и величия.

Республика Пестеля достаточно радикальна. В ней отрицаются сословия, провозглашается полное равенство граждан перед законом, решительно отвергается характерный для конституционного проекта Муравьева цензовый принцип: *«Сия ужасная аристократия богатств, — отзывается Пестель о муравьевской идеологии, — заставила многих, и в том числе и меня, противу его конституции сильно спорить»*. Пестель — на левом фланге декабризма.

Но мало того. В государстве «Русской Правды» слышатся, пусть ещё отдалённые, мотивы «государственного социализма». Государство играет руководящую роль в деле распределения земель. Значительная их доля не уходит в руки частных собственников, а остаётся в распоряжении самого государства. Эта черта позволила Герцену в своё время заявить, что Пестель «был социалистом раньше, чем появился социализм». Герцен, конечно, тут увлекался, смешивая этатизм с социализмом, — но это уже тонкости, детали... И разве один Герцен у нас повинен в таком увлечении и смешении?..

*«Если собрать воедино черты государства Пестеля, — пишет известный исследователь декабризма проф. Довнар-Запольский, — то они распадутся на основные три типа: государство античного мира, государство социалистическое и государство наполеоновского режима»*.



Если оценивать всё это под знаком протекшего сегодня столетия, нельзя не признать, что в Пестеле, как явлении русской политической мысли, было немало пророческого...

Жестокий, волевой характер, Пестель шёл к своей цели упорно и упрямо, не останавливаясь на выборе средств. По свидетельствам окружающих, он отличался «математическим умом и математической убежденностью». Он умел руководиться холодным расчетом. Он *«никогда ничем не увлекался»* – характеризует его Якушкин.

Единственный из декабристов, он понимал, что нельзя делать революцию в белых перчатках – особенно в России. Он сознавал, что нелепы мечты сразу перевести русский народ с железной узды самодержавия на зеленое пастбище мирного демократизма. Он отдавал себе чёткий отчёт в **технике переворота**. Он не слишком надеялся на **непосредственную** самодеятельность масс и огромное значение придавал наличию твердого, авторитетного руководства.

*«Сама по себе масса есть ничто, – говорил он в интимной беседе Поджио, – она будет тем, что сделают с ней индивидуумы, в которых основа всего».* Центр тяжести – в умелом, умном, энергичном **руководстве**.

Отсюда и основное разногласие в тактике с Муравьевым. Как и большинство декабристов, Муравьев был сторонником правомерно демократического образа действий. Выработав **проект** конституции, он считал, что необходимо немедленно же после переворота поставить его на всенародное обсуждение и вручить его судьбу решению всенародного собора. Это путь, который теперь мы назвали бы путем «формальной демократии».

Пестель защищал радикально иную точку зрения. Он не сомневался в практической бесплодности и даже вредности благодушных рецептов Муравьева. Он горячо спорил с «учредителями» своего времени и своей среды.

Он крепко отстаивал мысль, что основные необходимые реформы нужно проводить не через формальную процедуру «всенародного» обсуждения и утверждения, а через **диктатуру**

**Верховного Управления.** Он доказывал, что конституционные начала, до времени оставаясь тайной инициативной группы, не должны быть обнародованы, во избежание сутолоки и никчёмных словопрений. Он считал, что правление Общества должно сперва устранить членов императорской фамилии и объявить себя через приведённые к покорности Синод и Сенат Верховным Правительством, облечённым неограниченной властью, и раздать важнейшие должности своим сторонникам.

Залог успеха Пестель усматривал в принципе диктатуры, а не в нормах формального народоправства. Народоправство придёт потом, утвердится посредством диктаториальной власти Верховного Управления. *«Временное Верховное Управление обязано новый государственный порядок, Русскою Правдою определённый, постепенными мероприятиями ввести и устроить, а народ обязан сему введению не только не противиться, но, напротив того, Временному Верховному Правлению усердно всеми силами содействовать и неуместным нетерпением не вредить преуспеванию народного возрождения и государственного преобразования».* Пестель надеялся, что Верховному Управлению удалось бы осуществить необходимые реформы приблизительно в десятилетний промежуток времени. Но трудно сомневаться, что произойди тут «ошибка в темпе» — он всё равно продолжал бы твёрдо стоять на основной своей позиции...

Если по своему темпераменту, по психологическому складу своему, Муравьев был «меньшевиком» декабризма, то Пестель — его несомненный и ярко выраженный **большевик**.

Его резкие суждения, его прямолинейная суровость в средствах, его авторитарные концепции и диктаторские повадки — зачастую смущали его вольных и невольных сотоварищей. Несмотря на всю силу его влияния в Обществе, многие члены чуждались его, почти никто его не любил. И, уж конечно, никто как следует не понимал его.

*«Полковник Пестель, — показывает Басаргин, — имел тогда сильное влияние в обществе нашем, хотя и в то время мы говорили, что он мыслит слишком вольно. Весьма часто*

в некоторых, даже ничтожных разговорах нам казалось, что Пестель рассуждает несправедливо, но, не желая с ним спорить, мы оставляли его при его мнении, а говорили без него о сем между собою». Он покорял математической логикой мысли, но вместе с тем и устрашал ею.

Показания Трубецкого Следственной Комиссии – сплошной оговор Пестеля, обвинительный акт против него, раздражённая брань по его адресу. *«Я не рождён убийцею, – восклицает неудачливый, злосчастный «диктатор», – я желал отойти, видя себя между людьми, готовыми на убийство»*. Говоря о планах Пестеля, он, не обинуясь, характеризует их злобно–ироническим указанием:

– Сам он садился в Директорию...

Полковник Комаров определяет Пестеля как «самого ревностного члена Общества и самого опасного». Он утверждает, что оттолкнулся от заговорщиков главным образом из-за Пестеля, узнав его короче, *«познавши его безнравственность, его порочность души, сухой, хитрой и способной на всё гнусное»*...

Н. Муравьев, с своей стороны, морально содрогнулся, выслушав изложенный Пестелем план переворота. *«Весь план, – признается он – показался мне столь несбыточным и невозможным, сколь варварским и противным нравственности»*.

Рылеев также недолюбливал Пестеля, «хитрого честолюбца», не доверял ему и хотел даже установить за ним наблюдение.

Его обвиняли в честолюбии, жестокости, вероломстве. И никто, никто не понимал, что в его голове гнездилась целостная, глубоко продуманная, принципиально выдержанная **система**, тактика большого полёта. Конечно, он лучше своих соратников учитывал логику политического действия, глубже проникал и в природу русской народной стихии. Он чувствовал русский народ куда лучше Рылеевых и Муравьевых. Его организационный план был проникнут чутьём реальности и полон действенности: не его вина, что его окружала социальная и политическая пустота. Быть может, его вина лишь в том, что он не хотел постичь величия исторического Петербурга

и по-своему осмыслить парадокс Николая, брошенный им Завалишину:

– **Зачем вам революция? Я сам вам революция...**

Но для этого Пестелю нужно было перестать быть Пестелем... Да и Николай должен был бы, пожалуй, перестать быть Николаем...

Склонись волею чуда (исторически, конечно, это было весьма маловероятно) победа на долю романтиков 14 декабря, – власть сначала очутилась бы в изящных, благородных руках героев русского жирондизма. Но, вероятно, Трубецкие и Рылевы не успели бы ещё провозгласить всех полагающихся вольностей, не успели бы собрать столь дорогого их сердцам «собора», как возлюбленный ими народ обернулся бы к ним своим совсем не поэтическим, но очень реальным и очень национальным ликом. И пробил бы тогда час Пестеля...

Ну, а что же было бы дальше? На этот счёт возможны лишь гадания и намеки...

Один из них налицо. Рылеев передает любопытный свой разговор с Пестелем: *«Зашла речь о Наполеоне. Пестель воскликнул:*

*– Вот истинно великий человек, по моему мнению; уже если иметь над собою деспота, то иметь Наполеона. Как он возвысил Францию, сколько создал новых фортун! Он отличал незнатность и дарования!»*

Рылеев возмущился до глубины души. Ему грезились лавры Вашингтона, он любил воспевать Брута, – а здесь его ближайший соратник вдруг взывает к жизни тень нового Цезаря...

Он не мог и не хотел понять, что эта фраза, вырвавшаяся у Пестеля, вскрывает глубокие родники его политического миросозерцания, его работы, его смертной борьбы. В якобинизме эвентуально живет бонапартизм. Бонапартизм выступает исторически прежде всего как **самокритика якобинизма**. Исторически и логически они взаимно связаны. И тот, и другой умеют одинаково «отличать незнатность и дарования», выдвигать «новые фортуны». И тот, и другой государственны. И тот, и другой выходят из народа, чтобы вести народ

за собой. И тот, и другой **народны**, но не «демократичны». Переход от первого ко второму есть своеобразная **реализация** первого, консолидация его жизнеспособных элементов. Франция недаром была свидетельницей, как «вчерашие Бруты становились слугами пришедшего Цезаря». Тут, следовательно, меньше всего – погрешности или скачки индивидуальной мысли Пестеля. Тут её характерная направленность, её отважнейшее самообнаружение. Тут она – значок какой-то большой исторической логики, революционной диалектики...

*«Пока человек будет человеком, – писал Карлейль, – Кромвель или Наполеоны будут неизбежным завершением санкюлотизма»* («Герои и героическое в истории»).

И когда теперь задумываешься о декабризме и хочешь тщательнее понять его смысл, его судьбу, его душу, – неизменно в сознании воскресает образ его выдающегося идеолога и первой жертвы его – **Пестеля**.

## **Пророческий бред**

*(Герцен в свете русской революции)*

Недавно мне довелось перечитать Герцена, – и с острою, свежелою силой запечатлелась в сознании мысль о глубочайшей «органичности» русской революции, её коренной связи с духовным ядром русской общественной мысли. Прямо поражаешься, до чего современны основные мотивы публицистики «Колокола», размышлений «Дневника», заветов «С того берега»...

Вне всякой зависимости от оценки свершающегося кризиса принуждаешься признать, что он **национален** в подлинном и полном смысле этого слова. Его пророчески предсказывали наши лучшие люди, то ужасаясь его ликом, как Достоевский, то зажигаясь его пафосом, как автор «Былого и дум»...

Должно быть, в самом деле заложен он был в русской стихии, русском духе, и нужен был в замысле всемирно–историческом. Через него Россия исполняет некое мировое предназначение, являет народам какой–то великий урок (Чаадаев). Какое предназначение, какой урок, – сейчас мы можем только гадать и предчувствовать: узнаем по плодам. Но что духовная роль России в мире становится исключительной, как никогда, – этого не видеть могут разве только безнадёжные слепцы да сухие книжные черви стиля гётевского Вагнера.

Вдумываюсь в настроения Герцена дней расцвета его публицистической деятельности. Потом, в знаменитых письмах

«к старому товарищу», он разочаруется во многих элементах своей революционной веры. Её символ, однако, не становится от этого менее характерным. Герцен – пророческое явление всюю линией своего жизненного пути.

## I.

Прежде всего чрезвычайно знаменательна его оценка западно–европейского мира. Он чувствует, что крылья смерти веют над всей современной цивилизацией, для него ясна дряхлость старой Европы. Сдвиг неминуем, так долго продолжаться не может:

*«Всё кончено: представительная республика и конституционная монархия, свобода книгопечатания и неотъемлемые права человека, публичный суд и избранный парламент. Дыхание становится легче, воздух чище; всё стало страшно просто, резко... Куда ни помотришь, отовсюду веет варварством – из Парижа и из Петербурга, снизу и сверху, из дворцов и мастерских. Кто покончит, довершит? Дряхлое ли варварство скипетра, или буйное варварство коммунизма? Кровавая сабля, или красное знамя?»<sup>11</sup>*

«Принципы 89 года» изжили себя, и, так как современная Европа проникнута ими насквозь, – она умирает вместе с ними. – *«Мне кажется, что роль теперешней Европы совершенно окончена; с 1848 года разложение её растет с каждым шагом... Разумеется, не народы погибнут, – погибнут учреждения: римские, христианские, феодальные, парламентские, монархические или республиканские, – всё равно»* (VIII, 29).

То, что стало основной злобою нашего революционного дня, великий русский публицист предчувствовал семьдесят лет тому назад. Политические формы Европы, устои «формальной демократии» внутренне гнили и должны быть сметены. И он говорит об этом почти словами русских революционеров двадцатого века, ополчающихся на «парламентаризм»:

<sup>11</sup> Т. VI, стр. 126. Цитирую по последнему изданию наследников автора под редакцией М.К. Лемке (Петроград, 1915–1917).

*«Мир оппозиции, мир парламентских драк, либеральных форм, – тот же падающий мир. Есть различие – например, в Швейцарии гласность не имеет предела, в Англии есть ограждающие формы, – но если мы поднимемся несколько выше, то разница между Парижем, Лондоном и Петербургом исчезнет, а остаётся один факт: раздавленное большинство толпою образованной, но не свободной, именно потому, что она связана с известной формой социального быта» (V, 287).*

Никакие **политические** реформы не способны облегчить положения. Никакая республика сама по себе сделать ничего не в состоянии. Герцен решительно обличает близорукость республиканцев типа Ледрю–Роллэна и его друзей:

*«Республика – так, как они её понимают, – отвлечённая и неудобноносимая мысль, плод теоретических дум, апофеоз существующего государственного порядка, преобразование того, что есть; их республика – последняя мечта, поэтический бред старого мира... Они воображают, что этот дряхлый мир может, как Улисс, поюнуть, не замечая того, что осуществление их республики мгновенно убьёт его; они не знают, что нет круче противоречия, как между их идеалом и существующим порядком, что одно должно умереть, чтобы другому можно было жить. Они не могут выйти из старых форм, они их принимают за какие-то вечные границы, и оттого их идеал носит только имя и цвет будущего, а в сущности принадлежит миру прошедшему, не отрешается от него» (V, 419).*

Необходим **социальный** переворот, глубокий, радикальный. Он неизбежен и желателен одновременно. Только он обеспечит торжество действительной, а не мнимой демократии, только он освежит историю. Но, по мнению Герцена, парламентаризм настолько испортил западные народы, что они уже вряд ли способны самостоятельно порвать его оковы.

*«Мы присутствуем при великой драме... Драма эта не более и не менее, как разложение христианско-европейского мира. О возможности (не добив, не разрушив этот мир) торжества демократии и социализма и говорить нечего.*



Если считать в империи Наполеона III 10 милл[ионов] *citoyens actifs*, то один миллион падает на девять ретроградных, состоящих из буржуа, мелких землевладельцев, легитимистов и оранг–утангов. Оранг–утанги, не развившиеся в людей, составляют вообще четыре пятых всей империи и 0,96 всей Европы. *Suffrage universel* – последняя пошлость формально политического мира, – дала голос оранг–утангам, ну, а концерта из этого не составить... Из вершин общества европейского и из масс ничего не сделаешь; к тому же оба конца эти тупы, забиты с молодых лет, мозговой протест у них подгнил... Я решительно отвергаю всякую возможность выйти из современного импасса **без истребления существующего**. И дальше: «Победа демократии и социализма может быть только при экстерминации существующего мира с его добром и злом и его цивилизацией. **Революция, которая теперь готовится (я вижу её характер очень вблизи) ничего не имеет похожего на предыдущие. Это будут сентябрьские дни в продолжении годов**» (V, 243, 246. Курсив мой.— Н.У.).

Но, настойчиво подчеркивает Герцен, что освобождающаяся и творческая революция загорится впервые не на Западе, слишком усталом для творчества. Она может спасти западные народы – и только она одна! – но они уже не в состоянии своими силами дать ей жизнь.

«Чем пристальнее я всматривался, тем яснее видел, что Францию может воскресить только коренной экономической переворот – 93 год социализма. Но где силы на него?.. где люди?.. а пуще всего – где мозг?.. Париж – это Иерусалим после Иисуса; слава его прошлому, но это – прошлое» (V, 23; VI, 534). «Революционная идея нашего времени **несовместна** с европейским государственным устройством: они друг к другу идут так, как английские законы к Японии или бренденбургское право к древней Греции... Всё в Европе стремится с необычайной быстротой к коренному перевороту или к коренной гибели; нет точки, на которую бы можно опереться; всё горит, как в огне, – предания и теории, религия и наука,

новое и старое» (VI, 98-99). Как правоверные в Мекку, как крестоносцы в Иерусалим, устремились русские энтузиасты в Европу, «страну святых чудес», как её назвал Хомяков. И что же? – *«Средневековые пилигримы находили, по крайней мере, в Иерусалиме пустой гроб – воскресение Господне было снова подтверждено: русский в Европе находит **пустую** колыбель и женщину, истомлённую мучительными родами»* (VIII, 24).

Вот ещё когда в сознании русской интеллигенции слагались замыслы небывалой, несравненной революции! Властитель дум двух поколений, Герцен питал их идеями, прочно вкоренившись в организм русского духа. Каковы бы они ни были, эти идеи и впечатления, – правильные или ошибочные, благодетельные или тлетворные, – они превращались в «идеи-силы», готовые рано или поздно стать жизнью. Помимо этого, вершился эффектнейший факт: вождь западников констатировал смертную болезнь Европы. Жизнь подсказывала своеобразный творческий синтез славянофильства и западничества. И разве синтез этот не звучит лейтмотивом в бурной симфонии нынешней нашей грозы?..

## II.

Социализм, коммунизм – вот, по убеждению Герцена, единственное средство исцелить умирающую цивилизацию. Всю силу своего публицистического пафоса влагает он в проповедь новой религии. *«Религия революции, великого общественного пересоздания, – пишет он сыну «с того берега» – одна религия, которую я завещаю тебе. Она без рая, без вознаграждений, кроме собственного сознания, кроме совести»*. И еще определённое – в письме редактору журнала «L'Homme»: *«Социализм отрицает всё то, что политическая республика сохранила от старого общества. Социализм – религия человека, религия земная, безнебесная, общество без правления, воплощение христианства, осуществление революции... Христианство преобразовало раба в сына человеческого; революция преобразовала отпущенника в гражданина; социализм хочет*

из него сделать **человека**. Христианство указывает людям на сына Божия, как на идеал, социализмом сын объявляется **совершеннолетним**, человек хочет быть более чем сыном Божиим – он хочет быть **самим собою**» (V, 386; VIII, 30). Нетрудно заметить, что социализм тут воспринимается религиозно, и Фейербаховская традиция загорается всеми огнями религиозно–революционного энтузиазма. На почве именно этих построений созреет тот герой Достоевского, который – помните? – выкинул на улицу святыне образа, «в своей же комнате разложил на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Молешота и Бюхнера, и перед каждым налоем зажигал восковые церковные свечи»...

Действительная, плодотворная революция – утверждает Герцен, – может быть лишь социалистической. «Современная революционная мысль совершенно меняет свою основу. Современная революционная мысль – это социализм. Без социализма нет революции. Без него есть только реакция, монархическая ли, демагогическая, консервативная, католическая или республиканская!» (VII, 229). – Разве не та же самая мысль ляжет в основу нынешней русской «октябрьской» идеологии? Родство по прямой линии! Революция должна быть углублена, «буржуазная революция» с её демократическими реформами есть лишь толчение воды в ступе... «Упрекайте и ругайте сколько угодно, – предвосхищает эту идею Герцен – петербургский абсолютизм и нашу русскую безропотную покорность, но ругайте же везде и умеете разглядеть деспотизм всюду, в какой бы форме он ни являлся: в виде ли президента республики, или Временного Правительства, или Национального Собрания... Мы теперь видим, что все существующие правительства, начиная с наиболее скромного швейцарского кантона и кончая автократиею всея Руси, – лишь вариация одной и той же темы» (V, 328).

Но раз так, раз только социальная революция может спасти человечество, а Европа уже слишком утомлена, чтобы её осуществить – то откуда же ожидать спасения?

И взгляд Герцена крепко приковывался к России. Да, это именно она, это только Россия несёт миру новую зарю. Великое дерзание – удел России, ибо она молода, она свободна от гирь многовековой культуры, стесняющих поступь Запада. При создавшихся условиях наша отсталость – наш плюс, а не минус. *«Ничто в России не имеет того характера застоя или смерти, который постоянно и утомительно встречается в неизменяемых повторениях одного и того же, из рода в род, у старых народов Запада. В России нет ничего оконченного, окаменелого; всё в ней находится ещё в состоянии раствора, приготовления. Гакстаузен справедливо выразился, что в России всюду видны «недоконченность, рост, начало». Да, всюду чувствуешь извесь, слышишь пилу и топор... Мы в некоторых вопросах потому дальше Европы, свободнее её, что так отстали от неё... Европа идет ко дну оттого, что не может отделаться от своего груза, – в нём бездна драгоценностей, набранных в дальнем, опасном плавании. У нас это искусственный балласт, за борт его, – и на всех парусах в широкое море! Европеец под влиянием своего прошедшего не может от него отделаться. Для него современность – крыша многоэтажного дома, для нас – высокая терраса, фундамент. Мы с этого конца начинаем».* И неоднократно цитирует Герцен, обращаясь к родине, глубокое четверостишие Гёте:

*Dich stört nicht im Innern  
Zu lebendiger Zeit  
Unnützes Erinnern  
Und vergeblicher Streit...<sup>2</sup>*

*«Не смейтесь, – пишет он друзьям 6 сент[ября] 1848 года. – Аминь, аминь, глаголю вам, если не будет со временем деятельности в России, – здесь (т.е. в западной Европе. – Н.У.) нечего ждать, и жизнь наша окончена – ich habe gelebt und geliebt...»* (VIII, 45; V, 110 и сл., 236).

<sup>2</sup> «Твоего нутра не терзает посреди живой современности ненужное воспоминание и бесполезная распря» (перевод С. С. Аверинцева) (*Прим. ред.*).

«Мы обогнали, потому что отстали» — разве не точь-в-точь эту формулу упорно твердит в наши дни Ленин, разумеется, вне всякой сознательной связи с мечтою Герцена. Но эта мечта, становящаяся вещью, очевидно, как-то связалась с русской жизнью, вошла в организм души русской интеллигенции, и вот вдруг причудливо воплощается в грозу и бурю...

Итак, *«Россия — юный шалопай, сидящий в тюрьме; он ещё ничего не сделал путного, но обещает. Почтенный же старик рядом с ним уже много сделал, быть может, ещё кое-что сделает, — но он стар»...* (VIII, 90).

В духовном облике России обозначены черты, как раз необходимые для оздоровления современного человечества. Об этих чертах Герцен отчетливо напоминает Мишле в своём знаменитом письме к нему:

*«Россия никогда не будет протестантскою. Россия никогда не будет juste milieu. Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими. Мы, может быть, требуем слишком многого и ничего не достигнем; может быть, так, но мы всё-таки не отчаиваемся. Прежде 1848 года России не должно, невозможно было вступить в революционное поприще, ей следовало доучиться, и теперь она доучилась»* (VI, 457). Значит «теперь», т.е. в середине прошлого века, мы уже созрели для революции и доросли до социализма!!

Если в России нашему добровольному изгнаннику перлом революционного создания представлялась Европа, то в Европе его взор устремляется домой. *«Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил своим духовным возвращением на родину. Вера в Россию спасла меня накануне нравственной гибели»*. И еще: *«Дорого мне стало знание Запада; насколько мог, я его узнал, и расстался с ним. Я сочувствую его мыслям, но не сочувствую ни его людям, ни его делам. Вера в будущее России одна пережила все другие»* (V, 110; VIII, 290).

Эта вера вдохновлялась не только величием, но и **своеобразием** исторической миссии России. В своем революционном подвиге наша родина не будет рабски руководствоваться образцами Запада. *«Прошлое западных народов служит нам поучением и только; мы нисколько не считаем себя душеприказчиками их исторических завещаний»*. Россия семимильными шагами пройдет пространство, преодолевавшееся Западом кровью и потом на каждом вершке. *«Не должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или её жизнь пойдет по иным законам? Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений. Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития наших предшественников, но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования... Россия проделала свою революционную эмбриогению в «европейском классе»... Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы заплатились за неё виселицами, каторжною работою, казематами, ссылкой, разорением и нестерпимую жизнью, в которой живем!»* И в речи, произнесённой перед иностранцами 27 февраля 1855 г. в память февральской революции, Герцен бросает ту же мысль с чувством нескрываемой гордости: *«Нам вовсе не нужно проделывать вашу длинную, великую эпопею освобождения, которая вам так загромождила дорогу развалинами памятников, что вам трудно сделать шаг вперед. Ваши усилия, ваши страдания – для нас поучения. История весьма несправедлива, поздно приходящим даёт она не обглодки, а старшинство опытности. Всё развитие человеческого рода есть ни что иное, как эта хроническая неблагоприятность»* (VI, 456; VIII, 46, 151).

Таким образом, великая революция придет из России, и старая Европа, до мозга костей больная мещанством, будет бояться этой революции. Бояться за свой «груз культуры», за «развалины памятников», за «бездны ценностей», ставших фетишами...

Разве в этом бреде революционного романтизма нет ничего пророческого? Разве современная философия «скифства» не

содержится в нём, как в зерне? Разве «зерцалом в гадании» не постигает он ту огромную пропасть между февральской импотенцией и мучительными октябрьскими родами, которую нам суждено узреть «лицом к лицу»? И, наконец, — разве не явился сам этот пророческий бред одною из сил, приведших Россию к нынешнему великому лихолетью?..

### III.

Свою веру в будущность России Герцен, как известно, связывал с чрезвычайно высокой оценкой крестьянской **общины**. Община приучила наш народ к социализму, от неё непосредственно легко перейти к социалистическому строю общества, осознанному на Западе, но невоплотимому там без русского импульса: *«Слово **социализм** неизвестно нашему народу, но смысл его близок душе русского человека, изживающего век свой в сельской общине и в рабочей артели. В социализме встретится Русь с революцией»*. Европейская идея, усвоенная русской интеллигенцией («европейским классом» — по Герцену), найдет через неё осуществление в русском народе. *«Социализм ведёт нас обратно к порогу родного дома, который мы оставили, потому что нам тесны были его стены, потому что там обращались с нами, как с детьми. Мы оставили его немного недовольные и отправились в великую школу Запада. Социализм вернул нас в наши деревенские избы обогащённых опытом и вооружённых знанием. Нет в Европе народов, более подготовленных к социальной революции, чем все неонемеченные славяне, начиная с черногорцев и сербов и кончая народностями России в недрах Сибири... Я чую сердцем и умом, что история толкается именно в наши ворота»* (VII, 229, 253; VIII, 494). Русскому народу после революции нетрудно будет привить себе социализм. *«Отделавшись от царя Николая», он сразу превратит в действительность мечту, недостижимую для Запада. «Социализмом революционная идея может у нас сделаться народною. В то время как в Европе социализм принимается за знамя беспорядка и ужасов, у нас,*



напротив, он является радугой, пророчащей будущее народное развитие... Время славянского мира настало. **Таборит**, общинный человек, тревожно раскрывает глаза. Социализм, что ли, его пробудил?» (VIII, 53, 56).

Конечно, в этой своеобразной идеализации общины было много наивного утопизма, и недаром позднейшее поколение упрекало за неё Герцена. Конечно, община не сыграла той роли, которую предназначал для неё наш «барин–социалист». Но не в ней суть дела. Она – в осанне социализму и в теории мессианского призвания России. И та, и другая прочным «завоеванием» вошли в русскую интеллигентскую душу, воспитывая в ней те струны, что ныне, празднуя пробуждение русского народа, зазвучали на весь мир.

«Коммунизма бояться нечего, он же неотвратим, это будет истинная ликвидация старого общества и введение во владение нового» (VI, 430) – вот лозунг, брошенный нашему «европейскому классу» его вождём ровно семьдесят лет тому назад. Что же, разве не современен теперь этот лозунг?

В течение семи десятилетий уясняла и заботливо углубляла его наша общественно–политическая мысль и вот, наконец, спала завеса и во всей своей жуткой реальности предстал «новый мир», выстрадавший в подполье, вырешенный в бесконечных сектантских спорах, искуплённый каторгой и казематами. На практике познали мы смысл различия, с такою назидательною ясностью и поразительной злободневностью терминологии устанавливаемого Герценом: «Главное различие между социалистами и политическими революционерами состоит в том, что последние хотят переправлять и улучшать существующее, оставаясь на прежней почве, в то время как социализм отрицает полнейшим образом весь старый порядок вещей с его правом и представительством, с его церковью и судом, с его гражданским и уголовным кодексом, – вполне отрицает так, как христиане первых веков отрицали мир римский». И уж, конечно, прежде всего истребляет новый мир презренную «представительную систему» – это «хитро продуманное средство перегонять в слова и бесконечные спо-



ры общественные потребности и энергическую готовность действовать». Разумеется, «ни этих вселенских соборов для законодательства, ни представителей в роли первосвященников вовсе не нужно» (V, 440, 494)... Воистину, браво матрос Железняк имел бы полное основание подтвердить звучной цитатой из Герцена свой решительный поступок 5 января 1918 года... если бы это не было практически излишне...

Однако, достаточно. Это тема для монографии, а не для схематичной журнальной статьи. Этим букетом цитат мне сейчас хочется реабилитировать лишь самую простую истину, столь часто отрицаемую ныне в ложных полемических целях: истину глубоких духовных корней русской революции. Не извне навязана она русскому народу, а является органическим его порождением, со всеми светлыми и тёмными сторонами своими. Она есть одновременно апофеоз и Немезида истории русской интеллигенции, русской политической мысли, и трудно сомневаться, что со временем будет она признана моментом напряжённейшего бытия России. Она – страшный суд над всеми нами...

О, конечно, не может быть сомнения и в том, что Герцен ужаснулся бы многому, что ныне творится. Он слишком любил свободу, чтобы приветствовать **такое** осуществление своих чаяний. *«Всю жизнь я служил одной и той же идее, имел одно и то же знамя, – недаром писал он Маццини в 50-м году, – война против всякого догматизма против всех видов рабства во имя безусловной независимости личности»* (VI, 141). Ополчаясь на «принципы 89 года», он не замечал, что сам подпадает под их обаяние, и это не замедлили ему поставить в вину, как «человеку сороковых годов», его более последовательные преемники. Вероятно, он ужаснулся бы многому из того, что теперь свершается, но это не освобождает его от прямой ответственности: разве не говорил он с подъемом про «сентябрьские дни в продолжение годов»?! А тот протест против «западного мещанства», в котором пафос века сего доходит до апогея, – разве не готовился он поколениями русской интеллигенции, всевозможными струями русской

мысли? Разве революция, как в господствующем аккорде, не сливается в нем с реакцией?..

Это благодарнейшая задача уже не так далёкого будущего – вскрыть национальные истоки великого кризиса наших дней, его светлого и тёмного ликов. И не только благодарнейшая, но и насущнейшая. Интеллигенция наша часто не хочет ныне узнавать себя в революции. Это не только великая ошибка, но и великий грех: чтобы действительно исправиться, чтобы реально совершенствоваться, нужно прежде всего **познать себя.**

# 1914—1924

## I. Юбилей смерти

Первой мыслью нашей сегодня пусть будет скорбная, благоговейная мысль о тех, кто пал на полях чести, сражаясь за родину. Этот печальный, грустный юбилей не может прежде всего не оживить вечной связи с дорогими мертвецами. Это день великих поминок, когда с безусловной самоочевидностью ощущаешь, что нация есть союз не только живых, но и мёртвых. Сегодня мы не можем, не имеем ни права, ни силы повиноваться старому завету, предписывающему лишь мёртвым хоронить своих мертвецов; сегодня смерть нам так же близка, как жизнь.

Каковы бы ни были причины войны и её результаты, как горько ни посмеялась действительность над кровью и смертью — кровь и смерть героев должны остаться священными в памяти народов. Не вина погибших миллионов, что гибель их не искупила, не смогла искупить падения современной цивилизации. Быть может, судьба потребует новых искупительных жертв. Но и уже принесённые — святы.

Именно в свете смерти выступает в нашем сознании сегодняшний день. В ушах звучит, непрощеный, тютчевский стих:

Нынче день молитвы и печали,

Нынче память рокового дня...

Да, воистину **роковой день!** Разом, в грозе и буре, вырвалась на свет Божий страшная болезнь, разрушавшая душу и тело культурного человечества. Прежде тайная, скрытая под роскошным убранством внешнего прогресса, теперь она стала явной. Разорваны многоценные ризы, прерван показной мир, фурии ненависти и ангелы смерти выпущены на волю. И доселе летают над взбаламученными народами.

В Париже сегодня будет радостное, пышное торжество. То же самое, конечно, в Риме, Лондоне, Праге, Варшаве и т.д. В Москве грандиозная демонстрация противопоставит военным лозунгам революционные. Будет повсюду шумно, плакатно, крикливо...

Но лучше бы всему человечеству облечься в траур на сегодняшний день. Торжествовать по существу некому и нечего. Победителям не больше поводов к празднеству, чем побежденным, и революционерам не больше, чем милитаристам. Болезнь цивилизации не изжита, изнурительная лихорадка трясет народы Европы.

Нет, не к добру, не к возрождению пронеслась эта странная буря. Осенью бури не животворят. От них лишь никнут последние цветы, срываются последние листья. Повсюду непросыхающие лужи, грязь...

Хочется верить, однако, что Россия пережила войну **иначе.**

Хочется думать, что если в Европе война была эпилогом по преимуществу, то у нас она – и некий пролог. Слитая с революцией, она словно сулит русскому народу реально новую жизнь.

Но, впрочем, сейчас это всё так неясно, всё в тумане, и смерть витает не только на Западе, но и у нас. И если на разных концах мира сегодня будут происходить банкеты, то, пожалуй, уместнее на них поднимать бокалы не за радость победы и не за мировой пожар, а за упокой дряхлеющего человечества.

Во всяком случае, много прекрасного – в прошлом. Война разрушила больше, чем создала. И это вполне естественно, ибо она явилась выражением глубокого недуга европейской

цивилизации. В прошлом — её здоровье, её расцвет. В будущем... — кто знает, кто скажет, что ждет её в будущем?..

И пусть миллионы «неизвестных солдат» отдали жизни свои не за будущее Европы, а во имя её прошлого, славного, великого прошлого, — что ж из того? Память о них не должна быть менее священной. Ещё более дорога, священна, как мощи, как мавзолей, становится европейская земля...

А у нас, русских, нынешний день пусть будет не только днём воспоминаний о величии исторической России, но и залогом действенной веры в её будущее, в её всемирно-историческое призвание. Недаром же её миновал Версаль, этот страшный символ бессилия и духовной пустоты. Недаром какие-то вещие зарницы мерцают вот уже больше семи лет на русском небе...

И тихо, с грустным благоговением, без пышных и шумных торжеств, обращаясь мыслью к дорогим могилам, мы черпаем в них сегодня не только гордость за прошлое, но и выстраданную, упрямую веру в грядущее родной страны.

## II. Судьба Европы

### 1.

Теперь всё отчетливее вырисовывается истина, что великая война не была лишь историческим эпизодом, пусть эпизодом огромным и громким. Всё очевиднее, что она была чем-то более значительным, знаменательным, символическим. Каким-то эпилогом и прологом одновременно.

Нам, современникам, недоступен весь смысл совершающихся событий. Но мы не можем не ощущать, что живём на большом каком-то историческом рубеже, на перекрёстке эпох, когда на очереди переоценка культур, смена народов. И в пространстве, и во времени — знаки перелома, кризиса. И внешние наблюдения, и внутренние интуиции сливаются воедино, чтобы обличить всю глубину творящейся исторической драмы. И политики, и историки, и философы согласно констатируют исчерпанность целой грандиозной полосы жизни

человечества, предугадывают нарождение новой, конкретно ещё не определимой полосы.

Великая война была не причиной, а результатом. Кажется, ни одна из войн в истории не была до такой степени предопределена, фатально обусловлена всем составом идей и фактов предшествующего развития. Неизбежность катастрофы почти физиологически ощущалась в напряжённой, душливой атмосфере предвоенного периода. В непробудной тишине разливающейся мглы имеющие уши, чтобы слышать, явственно угадывали грядущее «начало высоких и мятежных дней». Несмотря на все гаагские конференции, вопреки процветанию всевозможных морально-гуманитарных принципов, независимо от роста материальных богатств – таился в душе и теле цивилизации роковой надрыв, непрерывно работали какие-то подземные разрушительные силы. И вот заколебалась почва, срок исполнился:

Крылами бьет беда

И каждый день обиды множит..

Многие мечтали, что война исцелит недуги, следствием коих она явилась. Охотно уподобляли её благодетельной грозе, освежающей атмосферу, заставляющей деревья зеленеть. Или – прорвавшемуся нарыву: к выздоровлению, к здоровью. «Война против войны». Вечный мир. «Последняя война». Химеры, химеры!..

Сколько лицемерия принесла с собою эта злосчастная схватка народов, с начала её до конца, от венского ультиматума до Версаля. Пожалуй, в лицемерии растворялось и то действительно героическое, что она обнаружила пятью годами испытаний, усилий, смертей. Никогда, кажется, ложь так не смеялась над смертью, любовью, славой. Было время, когда кровь искупала, освящала, спасала, творила нетленные ценности. Но теперь – она лишь претворялась в «сверхприбыль», она перестала быть «соком совсем особенным». Многие верили, что героизм любви, трагедия смерти победят упадочность заката века. Но нет: ведь грозы не освежают осень, горячий тиф благотворен лишь в юности. *«Есть разные волнения, – метко*

писал об этом К. Леонтьев. — *Есть волнения **вовремя**, ранние, и есть волнения **не вовремя**, поздние. Ранние способствуют созиданию, поздние ускоряют гибель народа и государства*.

После войны не наступило мира. Выяснилось, что «выиграть мир» гораздо труднее, чем даже выиграть войну. И в этом смысле можно сказать, что война прошла впустую. Длится ненависть, длится ложь, лицемерие. Ложью ещё пытаются спаять, склеить рассыпающуюся цивилизацию, спасти цивилизованное человечество. Но и ложь стала мелкой, «достойной кисти Эренбурга» (Х. Хуренито): обмельчала, выцвела идея, которой тщатся пасти человеческие стада. Вместо адамантова камня веры — розовенькая водичка либерального, резонерствующего «моралина». Вместо Священной Римской Империи — лига наций...

В душах европейских людей истощается вера в социальный и политический авторитет, ибо мало-помалу растрчивались предпосылки этой веры. Недаром в свое время Гюйо видел основу всех религий в «мифической или мистической социологии». Когда из общества улетучивается иррациональное, — общество начинает шататься: излишняя трезвость действует на него опьяняюще.

Ферреро в известной книжке «Гибель западной цивилизации» очень выпукло отмечает роль «принципа власти» в жизни народов. Распад, подрыв, развенчание этого принципа — предсмертная судорога соответствующего социального организма. И корень тяжкого недуга, охватившего современную Европу, Ферреро склонен видеть именно в крушении самого основания, психического фундамента власти. *«Мировая война, — пишет он, — оставила за собою много развалин; но как мало значат они по сравнению с разрушением всех принципов власти!.. Что может произойти в Европе, позволяет нам угадать история III и V веков. Принцип авторитета есть краеугольный камень всякой цивилизации; когда политическая система распадается в анархию, цивилизация, в свою очередь, быстро разлагается»*.

В этих словах бесстрашно и ярко схвачена болезнь нашего времени. И вместе с тем они наводят на дальнейшее размыш-

ление. В чем же общая причина шаткости современной власти, удручающего распада авторитетов? Почему не удаётся нынешней демократии построить прочную и здоровую, уверенную в себе государственность? Тут уже от проблем политических и государственно–правовых логика нас ведет к философии истории, к фундаментальным вопросам социологии. Но тем очевиднее становятся для нас «критические» черты наших дней, глубина и радикальность перелома. По–видимому, он не исчерпывается резкими, но все же по существу фасадными переменами в стиле начала прошлого века – наполеоновских войн и венского конгресса. Начинает казаться, что он требует каких–то более грандиозных аналогий.

Недаром А. Блок писал в 20–м году, вспоминая Вл. Соловьева:

*«Всё отчетливее сквозят в нашем времени черты не промежуточной эпохи, а новой эры, наше время напоминает собою не столько рубеж XVIII и XIX века, сколько первые столетия нашей эры».*

## 2.

Война была выиграна во имя демократии. Но война же похоронила демократию. Вернее, демократия войною не только сокрушила последние монархии, но и разрушила сама себя – «победив, изнемогла». И сейчас бьётся в тяжелой агонии, как разбитый большой механизм: какие–то колеса ещё вертятся по инерции, кой–где ещё веет от стали теплом, суетятся вокруг люди, но сила живая уже отлетела прочь...

Война поразительно выявила механичность современного общества, современного государства. Выявила, сломав этот механизм. Страшная разрушительность войны свидетельствует не только об успехах новейшей техники, но и о своеобразном артериосклерозе обществ европейских, утративших упругость здоровых тканей. Государства, превращаясь из организмов в машины, становятся ломкими и хрупкими. Утрачена органическая связь между элементами целого, заменяясь условными, нарочито высчитанными «сцеплениями». Поэтому после



военного удара «целительная сила природы» с небывалым как будто упрямством не хочет принимать участия в восстановлении Европы. Словно природа мстит за её умерщвление, за убийство её новой философией, новой наукой, новой цивилизацией. Ну, а искусственные «репарации» что-то не слишком удачно исполняют роль лекарства...

Подъем образованности, «сознательности», материального благополучия в массах европейских неудержимо влѣк за собою усложнение их потребностей, рост их претензий, укрепление в них духа зависти, отрицания, критиканства. Случилось так — и, должно быть, не могло не случиться, — что прогресс просвещения не только не сопровождался подлинным нравственным прогрессом, но развивался за счет старых нравственных устоев, начал, поверий. Исчезали иррациональные «вещи и призраки», выцветала голубая кровь, рассыпалась белая кость, но на их место не шли новые талисманы, способные двигать социальными горами. Придумывались лишь суррогаты, бессильные держать в берегах волнующееся человеческое море. Усиливался личный эгоизм при ослаблении личной оригинальности, развивалась сила взаимного отталкивания при успехах «смесительного упрощения», возрастала вражда между классами и общественными группами, ставя каждый класс и каждую группу в ненормальные условия жизни и деятельности, разгоралась личная и общественная нетерпимость. Все эти идеи утилитаризма, солидаризма, гуманизма, старавшиеся преодолеть эгоизм на его собственной почве, надеть на него маску альтруизма, построить своего рода «посюстороннюю религию» — разбивались в противоречиях и откидывались жизнью. Сама любовь к родине превращалась в культ воинствующей жадности, ссорившей из-за добычи государства побеждавшей коалиции, классы побеждавшего государства, группы побеждавшего класса. *«Под Лейпцигом в последний раз сражались за идею»* (Шпенглер). «Шибер» заслонил собою «неизвестного солдата». И Марс обиделся, что его стали расценивать на вес, отвернулся от победителей, как и от побежденных. Интересы оказались социально бездарнее,

бесплодные идеи. Ведь ещё Аристотель отмечал роковую хрупкость общества, построенного на эгоизме его элементов, не спаянного высшими началами, нравственными или религиозными. *«Смесь страха и любви – вот чем должны жить человеческие общества, если они жить хотят»*, – утверждал наш К. Леонтьев. Хитроумными комбинациями, мастерскими манёврами старается старая Европа предотвратить окончательную катастрофу: все чудеса парламентской техники, покладистой печати, патетических ораторов, прирученного социализма – к её услугам. Но эти фальшфейеры всё же не заменят угасшего очага, священного огня, вырванного из людских душ...

Полнеба охватила тень.

Вот почему и бесконечные политические перемены, происходящие ныне на Западе, не решают основной проблемы, затрагивая только злободневную поверхность исторического мига. Кабинеты летят, как одуванчики, меняются настроения палат, приспособляясь к изменчивым симпатиям масс. Но этот парламентский калейдоскоп словно призван лишь подтвердить мудро-ироническое наблюдение Тацита:

– **Лучший день после дурного государя есть первый день...**

Европа живёт из месяца в месяц, из года в год это лихорадочное, пёстрое десятилетие. Нет у европейских правительств уверенности в завтрашнем дне, нет такой уверенности и у самих государств балканизированной Европы. После наполеоновских войн у венского конгресса ещё нашлись гипнотизирующие принципы, подморозившие народы на несколько десятилетий. Но это уже были последние «февральские морозы» абсолютизма Божьей милостью и, насколько известно из детской песенки, – «как февраль не злися, всё весною пахнет». Монархический «принцип власти» умер, пришла очередь строить демократический. Но, судя по всему, есть какая-то коренная порочность в демократической весне, в Священном Союзе «торжествующих» демократий...

## 3.

Перечитав написанное, я ловлю себя на сомнении и даже, пожалуй, на легком угрызении совести. Слишком много широких рассуждений, отвлечённых выводов, и слишком мало конкретного материала; в России же, по авторитетному свидетельству И.Г. Лежнёва, теперь требуют как раз «не международного положения, а фактов». Слишком общая точка зрения, в тумане которой легко затерять концы и начала — не чересчур ли «с птичьего даузо», как говаривал глубокомысленно некий почтенный персонаж? И потом — этот патентованный пессимизм, столь отдающий трухую славянофильских мельниц! Опять старая песня о «гниющей Европе»?!

Но, обдумывая тему, убеждаешься, что трудно её трактовать иначе... Слишком огромное явление — мировая война, чтобы расценивать её значение вне общего философско-исторического масштаба. Конечно, вполне возможны, даже необходимы и частные, специальные подходы к ней: с точки зрения технической военной, конкретно исторической, экономической, государственно-правовой и т.п. Сотни полезных монографий уже осуществляют эти подходы. Но всё же они должны быть дополнены и, так сказать, увенчаны, осмыслены общим анализом великой катастрофы в свете философии культуры и философии истории. Ибо с неслыханной остротой ставит война именно вопросы общего философско-исторического и культурно-философского порядка.

Этим объясняется необычайное оживление в наше время соответствующей литературы. Особенно в Германии и России — где максимум горя обостряет мысль — проблемы ставятся в предельной чёткости и надлежащем разрезе. И разве современные немецкие и русские писатели не полагают центром своих размышлений судьбу Европы, будущее европейской цивилизации? Шпенглер породил бурный взрыв идей, несчётный рой откликов.

Его много — и не без основания — оспаривают, но редко отрицают, что он — знамение времени. У него есть уже спутники, есть и попутчики. У нас в России те же темы ставятся

самостоятельно – и мыслью, и жизнью. Ал. Блока мы уже цитировали. В его стиле А. Белый (ср. особенно его «На перевале», 1923), Бердяев с друзьями, затем евразийцы, словом, «религиозно-романтический» сектор нашей интеллигенции.

Но, допустим, это всё – «мечтатели», фантасты, не люди позитивного ума и точной науки. Однако и из стана учёных всё чаще слышатся знаменательные голоса. Ферреро мы упоминали. Русские историки Ростовцев и Виппер в ряде ярких статей приходят к аналогичным выводам. Среди политиков, экономистов и публицистов – от Ллойд-Джорджа и Нитти до Кейнса и Ландау – мысль о трагическом худосочии Европы за это десятилетие стала очевидной, боевой, тревожащей, причём марксистские писатели объясняют кризис вырождением буржуазии и буржуазного строя. Как бы то ни было, «отрицательные тезисы» славянофильства словно и впрямь входят в моду, и, что особенно любопытно, среди самих европейцев. Конечно, в «исправленном и дополненном» виде: *mutatis mutandis*.

Наконец, нельзя забывать, что ведь и русская революция ставит вопрос о смерти старого мира, о радикально новой исторической эре. Ставит по-своему, идеологически в рамках европеизма, европейской социологии (социализм, Маркс), исторически и практически – в своеобразных, чуждых старой Европе формах. Русские революционеры – одновременно бледные эпигоны западных доктрин и новые гунны, люди пылающей крови, грозящей воспламенить весь мир. Русская революция – чрезвычайно сложный процесс, резко выделяющий Россию из лагеря европейских народов, переживших войну. Русская революция, как историческая стихия, безмерно шире и глубже своей официальной идеологии. Это десятилетие протекло в России существенно иначе, чем на Западе. Русская революция вскрыла в русском народе огромный запас духовных сил, духовных возможностей. Весь вопрос – будут ли они осуществлены. Шпенглер недаром почувствовал в России источник нового исторического периода, резервуар новых народов, выходящих на историческую арену. Не нужно

истолковывать этого предчувствия в грубо славянофильских категориях. Старая Россия уже не скажет нового слова «гнилой Европе», ибо она сама сгнила раньше неё. Но, судя по многим признакам, послевоенная, революционная Россия чужда тем упадочным веяниям, от коих задыхается Запад. Разорённая, страдающая, спотыкающаяся, с деревенскими колдунами, наивным сектантством и примитивным кустарничеством, с культом Ленина и очагами «чёрной веры», она свободна от страшного недуга, психического склероза, которым поражён Запад. Война разрушила её тело, но не парализовала души, скорее, открыла перед нею длинный путь развития. Не иссякли живые ключи веры, любви в русском «нутре», и опять—таки это замечательно выразил Блок в своих вызывающих «Скифах»:

*Да, так любить, как любит наша кровь,  
Никто из вас давно не любит!  
Забыли вы, что в мире есть любовь,  
Которая и жжёт, и губит!..*

Рамолическая весна демократии не осилила русской стихии: в полгода справился с этой прилипчивой хворью русский организм. «Принцип власти» в его иррациональных истоках ещё, по—видимому, свеж в нашем народе. Суждено ли ему расцвести и дать плоды?.. Впрочем, оставим Россию: не она — тема размышлений настоящей статьи. Вернемся к теме, к Европе.

Почему же всё—таки, если верить Ферреро и собственным наблюдениям, так потрясена у западно—европейских народов жизненная основа социального бытия?..

#### 4.

Система власти уходит корнями в систему культуры. Социальная жизнь непосредственно обуславливается всем духовным складом общества, стилем его дум, чувств, стремлений. «Человек — это его вера» — говорил И.В. Киреевский. Государство всегда в известном смысле «надстройка». Оно не только «форма» определённых экономических отношений, меняющаяся вместе с ними, но и воплощение общекультурного мирозерцания данного исторического периода, дан-

ной социальной среды. Каждый тип культуры находит своё выражение в соответствующем образе государственности, продолжается в нём, творит его.

Когда размышляешь о европейской культуре, всегда приходят на память известные слова нашего Чаадаева:

— **Европа тождественна христианству.**

В самом деле. Христианство было не только великим фундаментом, на коем воздвигалось всё здание Европы, — оно определяло собою весь стиль этого здания, всю славную многовековую историю его развития. Христианство в значительной степени способствовало крушению Рима, подтачивая его изнутри, разлагая основы романтизма и эллинизма. Затем оно нашло в себе внутренние силы создать железную когорту верующих среди развалин распадающейся античности, среди эры войн и революций, и тем самым превратилось в основу нового мира, в кристалл порядка, родившего «принцип власти» новым народам. Оно сумело создать свою мистику жизни и смерти, свою философию мира, свою таблицу ценностей, своё искусство, свою поэзию, свою любовь. Оно нашло пути сначала к сердцу, а потом и к разуму человеческому, и покорило европейских варваров, сделав их наследниками античности и носителями нового культурного сознания. Оно владело средневековьем, создало готику, Августина, Данте, папскую теократию, священную империю. Оно превратило Европу в «страну святых чудес».

*«Вера — великое дело: она даёт жизнь. История великого народа становится богатой событиями, великой, возвышающей душу, как только народ уверует».* Как часто приходится вспоминать это мудрое наблюдение Карлейля! Старый Гераклит не менее мудро называл веру «священной болезнью»: вот, в самом деле, болезнь, от которой опасно вылечиться!..

Новая Европа, конечно, всецело вышла из христианства. Это несомненно и в плане культуры, и в сфере социально-политической. Абсолютистский принцип власти, определивший собою новые государства (после Ренессанса), вёл народы именем христианского Бога. И народы послушно

шли, созидали державы, копили национальные богатства, умирали за короля, служили подножием избранных творцов культурных ценностей, блюли богоустановленную иерархию. Покуда христианская религия крепко владела душами, процветала культура романо–германской Европы. Поскольку даже демократия земная чтит небесного монарха, органичность государства оставалась непоколебленной, свобода скреплялась сверхполитическими связями. Достаточно вспомнить великую английскую революцию и построенную ею державу.

Но мало–помалу стали появляться признаки какого–то неблагополучия в «историческом христианстве», отождествляемом Чаадаевым с Европою. Признаки неблагополучия и словно надвигающейся исчерпанности. Уже Ренессанс выступает с поправками к ортодоксально христианской картине мира. Реформация раскалывает церковь, объявляет войну мистике и эстетике средневековья. Просвещение уже провозглашает низложение догматики. Кант продолжает дело просвещения. XIX век, «век науки», дерзко атакует самого Бога, затем и христианскую таблицу ценностей, заменяя её эгоизмом себя возлюбившего человечества, себя превознесшего человека. **«Европа теряет своё мирозерцание»** – словно откликается на формулу Чаадаева современный немецкий писатель Куденхоф–Калерджи. И в блестящих, хотя и не всегда безукоризненных и подчас грубоватых, штрихах рисует постепенный декаданс христианского мироощущения и мирозерцания на Западе. В народах, в массах. *«В конечном счёте, христианство, умершее в Европе, превратилось в предмет вывоза для цветных народов, в орудие антихристианского империализма»* (ср. его «Krise der Weltanschauung» в журнале «Die neue Rundschau», январь. 1924).

Разумеется, это процесс чрезвычайно длительный, измеряемый десятками, даже сотнями лет. Но разве его анализом не нащупывается ключ к аналогиям историков и прозрениям романтиков? Проблема стоит того, чтобы над нею задуматься...

Есть какой–то надлом в самой сердцевине великой европейской культуры. Корень болезни – там, в её душе. В душе

человека, теряющего бесценный дар веры и стоящего перед необходимостью заменить веру рассудком, расчётом, самостоятельным решением. Его давит ответственность, мучит сомнение, томит одиночество. Он утрачивает душевное равновесие, плывет по морю житейскому без руля и без ветрил. Я говорю не о единицах, конечно, а о массах. Помните у Заратустры: *«некогда мечтали они стать героями; теперь они сластолюбцы»*. Всякая власть перестаёт быть авторитетной. Так, христианство в своё время убило культ римского императора. «Кумиры» погружаются в «сумерки». Но вместе с кумирами погружается в сумерки и вся система культуры, с ними связанная. Ницше был во многом пророческим явлением.

**На каком принципе построить власть?** – вот проклятый вопрос современности.

**На праве?** Но право вряд ли способно быть венцом в иерархии ценностей. Принцип права – подчинённый, относительный принцип. Недаром он всегда безмолвствует в критические эпохи истории, когда «законность – убивает», когда «высшее право – высшая неправда». Отсюда и неизбежная шаткость «правового государства», поскольку оно лишено другого, более первичного фундамента, более действительного обоснования. Право благотворно тогда, когда оно служит проводником более высоких и более содержательных начал. Само по себе оно – форма, оно – формально.

**На силе?** Но сила опять–таки не может быть целью в себе. Сила выступает всегда во имя чего–либо. И олицетворяется вовсе не в крепких мускулах, а в крепких нервах, крепкой душе. Голая сила, насилие есть бессилие, мыльный пузырь. *«Gesetzlose Gewalt ist die furchtbarste»* Schwäche (Herder). За истинной силою всегда должна стоять **творческая идея**, способная объединять и воспламенять сердца.

Нужна идея. Но её трагически недостает нынешним европейцам. Наиболее чуткие из них сами констатируют это. *«Вот уже несколько десятилетий – пишет чуткий из чутких, проф. Георг Зиммель, – как мы живем без всякой общей идеи, – пожалуй, вообще без идеи: есть много специальных*



*идей, но нет идеи культуры, которая могла бы объединить всех людей, охватить все сферы жизни*». Нет того, что было раньше и что постепенно утрачивалось, испарялось, «выветривалось». Предметы старой веры перестают вдохновлять, творить, повелевать. Люди Европы мечтают в исканиях, разбредаются в распадае. Великое прошлое давит их, они живут среди обломков христианской культуры и держатся ещё только ими. Здесь их уцелело больше (Англия), там — меньше. Тут ещё разбросаны островки старой догматики, там задерживается традиционная мораль, несмотря на крушение её теоретического фундамента; кой-где сохраняются навыки старого послушания, обрывки прежнего культа, кусочки былого быта: огромна тысячелетняя инерция.

Но рано или поздно она истощится, это лишь вопрос времени. И к старому нет возврата: не течёт обратно река времён, и не помогут модернизированные католики, не спасут и Конфуции в веленевых переплетках. Не вернуть прежней органичности, не воскресить уходящей культуры. Эстетам остается любоваться пейзажами заката:

Помедли, помедли, вечерний день,

Продлись, продлись, очарованье!..

Пессимисты готовы служить панихиды за упокой человеческого рода. *«Позитивизм, — писал В.В. Розанов, — философский мавзолей над умирающим человечеством»* («Осенние листья»). Кризис Европы расширяют, таким образом, до краха всей нашей планеты, до биологического вырождения человеческой породы, или, по меньшей мере, до заката белой расы. Вспоминаются «Три разговора» Вл. Соловьева. Трудно здесь отличить субъективную фантазию от вещей интуиции. Будут преувеличения, будут ошибки. Есть, конечно, и обратное: *«ничего особенного не случилось, по-прежнему весело вьётся вперёд гладенькая дорожка прогресса»*. Но, думается, верно одно: **только какой-то новый грандиозный духовный импульс, какой-то новый религиозный прилив — принесёт возрождение**. Возможен ли он? Придёт ли он? Каков он будет? Кто знает, кто скажет?.. Перечтите замечательные

размышления проф. Виппера о «возврате к средневековью»: они помогут вам ощутить всю иррациональность проблемы, осознать всю неразрешимость её для современного поколения. Если бы вы спросили образованного римлянина упадочной эпохи, как возродить шатающееся общество, мог ли бы он вам ответить? Религиозные взлёты не выдумываются, а рождаются в душах, рождаются в крови: свершается **«окрыление крови»** (А. Белый).

И великая мировая война, нами пережитая, не сохранится ли в памяти далекого потомства как первая страшная, предсмертная судорога старой Европы, подобная великим потрясениям начала нашей нынешней эры, обозначившим собою рубеж античности и средних веков?..

# О русской нации<sup>1</sup>

## I.

Нашей эпохе суждено, по-видимому, бурно оживить национальный принцип, начало «самоопределения народов». Повсюду в мире – национальные движения, брожения, стремления. Рядом с процессом международного объединения, повелительно диктующегося множеством неотвратимых сил современной жизни, рядом с растущей «взаимозависимостью» государств – совершается оформление и кристаллизация национальных идей. Параллельно интеграции идет дифференциация. Достаточно вдуматься в идеологию послевоенных трактатов, или хотя бы в современную трансформацию Великобританской Империи, объявляющей себя «свободным сообществом наций», чтобы убедиться в этом.

История ставит вопрос о нации в порядок дня. И естественно, что каждая нация хочет достичь самосознания, познать

---

<sup>1</sup> Эта статья была написана по приглашению Объединения Славянских Обществ в Загребе для «Всеславянского сборника» в память тысячелетия Хорватского Королевства. Одновременно предположено её появление отдельной брошюрой на французском языке. Настоящая редакция несколько отличается от Загребской.

Статья написана, главным образом, для иностранцев, автор в ней имел в виду иностранную аудиторию. Это необходимо учитывать её русским читателям.

себя, как нацию, оправдать своё бытие перед лицом истории. «Много званых, но мало избранных» – сказано в Священном Писании. Каждому хочется оказаться в числе избранных, заслужить право на избрание.

Та же проблема – познай себя! – стоит ныне и перед русской нацией, перед Россией. События последнего десятилетия особенно обостряют русский вопрос. О России повсюду говорят больше и громче, чем когда-либо. Как бы ни относиться к текущим событиям русской истории, – нельзя никак отрицать их значительности и глубочайшей содержательности.

В ряду различных откликов на эти события обращает на себя особое внимание утверждение, провозглашённое недавно в колумбийском университете одним из самых выдающихся европейских ученых нашего времени – французским государствоведом Л. Дюги. Это утверждение разрешает вопрос чрезвычайно радикально. Оно гласит:

**– Россия не нация. Россия ещё далеко не вступила в национальную стадию своего бытия. Россия есть куча населения – не больше<sup>21</sup>.**

## II.

Нам, русским, такое утверждение представляется достаточно неожиданным. Но оно принадлежит не какому-либо рядовому журналисту патриотической французской газеты, старающейся побольнее задеть Советскую Россию за её нежелание платить старые долги и за её преждевременный выход из войны. Его высказывает авторитетный деятель науки, профессор с мировым именем. Тем необходимее серьёзно взвесить и проверить его аргументацию. Да и методологически небесполезно посчитаться с отрицанием и сомнением: самокритика – неустранимый элемент самосознания. Сто лет тому назад в гораздо более яркой форме и сильных образах аналогичное сомнение в России было высказано одним из

---

<sup>2</sup> См. Léon Duguit, «Souveraineté et liberté», leçons faites à l'université Columbia (New-York), Paris, 1922, pp. 14–65.

проникновеннейших наших мыслителей, Чаадаевым, в его первом «Философическом письме». Но уже в следующих письмах он сам в основном преодолел собственный пессимизм.

Очевидно, прежде чем говорить о русской нации, нужно дать себе хотя бы самый беглый отчет о понятии нации вообще.

Что такое нация?

Современная наука, как известно, довольно единодушно признает, что *«нации – не естественные, а историко-социальные образования»* (Еллинек). Ни единство расы, ни единство политической власти, языка, религии, ни наличие естественных границ – ни один из этих признаков не может считаться незыблемою принадлежностью нации.

В самом деле. Раса? – Но чистые расы – чистая абстракция: в действительности существуют лишь смешанные расы. «Чистой крови» не найти теперь ни у одного народа Европы. Антропологический фактор играет вообще второстепенную роль в процессе создания нации. Вычислено, что в жилах Эдуарда VII текла всего одна семитысячная доля «английской» крови. «*Deutschtum steckt nicht im Geblüte, sondern im Gemüte*» – читаем мы у одного немецкого автора.

Политическая власть? – Но поляки до 1918 года? Но Италия до объединения? Конечно, государство есть мощный фактор национальной формации. Конечно, нация не может возникнуть вне политического объединения человеческой массы. Поляки вряд ли были бы нацией к 1918 году, не будь они прежде государством. Объединение германской нации в XIX веке совершалось под знаком славных воспоминаний о тысячелетней германской империи и черно-красно-золотом знамени. Но при всем том и государство не есть **конститутивный** признак нации. Бывают многонациональные государства (прежняя Австрия), бывают и нации, долгое время лишённые собственной государственности.

Общность языка? – Но Бельгия? Швейцария? Соединённые Штаты Северной Америки? Конечно, и язык – великий фак-

тор национального единения, но опять-таки и он не может считаться сущностью нации.

Религия? – Но разве современные религии не претендуют на общечеловеческую, сверхнациональную миссию? Разве латинские народы не объединены общностью религии, оставаясь, однако, обособленными нациями? Разве, с другой стороны, в пределах одной нации не наблюдается вероисповедных различий (протестантизм и католицизм в Германии)? И разве, наконец, нации никогда не меняют своих религий, оставаясь самими собой?..

Естественные границы? – И этот признак не представляется обязательным: на однородной территории подчас размещаются различные нации, а разнородные территории занимает одна и та же. Правда, «исторический индивидуум» обыкновенно стремится подыскать себе подходящую «географическую плоть», но ни о каком твёрдом «законе» тут не может быть и речи.

Итак, все эти определения при ближайшем рассмотрении оказываются второстепенными, не только недостаточными, но даже и не всегда необходимыми. Так что же такое нация?

Современная теория подчеркивает существенно **субъективный** источник нации. Нация есть состояние сознания. Её объективная реальность психична, духовна. **Общность традиций, потребностей, стремлений** – вот что такое нация. Общность исторических судеб, общность воспоминаний, прочувствованное, а затем и осознанное единство воли к совместной жизни. Наследственная привычка, переходящая в общую природу и обособленный характер. Нация есть союз живых и мёртвых поколений, единение богатых и бедных, властвующих и подвластных, ученых и неграмотных. Нация имеет свои культурные символы, свои нетленные ценности. *«В нацию входят не только человеческие поколения, но также камни церквей, дворцов, усадеб, могильные плиты, старые рукописи и книги. И чтобы уловить волю нации, нужно услышать эти камни, прочесть истлевшие страницы»* (Бердяев). Национальная история – непрерывное творчество, усилие, делание. Национальная

культура – Пантеон, где уживаются вместе разные ценности, и не навязать односторонней рефлексией национальной идее застывшего содержания. Покуда нация живёт, она – не данность, а задание и становление, она – резервуар существенно новых возможностей, новых культурных содержаний и состязаний, новой борьбы. Она – богатство, а не односторонняя скудость. Она – единое во многом: не бесформенная расплывчатость, но и не монотонный аккорд. И внутренний смысл её единства в его конкретной целостности познается лишь тогда, когда она исторически исчерпана.

Пройдите по улицам и площадям Парижа. Тут памятник Людовику Святому, там Дантону, здесь – «жертвы революции», там – могила Императора. А вот – Notre Dame... А неподалёку – Гревская площадь... потом – Коммуна... А дальше, за городом – Версаль, Фонтенебло... В этих камнях живет история, и Франция остается в них равной себе, несмотря на всю их разнокачественность. Национальная культура, понятая как творчество, процесс и предание, есть величайшая терпимость и плодотворная полнота: Цезарь в ней встречается с Брутом, и Вольтер с Жозефом де Местром...

Нация имеет неугасимые свои маяки – своих великих людей. Образы единства, знаки связи, живые ключи вдохновения и веры в себя. Кант и Гёте, Фридрих Великий и Бисмарк – разве эти имена не звучат национальной музыкой для немцев? И разве Ньютон или Шекспир не стали национальным знаменем для англичан?

*«Посмотрите, чем Шекспир стал для нас, – писал мудрый Карлейль. – Он величайшее наше достояние, какое только мы доныне приобрели. В интересах нашей национальной славы среди иноземных народов мы ни в коем случае не отступились бы от него, как величайшего украшения всего нашего английского созидания. Подумайте, если б нас спросили: англичане, от чего вы согласны скорей отказаться – от своих индийских владений или от своего Шекспира? Что предпочитаете вы – лишиться навсегда индийских владений или потерять навсегда Шекспира? Это, конечно, был бы очень трудный во-*

прос. Официальные люди ответили бы, конечно, в официальном духе. Но мы, с своей стороны, разве не чувствовали бы себя вынужденными ответить так: **останутся у нас индийские колонии, или не останутся – но без Шекспира мы жить не можем.** Индия во всяком случае когда-нибудь отпадёт от нас, но этот Шекспир никогда не умрёт, он вечно будет жить с нами. Мы не можем отдать нашего Шекспира»<sup>31</sup>.

### III.

Проф. Дюги, в общем, разделяет изложенную концепцию нации, господствующую в современном государствоведении. Основным признаком нации он считает «общую борьбу для достижения общей цели и, в особенности, общего идеала». Он красноречиво отмечает значение исторического прошлого в деле выработки национального сознания: «*чем длительней и тяжелее борьба, тем драгоценнее жертвы, острее страдания, тем крепче и неразрывнее национальное единство.*» Он вскрывает наличие религиозно-мистического элемента в чувстве родины. Он признаёт, что в нацию входят все члены социального целого, связанные единством определённой территории – от низшего до высшего, от неграмотного до учёного: лишь бы они обладали сознанием некоей общей цели, прикреплённой к их земле. Он отличает народность от нации, по сущности своей отнюдь не связанной этническими определениями. Он присоединяется к Ренану: «*la nation est une formation historique*»<sup>41</sup>.

Правда, он как будто готов склониться при этом к революционно-просветительскому истолкованию принципа нации и даже приурочить самое рождение наций к 1789 году. По такому пониманию выходило бы, что нет нации вне формальной демократии. Но сам автор не выдерживает этой искусственной и по существу чуждой его собственной доктрине

<sup>3</sup> «Герои и героическое в истории», беседа III.

<sup>4</sup> Цит. сочин., стр. 30–32; ср. Léon Duguit, «Traité de droit constitutionnel». т. II, Paris, 1923, стр. 4–18.



точки зрения, признавая за довоенной Германией право именоваться нацией и неоднократно подчёркивая, что французская нация слагалась уже в XIII веке (победа у Бувин) в борьбе против англичан и немцев, чтобы окончательно закрепиться в Столетней войне (завершившейся победой при Кастильоне 1453 г.) И действенность коллективной воли французской нации он красочно обозначает двумя волнующими символами и синтезами:

— Жанна д'Арк и пуалю!..

Затем речь переходит к современным нациям. Автор предлагает любопытный метод испытания главных народов современности на звание наций. Предположим, — говорит он, — в решительный период войны вы объезжаете различные фронты и повсюду спрашиваете самого примитивного, самого необразованного солдата: «зачем ты воюешь?» По ответам можно судить о том, принадлежит ли данный солдат к нации, или нет.

И вот проф. Дюги, ответив от имени опрашиваемых солдат на свой вопрос, убеждён, что опыт приводит его к следующему выводу:

«Да, есть французская нация; есть бельгийская нация; сербская; американская; английская; с некоторою оговоркою — итальянская; есть немецкая нация. Но нет австрийской нации. И нет русской нации».

Русский мужик — безразлично, царский ли, красной ли армии — видите ли, несомненно, не сумел бы объяснить, за что он борется. Он непременно ответил бы приблизительно так: «я дерусь потому, что этого хочет начальство». Но если бы вы продолжали расспрос на тему «почему же начальство этого хочет», то «конечно, вы услышали бы *ces mots, ou bien Niponimai, je ne comprends pas; ou bien Nitchewo, ce n'est rien, qu'importe!* **Не понимаю и ничего:** в этих двух словах — вся Россия»<sup>51</sup>.

Но автор не ограничивается столь лапидарным, хотя и выразительным, доказательством ничтожности русского народа

<sup>5</sup> Цит. соч., стр. 38.

и делает нам любезность более подробным обоснованием своей мысли. Да не посетует читатель за длинную цитату: приведём аргументацию целиком, и притом подлинными словами нашего сурового прокурора. Тем более, что, насколько я знаю, эта замечательная цитата о русском народе ещё не появлялась на русском языке.

*«Пусть не говорят мне, — заявляет Дюги — о русской нации: в этом выражении нет и атома истины. Я был в России, правда, уже давно: в 1887 году. Я пробыл там долго, в самом сердце огромной империи, в Москве, в Нижнем Новгороде, в Казани. Я встречал много русских из различных кругов. Я и тогда вынес из своего пребывания в России очень чёткое убеждение, что эта страна ещё весьма далека от того, что мы можем назвать стадией национального бытия. И, судя по всему, что я о ней с тех пор читал, положение не изменилось и доселе. Подавляющее большинство русского населения состоит из безграмотных, совершенно тёмных крестьян, мечтающих лишь о клочке земли, способном пропитать их самих и их семьи. Они живут, коченея от холода, джелегося там половину года. Что касается высшего класса, то, до большевизма, он состоял из двух элементов: 1) аристократии наследственной или денежной и 2) интеллигенции. Аристократы породы или богатства — это были люди сомнительной нравственности, жившие развлечениями любого сорта, пользовавшиеся своими привилегиями и тратившие в Парижах и Ниццах свои подчас немалые доходы с земель, обрабатываемых мужиками. Что же касается интеллигентов, то это были сплошь неуравновешенные люди, слишком проворно, без надлежащей подготовки, достигшие последних слов цивилизации, взбаламутившей их славянские мозги. Уже в 87 г. многие из них мечтали о всеобщем перевороте, о мировой катастрофе во имя возрождения рода человеческого. Я до сих пор помню, как один знаменитый московский адвокат спокойно поучал нас за большим полуофициальным обедом:*

*— С тиранами какой же разговор? Только железом и огнём!..*

В России не было настоящего **среднего класса**, этого класса надёжных людей (*braves gens*), сочетающих в себе одновременно и капиталиста, и рабочего, – класса, в некоторых странах, как во Франции, составляющего существенный элемент национальной структуры. Словом, ни разу в русском разуме я не встретил подлинного национального сознания, сознания целостного единства, коего все органы воодушевлены общим идеалом. Я не видел в России ничего, кроме аморфной массы населения, готовой воспринять любую диктатуру...

Известные события последних лет доказали, что я не ошибся. Когда в 1897 году был заключен франко–русский союз, приходилось часто слышать, что это союз не правительств, а наций. Я тогда спрашивал себя, – ужели за 10 лет обстоятельства успели измениться? Не верилось... Я видел французскую нацию, воодушевлённую, благородную, всецело преданную этому союзу, как опоре против наследственного восточного врага. Русской же нации я не видел. И, в самом деле, недаром же этот пресловутый союз наций распался при первом испытании. Если бы воистину существовала русская нация, подобно французской, если бы действительно это был союз двух наций, мартовская революция 17 г., перемена правительства ничуть не повлекла бы за собою разрыва; союз сохранился бы незыблемым, как и нации, им объединённые.

Если бы русские, подобно нам, смотрели на войну 14 г. как на подлинно национальную борьбу, они бы из неё не вышли до полной победы. Если бы они сознавали и понимали, за что они борются, они боролись бы до конца. Русское поражение, напротив, получает вполне естественное объяснение, если будет признано, что Россия отнюдь не нация, но просто куча населения, раздробленного и бесформенного, готового к любой тирании; крестьянская масса, согласная на всё за кусок земли; отважная интеллигенция, с необыкновенно живым и блестящим умом, упоённая катастрофической теорией Карла Маркса, решившая провести её в жизнь и водворяющая для сего кровавую диктатуру. Большевизм есть чистейшее порождение русской почвы; он мог родиться только на ней;

*он может удержаться и развиваться только на ней; в народе, являющемся действительно нацией, свободной и познавшей саму себя, подобные опыты всегда будут лишь случайны и немощны»<sup>61</sup>.*

Так пишет ученый французский профессор о русском народе.

#### IV.

Разберёмся в его доводах. Но прежде всего невольно удивляешься самому методу, которым пользуется почтенный автор. Ни слова о русской истории. Ни звука о русской культуре. Лишь импрессионизм «личных впечатлений» и факт самовольного выхода России из мировой войны, связанный с русской революцией.

Однако, как же так? Нация есть динамика, нация есть процесс. Вне анализа «исторических судеб» нет и анализа наций. Можно ли вырвать минуту из истории народа и на этой произвольно вырванной минуте строить ответственные выводы? Достоин ли именоваться «научным» такой своеобразный «метод»?

А что, если б его применить и к отечеству г. Дюги? Возьмем хотя бы 1814, 1815 или 1871 годы. Разве казаки Чернышева не располагались пикетами на Елисейских полях и не поили в Сене своих коней? Франция тогда тоже, помнится, «вышла из войны до полной победы», отреклась от своего императора, прокляла свою буйную революцию, которую, по-видимому, так искренно почитает теперь великой и национальной французское государственное право. Обесславленная, униженная иноземным вторжением, страна представляла в те дни, несомненно, достаточно жалкое зрелище.

А месяцы Меца и Седана? Если вырвать их из французской истории и представить притом в одностороннем, импрессионистском освещении, нетрудно блеснуть очень горячей,

---

<sup>6</sup> Цит. соч., стр. 39–42.

уничтожающей французскую нацию митинговой речью. Но только какая же ей цена?

«Жанна д'Арк и пуалю... Вальми и Марна»... Да, это, действительно, символы и знамена. Но для того, чтобы понять их и воодушевиться ими, нужно почувствовать всю французскую историю. Да, Франция – великая нация: но чтобы это осознать, нужно воскресить в памяти и её историческое прошлое в его целом, и её культуру.

В истории каждого народа бывают моменты переломов, кризисов, даже катастроф и временных падений. Но не по ним же судят о народе. Необходима правильная перспектива. Глубоко верно, что память о перенесённых поражениях зачастую лишь укрепляет национальное самосознание. Как и жизнь отдельного индивида, жизнь народа есть некое конкретное, целостное единство, воспринимаемое своего рода «физиономикой», тою «художественной практикой духовного портретирования», о которой хорошо говорил Шпенглер. Внешние факты – выражение внутреннего бытия. Они должны быть поняты в их полноте и связи: только тогда они красноречивы.

Утверждение г. Дюги о России прямо поражает своей голословностью. Оно не только не подтверждено «духовным портретом» русской истории, но не содержит в себе даже и указания на необходимость соответствующего подтверждения. А между тем именно **французскому** автору надлежало бы серьёзнее отнестись к теме. 1812 год вряд ли возможно вычеркнуть не только из русской, но и из французской истории. Когда вся Европа, трепеща, лежала у ног нового Цезаря – кто, как не русский народ, устоял, защищая родную землю, перед Непобедимым? Или г. Дюги думает, что лесные медведи подмосковных партизанских отрядов не смогли бы с полным и ясным сознанием ответить на вопрос «за что они борются»? Они сказали бы очень ясно и очень сознательно: «за веру, царя и отечество». Ужели же эти добровольцы–партизаны, или вот эти ополченцы отечественной войны, столь чудесно описанные нашим Толстым в «Войне и Мире», – ужели они ни что иное, как «слепые игрушки в руках тирании

царизма»? Но тогда почему не сказать о современных «пуалю» и «томми», что они – не более, чем «слепые игрушки в руках капиталистических правительств»? И там, и здесь истины будет одинаково мало. Нужно закрыть глаза на весь облик этой исключительной эпопеи 1812 года, чтобы отрицать глубоко и подлинно **народный** её характер. Только некритичная и ненаучная фетишизация «бессмертных принципов 1789 года» может до такой степени сузить кругозор и затуманить сознание.

«За веру, царя и отечество!» – Этот ответ выражал многое, очень многое. Мудрости веков в нём не меньше, чем в единомышленном «je ne veux pas être boche» недавних французских окопов. Русская земля строилась народом, крепким верою и одарённым стихийным чувством государственности. Православие – историческая основа русской духовной культуры и народного русского самосознания. Царская власть – историческая форма всенародного собирания Руси, созидания русского государства, его защиты с востока и запада, его расширения и укрепления. Долгое время «царь» представлялся в народном сознании символом «отечества».

Но пойдём дальше – к Смутному времени. И там мы встречаем все ту же глубочайшую народную активность. Междуцарствие. Социальная смута. Царя нет, высший класс, испуганный неурядицей, готов призвать на русский престол польского королевича. Боярство, исторически отмирая, бьёт челом иностранной интервенции. И из глубины страны словно само собою подымается неудержимое народное движение, органически национальное и стихийно государственное. Если бы жил тогда профессор Дюги и принялся опрашивать нижегородское ополчение на предмет «целей борьбы» – о, формула ответа была бы, конечно, очень далека от «Neronimai ou bien Nitchewo». Национальный разум, *роевая историческая воля* – вот что всегда проявлял в такие моменты русский народ, и, по слову великого нашего национального поэта,

*в искушеньях долгой кары,  
Перетерпев судеб удары,  
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,  
Дробя стекло, кует булат.*

А татарские иго? А Куликово поле? А соби́рание русской земли Москвою? Разве все эти «кровавые скрижали» не рождают «общности воспоминаний и особенно страданий»? Пусть «волонтаризация русской народности» протекала не по желобам арифметического народоправства официального западного образца, — она ковалась на полях чести, плавилась в горнах широких внутренних движений, закреплялась в подвигах, воплощалась в национальных вождях, славилась в национальных святынях.

Разумеется, если логически последовательно связывать понятие нации с началом формального демократизма, с торжеством «либерально–эгалитарных» идей, — Россия не может быть названа нацией и не имеет оснований претендовать ею именоваться. С этой точки зрения Конст[антин] Леонтьев, идеолог русского консерватизма, как известно, с большой опаской относился к европейским «национальным движениям» XIX века. Но центр нашего вопроса — не в терминологическом споре, а в **существовании** суждений проф. Дюги о русском народе, как «бесформенной куче населения».

«Жанна д'Арк и пуалю» — ваши народно–национальные символы? — Прекрасно. Но разве на Руси не найдется подобных? Пересвет и Ослябя, Минин и Пожарский, Иван Сусанин, партизан 1812 года, «неизвестные солдаты» наших дней — здесь преемственность, нить, традиция. Народ соборно выступает нацией, нация переплетается с государством. От Александра Невского и Дмитрия Донского к московским князьям и царям, к Петру Великому и петербургской державе — эта **государственная** линия является в то же время и **национальной**, как равным образом национальна и наша **народная** традиция. «L'État–nation» тесно связывается с «L'État–puissance». И не разорвать эти живые связи надуманным анализом, подсказанным злободневным политическим пристрастием.

Ваши победные этапы национального пути — Бувин и Кастильон, Вальми и Марна? — Бесспорно. Но и у нас есть свои: **Чудское озеро и Куликово поле, Полтава и Бородино**. Многовековая напряжённая защита своей государственности от



сил Востока и натиска Запада, от монгольской лавы и европейского ярма. А исконная борьба с Турцией за славян? А поразительная по своим историческим размахам азиатская экспедиция России, полная больше подвигов мира, нежели борьбы? **От Ермака до Великого Сибирского Пути** – вот долгая повесть этой экспансии в её северном устремлении, в то время как **среднеазиатские и кавказские походы** XIX века характеризуют её южную магистраль. Всего этого не забыть, не стереть, не выжечь из нашего прошлого, ибо даже сам Создатель не в силах сделать небывшим бывшее.

Правда, русскому сознанию всегда была чужда экзальтация самовлюбленного патриотизма, превращение отечества в идол и кумир. Нужно вообще напомнить, что римские традиции прошли во многом мимо нас. «Слава, купленная кровью» (Лермонтов), никогда не пленяла русское сердце, и не ради неё билось оно любовью к России. Но и не гоняясь за славой, не абсолютизируя государства, не упиваясь патриотической гордыней, русский народ умел, когда нужно, постоять за себя...

Да, нация немыслима без истории. Но она невозможна и без сколько-нибудь значительной, самостоятельной, духовной культуры. Если трудно отрицать русскую историю, то можно ли говорить о русской культуре?

Думается, и тут нет надобности прибегать к специальной апологии: русская культура ныне вряд ли в ней нуждается даже и перед лицом иностранцев. Наша литература давно уже не тайна для Европы. Русская музыка, вообще русское искусство, русская религиозная мысль, а за последнее время и русская философия – говорят за себя сами. Если англичане готовы потерять скорее свои индийские колонии, чем одного Шекспира, – то и мы, русские, вправе сказать, что вернётся к нам Прибалтика или не вернётся, но Пушкин, Достоевский и Толстой всегда останутся с нами.

Нам самим трудно чувствовать **своеобразие** собственной культуры. Но, кажется, все иностранцы, с ней соприкасавшиеся, хором его отмечают. Не нарочито, не умышленно, а стихийно и подсознательно наши культурно-национальные



ценности носят печать самостоятельного восприятия жизни и мира. Тому порука – наша народная музыка и наш народный эпос. Все согласны также, что Достоевский и Толстой, Глинка и Мусоргский могут быть только русскими. И в русской культурной традиции отсвечивается русская история, как и русская душа.

Культура – не только фактор нации, но также и её документ. Народ, имеющий великую историю и великую культуру, очевидно, заслуживает наименования **нации**. Правда, государство, им созданное, может в себя включать и другие образования национального типа: так российскому государству, несомненно, не удалось претворить в русской нации поляков, финляндцев, ещё некоторые народности, входившие в состав царской империи. Но никто же не станет оспаривать, что российское государство – историческое дело **русского** народа. В страдном подвиге государственного созидания и культурного творчества становился и стал нацией русский народ.

## V.

Но проф. Дюги взывает к современности. В сущности, вся его аргументация построена на использовании небольшого клочка времени, связанного с нынешним русским кризисом. Игнорируя начисто и русскую историю, и русскую культуру, он опирается, с одной стороны, на добытый личными туристскими впечатлениями «социальный анализ» предвоенной России и, с другой стороны, – на поражение России в мировой войне и последовавшую за ним русскую революцию.

Что сказать о «социальном анализе» г. Дюги?

В нём есть кое-что верное, удачно схваченное. Нельзя отрицать, что наше крестьянство в огромном своем большинстве малограмотно, что наши высшие классы страдали многими недостатками, что наша интеллигенция более, чем следует, увлекалась идеями западной цивилизации. Верно и то, что в России не успел народиться тот «средний класс надёжных людей», который представляется ферментом порядка в неко-

торых странах. Можно лишь сказать, что он уже нарождался, но суровая историческая судьба не отпустила ему времён и сроков для мирного и устойчивого созревания.

Всё это так. Конечно, последние десятилетия царской монархии являли собой картину серьезной болезни нашего национально–государственного организма. Но это была **типичная болезнь переходной эпохи**, аналогичная той, которая переживалась Россией в Смутное Время, затем отчасти в годы Петра Великого, и которую очень хорошо знает также и история западно–европейских стран.

Социальным содержанием русского кризиса XIX века служило историческое отмирание поместного класса и его государственно–политического выражения – дворянской монархии. В силу ряда условий русской и, что не менее важно, международной обстановки, этот кризис осложнился и протекал крайне болезненно. Не подоспей мировая война, – быть может, он разрешился бы гораздо более благоприятно, с меньшими потрясениями и жертвами. Впрочем, бесполезно теперь гадать, что было бы при иной обстановке...

Неграмотность крестьянства не препятствовала ему принимать непосредственное участие в созидании русской истории. Сусанин был тёмным крестьянином, Минин – непросвещённым купцом. Среда, создавшая Жанну д'Арк, была ведь тоже не слишком просвещённой. Но, пожалуй, неправильно было бы преувеличивать уровень интеллигентности и современных рядовых пуалу: навряд ли каждый из них хранит ясную память о Бувине и Кастильоне, понимает толк в Конте и Гюго и отдает себе строгий отчёт о французской доктрине государства и права. Дело тут не в степени формального образования, а прежде всего в **стихийном инстинкте родины**, в **национальном чувстве**, претворяемом национальной культурой в **национальное сознание**. «Органом памяти» в данном случае является именно национальная культура, а вовсе не какой–либо «парламент», «плебисцит» и т.п. Взять хотя бы одну из наиболее крепких и ярко выраженных современных наций – японскую: её основу доселе остается то, что вслед

за евразийцами можно назвать «бытовым исповедничеством»: веками слагавшееся и органически пропитанное исторической религией сознание общности прошлого, воплощённого в поколениях предков, конкретное и повседневное чувство **своей** культуры, **своей** земли, **своего** бытового уклада.

Было такое сознание и у простых русских людей. Глубоко ошибается г. Дюги, полагая, что мечтою о «клоке земли» исчерпывается весь духовный мир русского мужика и «коченением от холода» – вся его физическая жизнь. Здесь опять – таки следовало вспомнить русскую литературу, которая как – никак, но ближе знала русскую деревню, чем бордосский профессор. Платон Каратаев из «Войны и Мира» – деревенский человек: разве он не носит в себе целостный нравственный мир? Поэт Есенин – тоже из деревни, крестьянин: разве ему чуждо чувство природы, отнюдь не «закоченелой»? Опасны скороспелые суждения о столь сложном предмете.

Но и самая тяга к земле, готовность многое отдать за «кусочек земли», действительно, характерная для русских крестьян нашей эпохи и знакомая нам по той же русской литературе (Бунин, Горький, Родионов), – что она, как не прямая предпосылка того «среднего класса», об отсутствии коего в России сокрушается почтенный французский профессор? А разве его соотечественные *braves gens*, социальный фундамент современной Франции, не отдадут многого за благоденствие своих ферм и за своё материальное благополучие? Ещё большой вопрос, что для них дороже: эти ли фермы или *les grands principes 1789*? И что выберут они, если придётся выбирать? А кто поручится, что не придётся?.. Уж так ли всё благополучно в старой великой Европе? Сами европейцы полны на этот счёт серьёзных сомнений и опасений...

С другой стороны, не преуменьшая благотворной роли «среднего класса» в современном государстве, было бы ошибочно возводить его в перл создания. Если этот класс бравых рантье – полурабочих, полубуржуа – способен служить полезным фактором социально – политической устойчивости, то ему не по плечу – большая культура и великие задачи.

**Средний** класс хорош, когда рядом с ним и над ним есть **высший** (интеллектуально, морально, вообще **духовно**). Когда же **средний уровень** сам по себе становится исключительным или преобладающим, наступает «медиякратия» (Бальзак), серое царство «сплочённой посредственности» (Д. С. Милль), в атмосфере коего гаснет сложность, умирает разнообразие, чахнет и гибнет самоцветное древо культуры. «*Зажиточность*, – писал Прудон, – *вместо того, чтобы облагородить человека из народа, нередко лишь огрубляет его*».

Теперь два слова о русском дворянстве. Оно погрязло в пороках и слишком обильно развлекалось в Парижах и Ниццах? – Допустим. Но необходим же исторический глазомер. Всему приходит конец: пришел конец и русскому дворянству. Нельзя же судить о жизни человека, которого мы впервые увидели восьмидесятилетним старцем, по впечатлению, им произведённому. Русское дворянство имеет славную историю. Два века петербургской империи – вот её документ. В ней много прекрасных страниц, полных и самосознания, и самоотречения во имя государства. А русская национальная культура XIX века: разве малая роль принадлежала в ней дворянству, умевшему творчески претворять в себя «дух нации»? Но пробил час заката. После 1861 года начинается всестороннее «оскудение» дворянства, к XX веку уже бесспорно определившееся. Ныне оно исторически угасло. И – скажем словами Пушкина:

*Да будет омрачен позором  
Тот малодушный, кто в сей день  
Безумным возмутит укором  
Его развенчанную тень...*

Французская аристократия пережила в свое время нечто похожее, согласно меткому наблюдению Шатобриана: «L'aristocratie a trois âges successifs: l'âge des superiorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier»<sup>71</sup>. Очевидно, этот по-

<sup>71</sup> «Mémoires d'outre tombe», livre I, p. 5.

следний фазис не может ни отменить, ни заслонить собою первых двух.

Русская буржуазия, «аристократия денег»? – Но лишь после первой революции (1905 г.) она стала слагаться в сплочённый, самосознающий социальный строй. И, главное, она не имела благоприятной среды и спасительного дополнения в лице «среднего класса». Она была затеряна в океане крестьянской стихии и море рабочей массы. Столыпинские земельные реформы намечали выход. Но война и революция круто повернули исторический руль.

Русская интеллигенция? – Это очень сложная и большая тема. Я не берусь сейчас даже и касаться её. Скажу лишь, что история русского «образованного слоя» в широком смысле этого слова совпадает с историей русской культуры. Карамзин, Пушкин, славянофилы, Достоевский, Вл. Соловьёв – такие же «интеллигентные люди», как Радищев, декабристы, западники, Чернышевский и социалистические идеологи XX века. Но помимо этого, неправильно начинать историю русского образованного слоя с Карамзина и Пушкина: она нас ведёт далеко вглубь времен – к древним летописям и древней иконописи, переписке Грозного с Курбским, к «Слову о Полку Игореве». И разве лишь очень поверхностному наблюдателю вся эта галерея памятников мысли, веры, любви и борьбы может внушить презрение к «славянским мозгам»...

Как бы то ни было, какие бы социальные превращения ни переживала Россия, подобно всякой другой стране, прожившей долгую историческую жизнь, – они не могут ни опровергнуть русской истории, ни зачеркнуть русского культурного сознания.

Но г. Дюги хочет опереться в своих суждениях о России непременно на современность: на неудачную войну, на революцию и на большевистскую диктатуру. Последуем за ним.

## VI.

Мы уже отмечали, что короткий отрезок времени не основа для общих суждений о том или другом народе. Но остано-

вимся конкретнее на последних событиях русской истории. Дают ли они право отрицать за русскими звание **нации**?

Да, бесспорно, Россия не выдержала страшного напряжения мировой войны и потерпела в ней поражение. Революция была прежде всего **симптомом бессилия победить**. Очень скоро выяснилась ошибочность патриотических надежд, связывавшихся в некоторых русских и союзнических кругах с падением монархии. Революция была в первую очередь **военной катастрофой**.

Россия не выдержала войны, во-первых, в силу своей технической и экономической отсталости и, во-вторых, в силу того, что **война хронологически совпала с тяжким переходным моментом в жизни страны**. Дворянство фатально сходило со сцены, но тем не менее ещё судорожно цеплялось за влияние и власть. Крестьянство завоёвывало позиции, но слишком медленно, и потому в нём бродило глухое недовольство государственной властью. Буржуазия не ладила с дворянством, «интеллигенция» волновалась и тоже пополняла собой ряды оппозиции; рабочие, по обыкновению, занимали левый фланг движения. Революция 1905 года была предостережением и предвестием. Её уроки были приняты во внимание. Но взволнованная народная стихия не успела путём мирной эволюции и социальной перегруппировки войти в новые берега, как грянула мировая война. Страна оказалась к ней неподготовленной ни материально, ни морально. Самый смысл её, и без того необычайно сложный, ещё осложнялся в сознании населения недоверием к собственному правительству, к его политике, к его призывам. Национальный подъём первого года не мог сполна загасить внутригосударственную болезнь, и после ужасных военных поражений 1915 года она обострилась в угрожающих масштабах. Исключительная непопулярность царя и особенно царицы, близорукая политика выродившегося дворца, быстрый рост экономических затруднений, нервность Государственной Думы, общая надорванность национального сознания – всё это ускорило развязку. Безнадёжно выпало одно из звеньев

священной триады – «царь». И не могла не покачнуться вся триада. Требовалось время, чтобы восстановить равновесие «принципа власти», связать и осознать по-новому «отечество» и «веру». Времени не было. И катастрофа разразилась.

Виноват ли в ней русский народ? – В такой же, или ещё в меньшей мере, чем виноват германский в своем поражении и в своей революции. Однако никому же не приходит в голову «отрицать» германскую нацию. Обстановка **напряжённейшей войны при внутреннем историческом кризисе** была настолько тяжела, что крушение оказалось неотвратимым. Я ещё раз позволю себе вызвать в памяти читателя образ Франции 1871 года: непопулярный монарх, внутренние нелады, солдаты, «сражающиеся, как львы, предводимые ослами» (мнение современников), борьба партий, коммуна, сильный, решительный, великий враг. При таких условиях легче говорить о «борьбе до победы» и презирать за неудачу, чем действительно победить.

И уже тем менее, казалась бы, к лицу эти жесты презрения бывшим нашим союзникам, – после Мазурских озер и Карпат, когда ради спасения Парижа и общесоюзного фронта гибли в заведомо безнадежных демонстрациях миллионы лучших русских жизней...

Война сменилась революцией. Но, рожденная войной, революция в процессе своего развития скоро обрела собственную логику и самостоятельное историческое содержание. Она – ещё «нынешний день» России, её итоги ещё впереди, и очень трудно говорить о ней объективно, тем более русскому. Ограничусь самыми общими и немногими соображениями.

Возможны различные политические оценки русской революции. Но мне кажется, что как бы к ней политически ни относиться, сколько ни содрогаться её ужасами и тёмными сторонами, – нельзя отрицать, что **она – одна из типичнейших «великих революций», знакомых истории человечества.**

Она глубочайшим образом всколыхнула весь русский народ, закрутила его в своём смерче, перепахала наново народное поле. Она прорвала немало психологических плотин, смысла,

правда, много хорошего, но не меньше и наносного сора, оплодотворила землю, подобно весеннему разливу. Она дерзновенно и яростно разрубила ряд гордыевых узлов, запутанных последнею эпохою жизни России. Но она не только прочно покончила с помещным классом и дворянской монархией, — она, вместе с тем, поставила и перед Россией, и перед всем миром целый рой огромных и жгучих исторических проблем. Вопрос социальный, вопрос национальный, вопросы государственного устройства, вопросы международных отношений и самого смысла истории — весь этот сонм «проклятых» проблем в неслыханно острой постановке и в болезненно бурной трактовке предстал перед человечеством. Русская революция, как всякая **великая** революция, и субъективно и объективно не ограничивается рамками национальными, но имеет непосредственно международную направленность. Она показательна для всей современной цивилизации, знаменуя собою её серьезный и тревожный надрыв. И недаром она приковывает к себе всё возрастающее внимание и ученых, и государственных людей всех стран. Всякому непредвзятому взору ясно, что ею обозначается момент напряжённейшего бытия русской нации.

Конечно, русская революция далеко не исчерпывается своей официальной идеологией. «Катастрофическая теория Карла Маркса» выступает как её оболочка — не более. Да и это даже, пожалуй, не так: марксизм в ней, как известно, заменен «ленинизмом», специфически **русскою** формой марксизма. Но живой Ленин был несравненно шире «ленинизма». В огромной фигуре Ленина пересекаются многие линии истории русской интеллигенции и вообще русской истории, живописной и суровой. Символично, что гробница Ленина в Москве расположена против исторического Лобного места и памятника Пожарскому и Минину. Однако и в Ленине, конечно, не уместается полностью живая стихия революции, широкая и удалая, как сама Русь, как незабвенная «птица-тройка», опозитизированная бессмертным Гоголем.



Проф. Дюги возмущается большевистской тиранией. Но он странным образом забывает великую французскую революцию. Разве возможна без тирании великая революция? Начиная с ниспровержения старого порядка, она ввергает страну сначала в **анархию**, чтобы затем её преодолеть изнутри **деспотизмом**. Так было с Долгим парламентом и с Кромвелем в Англии. Так было с Национальным Конвентом и Бонапартом во Франции. Питт уже в конце 1789 года заявил, что «французы перешагнули через свободу». Но правильно ли исчерпывать «деспотизмом» характеристику великих революций? *«Революция – это не событие только, это – эпоха»* – говорил Ж. де Местр. «Эпоха» русской революции ещё далеко не кончилась и рано судить о её плодах.

Революционные волонтеры 1792 года сумели отстоять национальную свободу Франции от напора соединенных сил монархической Европы и старого режима, и Гёте недаром произнес в вечер битвы при Вальми свои знаменитые слова: *«отсюда и сегодня начинается новая эпоха мировой истории, и мы можем сказать, что присутствовали при её рождении»*.

Но вспомните иностранную интервенцию на территории революционной России. Мурманск и Архангельск заняты англичанами, на западной границе – «санитарный кордон», «колючая проволока» г. Клемансо, душит кольцо экономической блокады, Кавказ практически администрируется союзными державами, французский десант располагается в Одессе, Украина во власти немцев, чехи, японцы и американцы хозяйничают в Сибири. Русская Вандея, опираясь на чужеземную помощь, мужественно наступает на Петроград, Москву и Волгу. И что же?..

Чем это кончилось? Революция победила – и можно ли назвать случайной её победу, ничего не значащим её торжество? Можно ли сказать, что её солдаты не знали, за что боролись? И разве не знаменательно, что, руководимая интернационалистами, *воодушевлённая* всемирными задачами, не страшаясь величайших национально-государственных жертв, она в то же время несёт собою по-новому осозанный,

преображённый патриотизм? Невольно воскресает в сознании вещая фраза Гёте в день Вальми...

Было бы лицемерием отрицать, что русское революционное правительство деспотично. Нельзя закрывать глаза на его недостатки. Но они не должны затемнять исторической перспективы. Советская Россия с её всемирно-историческими лозунгами, с её большими целями, с её боевым интернационализмом, насыщенным патетическим национальным содержанием, с её влиянием в Азии и колониальных странах вообще, с её своеобразной борьбой против современной Европы — есть исключительной значимости и сложности исторический фактор. И не так трудно сквозь её *искажённые* страданием, ненавистью и болезнью черты разглядеть исконный и знакомый духовный облик России. Вся устремленная к будущему, часто кощунственно попирая великое прошлое своей страны, русская революция невольно и бессознательно продолжает во многом традиции этого прошлого. Отрекаясь от служения нации во имя служения целям человечества, она опять-таки, пусть в больной и даже уродливой форме (как всякая революция), выражает собой давнишние и подлинные традиции русской культуры. Непосредственно обращаясь к Азии, она как бы инстинктивно воспринимает некие давние зовы русской истории. Воюя с «капитализмом» и всеми мерами, часто преувеличенно резкими, стремясь усилить роль государства в хозяйственной жизни, она по-своему охраняет страну от иностранного экономического влияния, от превращения России в колонию иностранных держав. Со временем никто не найдет ничего парадоксального в том, что в Петербурге наряду с Александро-Невской Лаврой и Медным Всадником будет высится памятник Ленину, а в Москве рядом с храмом Василия Блаженного и Кремлем — революционный Пантеон. И если французы ныне величают свою кровавую революцию одним из лучших алмазов в короне французской культуры, то можно ли считать невероятным, что аналогичная судьба ждёт в грядущем и мрачный русский Октябрь?..

«Всемирная отзывчивость», **положительный универсализм** – эта черта издавна считалась присущей русскому культурном сознанию как идеал, ему предносящийся. В своей знаменитой речи на открытии памятника Пушкину Достоевский с потрясающей страстью и силой вскрыл этот идеал. *«Ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению, – сказал он, – сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина».* Ту же мысль неоднократно высказывал и знаменитый наш философ Вл.С. Соловьев. *«Что касается до нашего отечества, – писал он, например, в статье «Национальный вопрос», – то в ком доселе воплотился всего ярче и сильнее русский народный дух, как не в том царе, который властною рукой навсегда разбил нашу национальную исключительность, и не в том поэте, который обладал особым даром перевоплощаться во все чужие гении, оставаясь всецело русским? Петр Великий и Пушкин – достаточно этих двух имен, чтобы признать, что наш национальный дух осуществляет свое достоинство лишь в открытом общении со всем человечеством, а не в отчуждении от него».*

Я не буду цитировать Льва Толстого: его религиозно-анархическое учение, полное тоски по вселенской правде, известно всему цивилизованному миру. И, наконец, современный нам большой русский поэт, покойный Александр Блок, уже в дни революции интуитивно погружаясь в русскую стихию, отразил в своих замечательных «Скифах» те же мотивы:

*Мы любим всё: и жар холодных числ,  
И дар божественных видений.  
Нам внятно всё: и острый галльский смысл,  
И сумрачный германский гений.  
Мы помним всё: парижских улиц ад  
И венецьянские прохлады,  
Лимонных роц далекий аромат  
И Кёльна дымные громады...*

Да, это так. Нам внятен галльский смысл. Жаль, что мы, по-видимому, напротив, далеко не всегда ему внятны. Возвращаясь к той же подлинно «галльской» оценке русского народа у современного французского ученого, мы не можем отказать ей в известной живости, внешнем остроумии, в «остроте». Но мы никак не можем принять её.

Русская нация есть объективная историческая реальность. Утверждая себя, она устремлена и к утверждению других. И эта её устремленность, напряжённая и действенная, в настоящее время совпадает с актуальнейшими веяниями всемирно-исторического процесса.

Мировая война – эта страшная и безумная «гражданская война белого человечества» – была, несомненно, показателем глубокого нездоровья современной цивилизации. Ею кончается большая историческая полоса, и после неё должна начаться какая-то новая эра. «Un grand destin commence, un grand destin s'achève» (Corneille). И в плане этой новой, начинающейся эры не суждено ли русскому народу сказать первое яркое слово? Но оно, разумеется, уже не может быть ни демонстрацией националистической исключительности, ни лицемерной формулой «международного равновесия». Оно должно собою предображать стремление к некоей подлинной и действенной гармонии национальностей, их положительному, мирному взаимоотношению. Ибо гармония есть плодотворное **единство в разнообразии**, и в доме Отца обителей много.

## Фрагменты

(Из записной книжки 1920 года)

*«Угнетение и рабство так явны и так резки, что следует удивляться, как дворянство и народ могли им подчиниться, обладая ещё некоторыми средствами избежать их, или от них освободиться... Это безнадежное состояние вещей внутри государства заставляет народ большей частью желать вторжения какой-либо иностранной державы, которое, по его мнению, одно только может его избавить от тяжкого ига такого тиранического насилия.»*

Откуда это? Из свежего «меморандума» наших дальневосточных «националистов» токийскому правительству? Или же из доклада очередного «очевидца», прибывшего из красной России? Или из новой речи генерала Гофмана, воодушевленного великими интервентскими дерзновениями и дающего им благородное обоснование?..

— Нет, это пишет в конце шестнадцатого века английский посланец Флетчер о России Иоанна Грозного, «отца нынешнего государя» (Флетчер, «О государстве русском», русский перевод 1905 г., стр. 40, 41).

Вот оно как выходит: народ, изнывавший от гнета и только и мечтавший что об интервенции, как раз в эти десятилетия

ужасов «тиранического правления» взял да и создал великую державу московскую, увенчав труды Калиты... И – странное дело – в бесконечных легендах воспел тирана, от коего столь жаждал освободиться хотя бы через вторжение любой иностранной державы...

Эх, бусурманская наблюдательность, бусурманская психология, – уж эти лондонские снобы с их «резвым взглядом на вещи»...

Да еще плюс боярская информация (Курбский, другие)... Присягнули же Владиславу через несколько лет...

Иоанн Грозный, Петр Великий, наши дни – тут глубокая, интимная преемственность. Удивительно, что об этом ещё мало пишут. Неисчерпаемые возможности психологических и исторических параллелей. «Три этапа». Богатейший и эффективнейший материал для целой диссертации...

И уж, конечно, двести лет тому назад те же Нарышкины и Шереметевы возмущались «ассамблеям» и оплакивали кафтан и бороду. И называли Антихристом коронованного революционера. Я уже не говорю о «Всешутейшем Соборе», о замученном царевиче Алексее (тоже – Алексее) – неизбежных, но особенно отталкивающих крайностях перелома...

А триста пятьдесят лет тому назад те же Вяземские и Оболенские роптали против новой формы русского великодержавия, воплощённой в Грозном. И судорожно хватались за «земщину», за «Земский Собор», как теперь за «незыблемость собственности» и «Учредительное Собрание»...

Впрочем, и у Шереметевых, и у Вяземских были свои «перелёты» («тогдашние Чичерины») – петровский «Шереметев благородный» и иоаннов опричник Вяземский.

Но, быть может, правильнее сравнивать наши дни не с эпохой Грозного и Петра, а с аракчеевщиной и бироновщиной?

Ни в коем случае. Такая аналогия была бы совершенно поверхностна, внешня. Бирон и Аракчеев проводили бироновщину и аракеевщину с целями чисто охранительными. Они не несли с собою новой идеи, «нового мира», они ни в каком смысле не были революционерами. Между тем Иоанн Грозный и Петр являлись именно носителями «нового мира», осуществлявшегося «революционными» методами. Тоже и наша эпоха.

«Народ» ненавидел опричнину Грозного и администрацию Петра не меньше, чем нынешние красные охранки. Он не понимал смысла ломки. А потом уже по плодам понял, что она была необходима, и оправдал совершённую революцию. Оправдает и теперь, несмотря на все ужасы и преступления революционной власти.

Что же касается чисто внешних, бытовых черточек сходства с аракеевщиной, то, конечно, найти таковые очень нетрудно. Вот, например, как описывает военные поселения в своих мемуарах Вигель:

*«Бедные поселенцы осуждены были на вечную каторгу... От всего, несчастные, должны были отказаться: всё было на немецкий, на прусский манер, всё было счётом, всё на вес и на меру. Измученный полевой работой военный поселянин должен был вытягиваться на фронт и маршировать; возвращаясь домой, он не мог находить успокоения: его заставляли мыть и чистить избу свою и мести улицу. Он должен был объявлять о каждом яйце, которое принесет его курица. Что говорю я. Женщины не смели родить дома: чувствуя приближение родов, они должны были являться в штаб».*

Помню, какой эффект произвела на аудиторию эта цитата, когда я привел её на лекции по курсу истории русской политической мысли в пермском университете (осенний семестр <19>18 года)!

Известный московский философ В.Ф. Эрн в ответ на упрёки в излишнем пристрастии к славянофильству издал брошюру под заглавием: «Время славянофильствует» (1916).

Так и теперь, взглядываясь в эпоху, кажется, можно было бы написать недурную брошюру под заглавием: «Время большевизму».

И любопытно, между прочим, что её не так трудно было бы по существу согласовать с упомянутою брошюрою Эрна. Со временем этот парадокс превратится в трюизм: в большевизме, как целостном жизненном явлении, очень много «славянофильских» мотивов.

Доходящие сюда французские журналы и газеты свидетельствуют о чрезвычайной скудости идей новейшей французской «реакции». Это ни в какой мере и ни в каком смысле не стиль Бональда или Местра, — это розовенькая водица переживших себя «бессмертных принципов 89 года».

Я с огромным интересом и вниманием следил за канонизацией Орлеанской Девы в соответствующей литературе. Но признаков подлинной «католической реакции» большого масштаба все же не мог найти, — по крайней мере, поскольку способен был судить отсюда.

Политику Франции делают и государственный облик её представляют всё те же люди третьей республики, демократы и радикалы, для которых последний закон мудрости — по-прежнему «свобода, равенство и братство» французской революции.

В своей преданности этим идеям прекрасная Франция словно не замечает, как они мало-помалу переставали быть «революционными» и превращались в ветхую чешую змеи, спадающую ныне с плеч человечества.

Когда размышляешь о применении этих принципов к России, — почему-то упорно вспоминается утверждение Константина Леонтьева:

— *Никакое польское восстание и никакая пугачевщина не могут повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция («Византизм и славянство»).*



Это прямо поразительно, до чего наша контрреволюция не выдвинула ни одного деятеля в национальные вожди. Все её **крупные** фигуры органически чуждались власти, не любили, боялись её. Власть для них была непременно только тяжелым долгом, «крестом» и «бременем»: «вот доведём до Москвы, и слава Богу»... И это не слова, а сушая правда, вопреки трафаретным обвинениям противной стороны. Ни Алексеев, ни Колчак, ни Деникин не имели **эроса власти**. Все они, несмотря на их личное мужество и прочие моральные качества, были **дряблыми вождями дряблых**. Это не случайно, конечно.

Революция же сумела идею власти облечь в плоть и кровь, соединив её с темпераментом власти.

«Слуги реакции — люди не слов, а дела» (Лассаль). — Не лучшее ли это свидетельство, что у нас отнюдь не было настоящей реакции?..

Диктатор — любовник власти, в то время как наследственный монарх (или выбранный президент) — её законный супруг.

Якобинцы нашей революции, несомненно, уже затмили собою французских якобинцев, обнаружив значительно большую политическую одарённость, изворотливость, жизнеспособность, даже более широкий размах. Зато французские жирондисты несравненно выше и ярче наших...

Глубоко верное определение революции: *«То, что мы называем революцией, есть видимое воплощение невидимой*

*работы ума, на помощь которой пришли темпераменты, удобный случай и согласие более или менее компактной массы»* (Н. Котляревский, «Канун освобождения»). Русская революция есть одновременно апофеоз и Немезида истории русской интеллигенции.

Помню, в Перми всё время, свободное от мешочничества и лекций, я проводил за изучением русской истории и истории русской политической мысли. Это был единственный способ избавиться от убийственных переживаний современника, увидеть смысл в окружающей бессмыслице.

А Горький называет нашу историю «бездарной»!! Впрочем, пусть... Отрицал же Толстой мировую культуру. Это – тоже наша русская черта.

Российское Учредительное собрание († 5 января 1918 г.) было большей пощечиной идее демократизма, нежели даже весь большевизм.

Сумерки старой, классической демократии... Этого ещё не понимают, а между тем это так. Нужно осознать это, выявить... Сумерки – в мировом масштабе. Кто следит за новейшей эволюцией государства на Западе («кризис современного правосознания»), тому это легче усвоить.

Идёт новая аристократия под мантией нового демократизма. В частности, русская революция – не демократическая (Керенский, учредит[ельное] собрание), а аристократическая по преимуществу («триста тысяч коммунистов», – на самом деле, ещё меньше). «Аристократия чёрной кости»?.. Пожалуй. Но это – относительно. Аристократия воли. «Воленция» вместо «интеллигенции», по чьему-то удачному замечанию.

И любопытно, что идеология русской революции – преодоление «формального демократизма»... Берегитесь, «либерально-эгалитарные принципы 89 года»! Как торжествовал бы К. Леонтьев, доживи он до наших дней. Он бы сумел разглядеть сквозь оболочку.

Помню, проф. В. М. Х<востов>. в Москве, занимавшийся за последнее время социологией и открывший «типическую кривую» для всех революций и индивидуальные кривые для каждой из них, – уверенно заявлял весной <19>18 года: 1) переезд большевистского правительства из Петербурга в Москву есть 9 термидора русской революции, после которого её кривая начнет неизбежно спадать и 2) русская революция, сообразно её природе, не будет знать кровавого террора и ограничится лишь кошельковым.

Любопытно, сохранил ли теперь этот профессор свою светлую веру в возможность социологических предсказаний (помню споры свои с ним на этот счет)?.. Впрочем, писали, что он уже умер...

*«Скажем Европе, – восклицал с трибуны высокого собрания Иснар, – что десять тысяч французов, вооружённых мечом, пером, рассудком и красноречием, в состоянии, если их раздражат, изменить поверхность земного шара и привести в трепет всех тиранов на их глиняных ногах». «Везде, где только существует трон, – добавлял Геро де Сешель, – у нас имеется личный враг».*

А говорят, что французская революция была только национальной, чуждалась «мировых (или, тогда, европейских) устремлений»... Великое недоразумение! Французский патриотизм, как ныне русский, разгорелся уже в процессе самой революции, как результат революционных войн... Аналогия несомненна – вплоть до знаменитого тезиса Бриссо: «владычества народов не могут связать трактаты тиранов»... Помнится, об этом была прекрасная статья И.С.В<еревкина> в московском журнале «Накануне» (весна <1>918).

А теперешние французы обижаются, когда сравнивают большевиков с революционерами 93 г.. Какая злость!

Помню, сидел как-то в казённой пермской столовке. Кругом за столиками – красноармейцы, комиссары, чрезвычайевцы (из «батальона губчека»)… Украдкой всматривался, запоминая… Вспомнились невольно парижские музеи революции. «Тип якобинца» отошел в историю, ярко запечатлённый, отлившийся в чеканные формы. Так и здесь. «Тип большевика», – несомненно, столь же отлился уже. Что-то общее было в них всех. В массе. Выражение лиц, стиль одежды, манера держаться… Жуткий, страшный тип. Но – чувствуется сила, своеобразие, главное воля. «Программа двадцатого века», – как «89» и «93» были программой девятнадцатого.

…Потом тоже будут показывать в музеях восковыми фигурами.

Бунт славянофилов против Петра основан на великом недоразумении. Петр не убил (и не хотел, и не мог убить) русского духа, а лишь создал более совершенные, приспособленные внешние формы его проявления. Хомяков понимал это лучше своей школы, называя петровский переворот «страшной, но благодетельной грозой».

Русская культура не погасла, а расцвела с «петербургским периодом». Само славянофильство есть его продукт.

…Только бы Россия была мощна, велика, страшна врагам. Остальное приложится.

Мы (в большинстве) завидуем нашим потомкам. – Потомки наши будут завидовать нам. Каждый час нашей эпохи будет жеваться до иступления.

Великая Россия творится в великих потрясениях. Антитеза Столыпина «снята». Кому нужна Великая Россия, тот должен принять и великие потрясения. Чем скорее будут они приняты, тем они скорее кончатся.

*«Революция имеет два измерения: длину и ширину; но не имеет третьего – глубины»* (В. Розанов).

Это потому, что революция – вся в движении, вся в действии. «Некогда как следует подумать». Она бьет ключом дерзновения, её практика – её теория. Её принципы – боевые лозунги, она, как Ницше, «философствует молотом». Она интересна и своеобразно привлекательна лишь своим бурным процессом, но осуществись в точности до конца её **канонизированные** стремления – её «плоскостное» очертание выявилось бы во всей своей очевидности.

Вот как, по свидетельству г. Н. Минского, определяет состояние нынешней России недавно приехавший оттуда известный поэт, конечно, противник большевизма: *«Дело в том, что Россия – вся Россия целиком – тронулась с места и куда-то помчалась. И куда бы она ни мчалась – в бездну ли, или к новой жизни, – сила полета и опьянение полётом остаются те же»*... Вихрь полета, столь пророчески почувствованный Гоголем в «птице-тройке»...

Однако придёт время и этот размах будет **углубляться**. Раскроются подпочвенные токи. Остановится чудная тройка; сгустятся сумерки, и вылетит, шумя крыльями, сова Минервы. Пробьёт час торжества третьего измерения – «глубины». Завершится великий период. Круг революции замкнётся... реакцией... Творческой реакцией духа.

Кстати, о.г. Минском. Теперь вот он в Париже пламенно обличает «кошмары большевистской мистерии», «оголённый материализм разгулявшихся рабочих и крестьянских аппетитов», и всем, волнуясь, задает «неизменный вопрос: долго ли продержатся большевики?»

А между тем, как сейчас вспоминаю не менее пламенные его строки 1905 года. Помню, гимназистом шестого класса читал их в «Новой Жизни» рядом с фельетоном Горького об интеллигенции. Читал, не скрою, с чувством отвращения и неприязни (даже и тогда не был революционером и социалистом):

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  
Наша сила, наша воля, наша власть.  
В бой последний, как на праздник, собирайтесь, —  
**Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.**  
...Мир возникнет из развалин, из пожарниц,  
Кровью нашей искуплённый, новый мир.  
Кто рабочий, к нам за стол — сюда, товарищ!  
Кто хозяин, — с места прочь! Оставь наш пир!  
...Братья—друзи! Счастьем жизни опьяняйтесь!  
**Наше все, чем до сих пор владеет враг.**  
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  
Солнце в небе, солнце красное — наш стяг!*

Чего бы, кажется, пенять на судьбу! Мечты сбылись. «Пришёл настоящий день», выглянуло красное солнце. И, однако, — испугались, ужаснулись, отреклись: «долго ли продержатся?» Всеми ногами опрометью бегут вместе с «хозяевами» от желанного «пира». Да, бухали в колокол, не посмотрев в святцы. «Накликали — и под печку».

...И ещё почему—то доселе считается хорошим тоном ругать Гершензона за его знаменитую фразу в «Вехах» об интеллигенции, народе и власти. Помните: **«каковы мы есть (предреволюционная интеллигенция, У), нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной»**... Свершилось.

Мережковский очень метко уподобляет большевиков марсианам из «Борьбы миров» Уэллса. В самом деле, это словно существа с другой планеты. С особыми чувствами, особым восприятием жизни. Особенно это разительно на фоне чеховской России, после всех этих тихих, мягких, хрупких людей, полутонов, полутеней... И после упадочного мещанства двадцатого века, предвоенных героев Саши Черного, дикарей высшей культуры...

*Человек современный, низкорослый, слабосильный,  
Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин.  
Весь трусливый, весь двуличный, косодушный, щепетильный,  
Вся душа его, душонка – точно из морщин.*

**(Бальмонт)**

И вот железные чудища, с чугунными сердцами, машинными душами, с канатами нервов: «у меня в душе ни одного седого волоса» (Маяковский). Куда же против них дяде Ване или трём сестрам?..

Куда уж нашим «военным» фронтам против них, против их страшных рефлекторов, жгущих конденсированной энергией!

Разрушат культуру упадка, напоят землю новой волей – и, миссию свою исполнив, погибнут от микробов своей духовной опустошённости...

Ренан о социалистах: *«После каждого неудачного опыта они начинают снова: «не добились решения – добьёмся!» Им в голову не приходит, что решения не существует. И в этом их сила.* («История израильского народа»).

Да, конечно. Но в этом же и их слабость.

Александр Блок, Андрей Белый, Лев Шестов и другие руководители «Вольфилы» поставили в порядок дня обсуждение проблемы **«кризиса современной европейской культуры»**. Блок прочёл доклад «Крушение гуманизма», Белый – «Кризис культуры», Иванов–Разумник – «Эллин и Скиф», «Скиф в Европе» и т.д.

По-видимому, эта проблема сама собою выдвигается на первый план. Русская революция, некоторыми своими чертами («надоедливая Марксова борода») являющаяся последним продуктом западной культуры, по внутреннему и наиболее интимному существу своему есть величайший бунт против неё. Этот бунт в плоскости официальной идеологии нынешней Москвы выражается в лозунгах – «долгой парламентаризм!»,

«долой формальную демократию!», «долой политическое реформаторство!» Но конечный, предельный пафос всех этих лозунгов, скрытый от официального штампа, есть, несомненно, протест (пусть опасный по существу и уродливый по форме) против того, что славянофилы называли «внешней правдою», «рационализмом западной культуры». И вот, по-видимому, мистики наши и стремятся ныне вскрыть подлинный «нерв» движения, его «нутро», его подлинную основу. Это и есть начало истинного «углубления» революции, это уже расправляет свои крылья сова Минервы...

Впрочем, увы, «в виду общих типографских условий» все эти доклады не могли быть напечатаны, и мы знаем лишь их заглавия.

Кн. В.Ф. Одоевский о России и Европе:

*«Пусть много недостатков иноземцы находят в русском народе: но им нельзя не согласиться, что есть нечто великое даже в его недостатках... Мы приняли в себя европейское просвещение, переработали его сообразно своему духу, – обрусевшая Европа должна снова, как новая стихия, оживить старую, одряхлевшую Европу... Запад ожидает ещё Петра, который бы привел к нему стихии славянские»* (цит. по диссертации Сакулина: «Одоевский», т. I, с. 592, 594).

Эти слова относятся к тридцатым годам прошлого века, т.е. когда ещё не было славянофильства как сложившейся доктрины.

Эти идеи «носились в воздухе». Но, что особенно любопытно, это то, что в разных вариациях и одеяниях они упрямо и подчас неожиданно выплывают чуть ли не во всех течениях русской общественной мысли последнего столетия – в западнических и материалистских, пожалуй, даже не менее, чем в славянофильских и религиозно-мистических.

«Национальная болезнь»?

Достоевский в «Бесах» так объясняет ее природу:

*«Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Чем сильнее народ, тем особливее*



его Бог.. Народ – это тело Божие. Всякий народ до тех пор и народ, пока имеет своего Бога, особого, а всех остальных на свете Богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира всех остальных Богов... Если великий народ не верует, что в нём одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не великий народ»...

Это – бред Шатова в его беседе с Ставрогиным.

### (Из записной книжки 1926–1927 годов)

Что может быть ныне менее благодарного, нежели открытая защита **оппортунизма**, как системы политического действия? Что может быть теперь менее «оппортунистично»? «Справа» кричат о приспособленчестве к большевикам. «Слева» – о приспособлении к буржуазии. Быть в наши дни настоящим оппортунистом–практиком – это значит потрясать кулаками и без усталости греметь: «долой оппортунизм!» Все «Ужи» – теперь обязательно в «Соколах».

Углубленный, критический оппортунизм можно иначе назвать **конкретным идеализмом**.

(После напечатания статьи «Оппортунизм»)

Выходит, что с некоторым правом могу применить к себе известную фразу Монтеня: «для Гибеллинов я Гвельф, для Гвельфов Гибеллин». Трудно втиснуться без остатка в ревнивые военно–полевые каноны враждующих стансов современности.

(После прочтения бухаринского «Цезаризма»)

К вопросу о психологии фанатизма: «Свободное поле энтузиазму фанатиков открывают почти всегда самые спорные и наименее верные идеи. Вы найдете сто фанатиков для

решения богословского или метафизического вопроса и не найдете ни одного для решения геометрической задачи» (Ломброзо). Карлейль называл французский Конвент «синедрионом педантов», занимавшихся «теорией неправильных глаголов».

И ещё черта: «По-видимому, во все времена имел силу общий психологический закон, по которому нельзя быть апостолом чего-либо, не ощущая настойчивой потребности кого-либо умертвить или что-либо разрушить» (Лебон).

Психологии фанатизма должна быть противопоставлена философия оппортунизма. Её преимущество уже в том, что нелегко быть **фанатиком** этой философии...

Однако и фанатический порыв должен быть расчётом взят на учёт, как факт и фактор:

*Тот, кто верой обладает  
В невозможнейшие вещи,  
Невозможнейшие вещи  
Совершать и сам способен.*

*(Гейне)*

Или иначе, по-немецки:

— Ein Mann, der nicht manchmal das Unmögliche wagt, wird das Mögliche nicht erreichen.

Сложен и дивен Божий мир!..

Интересно бы когда-нибудь проследить историческую и социальную роль **зависти**, одного из самых могучих и действенных человеческих чувств. С одной стороны, она – несомненный фактор прогресса (соревнование, конкуренция, стремление возвысить себя). С другой – орудие распада, разрушения, деградации (злоба, ревность, стремление снизить других). Конечно, есть интимная связь между страстью зависти и пафосом равенства. Шатобриан даже утверждал,

что великих революционеров произвело на свет ни что иное, как оскорблённое самолюбие, т.е. та же зависть.

На самых низших ступенях человеческой иерархии зависти нет. Раб не чувствует унизости своего положения и не завидует господину: «рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют». Чем выше, тем зависть острее; она растёт в меру развития способности сравнения. Острейшая, неизбывнейшая зависть – на вершинах: Сальери и Моцарт.

Нужно ли бороться с завистью? – Ещё бы! Что может быть отвратительнее её?! Нужно изобличать её пустоту и неправду, нужно её побеждать апологией добра и деятельной любви. Но пока она не исчезла (в процессе истории она не исчезает, а, напротив, растёт), следует учиться пользоваться ею для благих целей. Она подобна ядам. Не будь ядов, не было бы и лекарств.

Нет ничего хуже на свете, нежели плоскодонный оптимизм. Именно он – то и рождает всевозможных доктринёров и фанатиков, тем более ожесточающихся, чем суровее противостоит их рассудочным выкладкам жизнь. В конце концов такие оптимисты – глубоко неинтересные люди.

Пессимисты глубже и ярче их приблизительно настолько, насколько «Ад» Данте глубже и ярче «Рая»... *«Где великий человек открывает свои мысли, там Голгофа»*, – говорит Гейне. *«Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия»* – сказал Екклезиаст.

Необходимо исчерпывающе и всесторонне прочувствовать и продумать провозглашённую совершеннейшими религиями истину, что «мир во зле лежит».

И только тогда, – по иному, по новому, – можно преодолеть пессимизм, сохраняя его как «ступень» к высшему знанию и не отказываясь от него в отношении к миру, лежащему во зле. *«В горе счастья ищи»*, – учил старец Зосима Алёшу Карамазова.

«*Прекрасное выше, чем доброе: прекрасное заключает в себе доброе*» (Гёте). Этот афоризм можно противопоставить упрёкам в «аморально–эстетическом» подходе к историческим и политическим проблемам (Цуриков по моему адресу на евразийском диспуте в Праге).

Теперь часто говорят о «сверхэтике», о «гиперэтике». Гёте и Ницше предугадали новую таблицу ценностей, ориентированную на красоту («гармонии»), как высшем и плодотворнейшем принципе. Наш Вл. Соловьев отводил «теургии» главу угла положительного мирозерцания. Достоевский утверждал, что именно Красота спасет мир.

Нельзя **противопологать** этику эстетике: эстетические категории не отвергают, а «снимают», «отменяют» этические, претворяя их в себе. Они проникают глубже, и часто то, что «иррационально» для морального сознания, может быть освоено, уяснено эстетическим.

Впрочем, в настоящее время сама нравственная философия преодолевает рационалистический морализм «правил поведения», которыми полонил её Кант...

Политика, история, государство – предметы познания, не поддающиеся отвлечённому этическому подходу, не исчерпывающиеся им. В частности, «великие люди» почти сплошь представляются «злодеями» бедному и выхолощенному анализу абстрактной «совести». Вспомните отношение Толстого к Наполеону. Толстой вообще очень характерен как представитель последовательно «этической» трактовки истории и культуры. И не случайно его «трактовка» есть сплошное «отрицание» и той, и другой.

Худо, когда государственный деятель, подобно Керенскому, занимается больше «спасением души», нежели государства: он не спасет ни государства, ни души.

Аристотель называл политику «наиболее могущественной и архитектурной наукою». Часто и не без основания

в политике видят «грязное ремесло». Но в то же время она, пожалуй, возвышеннейшая функция человека и человеческого общества. Один современный автор усматривает в ней «практическую социологию»: *«чтобы политик мог с успехом заниматься своим делом, он должен быть и ученым, и художником, ибо политика и морально, и материально является наиболее высоким занятием: она одновременно и наука, и искусство»* (Бенеш, «Речи и статьи»).

Политика причастна таинственным глубинам человеческой души. Воля к власти, воля к подчинению и поклонению, тайна свободы и авторитета, логика истории, законы массовой психики, феноменология прекрасного, диалектика нравственности, поле битвы добра и зла – в море всех этих величайших вопросов непрерывно погружен политик. И не мыслью, не рассуждением только, а всеми стихиями своего существа. Эмоции философа, ученого, художника: какое душевное и духовное богатство! Но кругом – опасности, соблазны, «прелести». В этой вечно боевой и вместе с тем неверной, переменчивой атмосфере философу легко сбиться на софиста, учёному – превратиться в несносного забияку научного полусвета, художнику – выродиться в спортсмена, азартного игрока или ремесленника. И как естественно часты такие превращения!..

Саллюстий приводит демократически гордую фразу Мария, как известно, не принадлежавшего к родовой аристократии:  
– Мои раны на груди – вот мой герб, мой дворянский титул!

Современная наша партийная аристократия, старая большевистская гвардия в аналогичных случаях заявляет:

– Рубцы от каторжных цепей, мозоли от сибирских дорог, эмблемы подполья и тюрем – вот наш герб, наш почетный титул!

Что-то скажут уже-тко красные хозяйственнички и крепкие частнички – чумазая аристократия будущего? Разве вот что:

– Наш славный герб – «огни, воды и медные трубы». И девиз на гербе – из незабвенного Козьмы:

– Козыряй!

Хлопоты, суетня вокруг литературы: «не упустить руля». И везде, как мальчики кровавые, мерещатся «стабилизационные настроения». Любовь, гуманность – они. Смерть – они. Всё, что «сверхклассово» – они. Мотивы природы, молитвы, тоски, вечности – они, они, они. И т.д. до бесконечности.

Нарочитое снижение и тем, и мотивов искусства. Обязательное превращение сердца в барабан. Вместо «вечных», себе довлеющих проблем – служебные, боевые, узко временные: «на посту». Искажение пропорций и смешение перспектив. Что за свирепая ревнивица – эта Революция!..

Нельзя же сводить тему «жизни» к теме «общества». И жизнь мечется, стоит за себя. *«Начало философии – удивление»* (Платон). *«Смерть – вдохновительница философии»* (Шопенгауэр). *«Любовь есть аффект бытия»* (Фихте). *«Бог есть любовь»* (Свящ. Писание). А природа? *«Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что!»* (Достоевский). – Может ли человек отвлечься от всех этих мотивов, стержней своего существа?..

И естественно, что каждый сколько-нибудь крупный писатель вольно или невольно «прорывается» в них. И его спешно ловят за фалды, и негодуют, и кричат о «стабилизационных настроениях», о том, что «пролетарская насадка высиживает реакционного утенка» (Лелевич). И смех, и грех.

Но даже если оставить «вечные» темы и «касание мирам иным», – справедливо ли ополчаться на «попутчиков» и бить в набат о «правой опасности в литературном движении»?

Помню, не так как давно один из очень известных современных русских беллетристов – попутчиков говорил мне по этому поводу:

*«Требуют от нас пролетарски-революционных вещей. Но для этого же нужно переродить быт. Нет же у нас комму-*

*нистического быта. Нигде нет. Вот почему и не выходит...  
А вовсе не потому, что мы – вне революции!»*

Сама революция – вне такой «революционности». И немудрено, что когда литература не отражает революцию, а гонится за «революционностью» – выходит фальшиво, искусственно, надуманно. «Целевая», батальная литература нынешнего коммунизма, – в сущности, не литература и не культура. Троцкий прав: «когда звенит оружие, тогда музы молчат», и лабораторным путем культурные ценности не создаются.

Спасибо хоть на том, что теперь эти «ультралевые» притязания в их обнажённом виде, по-видимому, всё же не слишком влиятельны. Не они владеют литературной политикой партии. Не в их руках – руководящие журналы. Их охотно обличают в «комчванстве» литературные критики партии. Но «левая опасность» всё же, несомненно, показательна по многим причинам. Между прочим, своим идеологическим «жупелом» ей угодно избрать – меня: очевидно, с лёгкой руки Зиновьева и оппозиции XIV съезда. «Устрялов» – гидра «стабилизационных настроений»...

(Под впечатлением альманаха левых напостовцев «Удар», 1927).

Общеизвестна характеристика основного порока новой русской истории у В.О. Ключевского. Отмечая ряд изъянов русской действительности, он пишет:

*«Все эти неправильности имели один общий источник: неестественное отношение внешней политики государства к внутреннему росту народа: народные силы в своём развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство пухло, а народ хирел».*

И ещё:

*«Напряжение народной деятельности глушило в народе его силы, на расширившемся завоеваниями поприще увеличивался*

*размах власти, но уменьшалась подъёмная сила народного духа. Внешние успехи новой России напоминают полёт птицы, которую вихрь несёт не в меру силы её крыльев» («Курс русской истории», ч. III).*

Революция не уничтожила пока этого опасного порока. Скорее, напротив, обострила и углубила его. Задачи нашей внешней политики стали ещё более грандиозны, а их внутренние предпосылки – ещё более скромны и хилы. Опять то же несоответствие между ресурсами «народа» и полётом «государства». Видно, от исторической судьбы не уйдешь.

Всегда характерная для России напряжённая устремлённость к огромным, всемирно–историческим свершениям и целям есть, неоспоримо, знак величия и народа её, и государства. Но всё же основная ныне и очередная, насущная её задача – преодоление порока, отмеченного Ключевским. Хочется верить, что великая социальная перегруппировка, данная в революции, облегчит выполнение этой задачи: народ возмужал, возросла его непосредственная активность. Путь оздоровления – в развитии «подъёмной силы народного духа» до уровня большого государственного стиля. Нужно народу подняться до государства, – иначе государству придётся свертываться до реальных возможностей народа. Вероятнее всего, неизбежны параллельно оба эти процесса, причём и в том, и в другом руководящая роль выпадает, конечно, на долю государства, его целесоздающей, направляющей и ответственной деятельности.

Внешняя политика Советской России руководствуется необъятными «интересами человечества». Её экономическая политика преследует также большую идейную цель – осуществление социализма, и этой цели, как чему–то самоудовлетворяющему и **священному**, принципиально подчиняются непосредственные интересы национального хозяйства.

Отсюда явствует, что, поскольку государственная власть принуждается умерить свой размах, дабы согласовать его с внутренним ростом народа, – двойной путь укажется ей:



---

– Локализация отечества и секуляризация хозяйства.

Бухарин величает меня «Пиндаром великороссийского фашизма» и объявляет национал–большевизм «теорией, стратегией, тактикой российского фашистского цезаризма» («Цезаризм», стр. 26 и 44). Прав ли он?

Нет, неправ. «Русский фашизм» прочно законтрактован Марковым Вторым, парижскою «школой фашизма», эмигрантскими офицерами–врангелевцами, великим князем Николаем Николаевичем. Пускай они и будут «русскими фашистами»... на чужеземной земле.

Зачем нам фашизм, раз у нас есть... большевизм? Видно, суженого конём не объедешь. Тут не случай, тут – судьба. И не дано менять, как перчатки, историей сужденный путь. «Per aspera ad astra» – говаривали в былое время любители «поговорить красиво».

Конечно, русский большевизм и итальянский фашизм – явления родственные, знамения некоей новой эпохи. Они ненавидят друг друга «ненавистью братьев». И тот, и другой – вестники «цезаризма», звучащего где–то далеко, туманною «музыкой будущего». В этой музыке – мотивы и фашизма, и большевизма: она объемлет их в себе, «примиряет» их (не в лозунгах «мирного обновления», а в категориях диалектики). Как это произойдет реально – сейчас невозможно предвидеть. Но «предчувствовать», что этот музыкальный синтез должен произойти, – уже позволительно.

Впрочем, «поверим алгеброй гармонию». Синдикальное, «корпоративное» государство, конечно, родственно советскому, хотя его духовными родителями являются Бергсон и Сорель, а не Гегель и Маркс. Но недаром его творец – бывший социалист, прошедший партийную школу. По его собственным словам, «социализм это такая вещь, которая входит в самую кровь». В деле ниспровержения формальной демократии, одержимой аневризмом, Москва «указала дорогу» Риму. «В России и Италии, – писал тот же Муссолини в 1923 году, – доказано,

*что можно править помимо и против всякой либеральной идеологии. Коммунизм и фашизм пребывают вне либерализма». Этатизация, огосударствление – вот основная тенденция и того, и другого.*

Ллойд–Джорж назвал Ленина «первым фашистом». Но, пожалуй, ещё с большим правом можно было бы назвать Муссолини «первым ленинцем». Это – враги, которых помесь определит грядущее. Такие «симфонии» возможны: сам род человеческий возник, по преданию, из пепла титанов, поглотивших Диониса, – вот почему титаническая воля смешана в человечестве с дионисовым началом...

Неверно, далее, что большевизм опирается исключительно на рабочих, а фашизм – исключительно на буржуазию. Большевизм принужден опираться не только на рабочих, но и на мелкобуржуазных крестьян. Фашизм принужден опираться не только на буржуазию, но и на рабочих. При различии тактико–политических предпосылок, социальных акцентов, субъективных устремлений, и там, и здесь – элементы модернизированного «сотрудничества классов». Зачем закрывать схему глаза на факты?

Безрассудно быть в наши дни сторонником фашизма для России, «будить уснувшие бури». Предоставим Италии итальянский путь, – будем для себя отстаивать свой, далеко не случайный и достаточно своеобразный. Нужно идти **вперёд**, но по **своей** дороге. Нет, Бухарин совсем напрасно попрекает меня фашизмом. Отказываюсь от этого ярлыка.

Большевизм, несомненно, более грандиозное, захватывающее, «ударное» явление, чем фашизм. Во–первых, потому, что удельный вес России несравним с удельным весом Италии, и, во–вторых, потому, что «интернационалистский национализм» советов бьёт в самое сердце веку (национальные движения, «самоопределение народов»), в то время как старомодная великодержавность фашизма своими методами уже заметно отстает от него. Правда, фашизм трезвее и плодотворнее в области национально–экономической; но опять–таки нужно и здесь оценивать явления в их динамике, в их целокупности.

«Национализация Октября» протекает своими, русскими путями. На русской почве «фашизм» был бы ныне карикатурой, дурной реакцией, немощью. Каждому свое.

Из письма друга, спеца-экономиста:

*«Современность, которая, по мнению правящих лидеров, протекает под знаком ленинизма, на мой взгляд, так же напоминает последний, как висящие у нас в музеях маски Ленина – его живое лицо. Черты как будто те же, те же лозунги, приемы и надежды. Но исчезла самая характерная особенность ленинского духа – его динамичность. Нэп в его слишком застывших формах начинает давить на возрастающие хозяйственные силы страны, как тугая повязка, которую забыли снять с зажившей раны».*

Так ли это? Если так, то формула «неонэп», очевидно, имеет достаточно оснований быть выдвинутой и защищаемой. Но все-таки не следует ещё разочаровываться насчет «динамичности» и поддаваться психологически естественной «нетерпеливости» современников. Медленно зреют русские груши. Медлительна историческая походка нашей матушки – Руси...

(После статьи: «Кризис ВКП»)

Если угодно, «смена вех» была «белым Брестом». Или, пожалуй, ещё лучше – «белым нэпом». Наличие встречного «советского нэпа» обеспечило довольно прочное сосуществование обеих моментов в нынешней русской жизни. И там, и здесь – была «тактика». Но для политики «тактика» есть нечто содержательное, существенное, «принципиальное». «Эволюция тактики» в известном смысле есть неизбежно «преображение всего облика». Нельзя при этом отрицать, что «белые» элементы, как формально побеждённые, подверглись эволюции в большей степени, нежели красные.

...А наши «непримиримые» всё ещё не вышли из своего «периода военного коммунизма»!..

Верхи белой эмиграции, «неукротимые в своей непримиримости», до сих пор словно не понимают, не чувствуют **основного** в советской действительности: «перемены личного состава» в государстве. Они судят обо всём невольно старыми масштабами. Конечно, оставшиеся «внутренние эмигранты» дают им обывательский материал, утверждающий их в их ошибках.

«Новые люди» чувствуют жизнь в корне иначе; и это — главное. Я вовсе не говорю, что новые люди — «окоммунизованы» в официальном смысле. Отнюдь нет. Думается, старая коммунистическая гвардия тоже не может не видеть в них, в некотором отношении, «иноприродной» стихии. Они сделаны совсем из иного, не дореволюционного теста, иная у них «социальная судьба». А ведь будущее — за ними.

*Das alte stürzt, es ändert sich die Zeit.  
Und neues Leben steigt aus den Ruinen...<sup>1</sup>*

Эмигрантам кажется, что приезжие из СССР выглядят «рабами». Но это и есть плод перерождённой психологии у «старшего поколения». Младшее не носит «зрака раба», но и его уху мало говорит эмигрантский «голос свободы», и его сердце закрыто для многих ценностей недавнего прошлого. *«Люди устали от свободы, — пишет на другом берегу один из людей нового времени. — Для взволнованной и суровой молодёжи, вступающей в жизнь на утренних сумерках новой истории, есть другие слова, вызывающие обаяние гораздо более величественное. Эти слова: **порядок, иерархия, дисциплина**».*

---

<sup>1</sup> «Проходит старое, меняется время и новая жизнь встаёт из развалин» (неточная цитата из Шиллера) (Прим. ред.)

С недавнего времени «объединённая» группа упрямых эмигрантов – Мельгунов, Карташёв, Рысс, Бурцев и другие – издаёт «для СССР» активно противосоветский журнал «Борьба за Россию». Там пишутся очень пламенные, подчас весьма литературные статьи. Но я уверен, что они глубоко чужды, далеки, **недействительны** для восприятия тех «новых людей», которым они предназначены, – новых людей, которые созрели в революцию (до 30 лет в настоящее время). Их сознание требует каких-то иных категорий и подходов. Их не прошибёшь, а только раздражишь нашей старой интеллигентской моралью, нашими протестами, нашей слезой. Я это очень остро чувствовал во время своих двух поездок в Россию (в Москву и во Владивосток).

Красочную автобиографическую характеристику этого поколения «переходников» находим у советского поэта Сельвинского:

*Мы, когда монархии (помните?) бабахали,  
Только-только подрастали среди всяких «но»,  
И нервы наши без жиров и без сахара  
Луцились сухоткой, обнажаясь, как нож.  
Мы не знали отечества, как у Чарской в книжках –  
Маленькие лобики морщили в чело  
И шли по школам в заплатанных штанишках,  
Хромая от рубцов перештопанных чулок.  
Так, по училищам, наливаясь желчью,  
С траурными тенями в каждом ребре,  
Плотно перло племя наших полчищ  
Глухими голосами, будто волчий брех...*

Напрасно эмиграция пытается монополизировать Пушкина: живи сейчас Пушкин, он был бы **не с нею**. Немыслимо даже представить себе Пушкина эмигрантом. Он был слишком гармоничен, чтобы не включить в себя революции, и слишком национален, чтобы отказаться от отечества. Не стал бы он – солнечный «фактопоклонник», лебедь Аполлона – злиться с бегунами и хныкать на судьбу за родным рубежом.

Вспоминается его письмо Чаадаеву в 1836 году:

— ...Я далеко не всем восторгаюсь, что вижу вокруг себя. Как писатель, я раздражён, как человек с предрассудками, я оскорблён, но клянусь Вам честью, что ни за что на свете я не захотел бы переменить отечество, ни иметь другой истории, как историю наших предков, — такую, как нам Бог её послал.

Шульгин, перейдя границу, всё искал «печать страдания» на русских лицах, — и не нашел. Потом он убедился, что Россия, вопреки его ожиданию, жива и набирается сил: «я ожидал увидеть вымирающий русский народ, а увидел несомненное его воскресение». В некоторых местах его книги («Три столицы») чувствуются даже намеки на зарождающееся понимание **основного**: наличия нового человеческого материала, новой жизни, **новой психологии**. Но только намеки: ибо, впадая в размышления, он сейчас же, роковым образом, усаживается снова на своих привычных «коньков». И не видишь связи между его наблюдениями и его надеждами...

*«Толстой был гениален, но не умён. А при всякой гениальности ум все-таки «не мешает»»* (В.В. Розанов, «Опавшие листья»).

Вспомнилось это по-розановски дерзкое, но в каком-то смысле и проникновенное замечание — за чтением «публицистических» вещей Бунина. Вот уж о ком действительно можно сказать: **талантлив, но не умён**. И если гений способен заставить забыть об уме, «не достаивая быть умным», — то талант для этого уже недостаточен.

В морально-философской «публицистике» Толстого первым делом ощущаешь всё же присутствие его гения. В публицистике Бунина — только отсутствие ума.

«Всякая власть объективно лучше, чем большевики». Что за безответственная, легкомысленная формула! Ну, а власть, воскрешающая удельно-вечевой период русской истории?..

Отпадение Украины, Кавказа, Сибири, обрывки большевизма там и здесь, кой–где реставрация «Февраля», самолюбование черновщины, жесты керенщины, кой–где «правая стенка» Маркова, офицерские шомпола, помещичьи реестры, пытки страхом и прочими вещами, «миллиард эмигрантов», радостное оживление иностранцев – и прочая, и прочая, и прочая...

Лучше? Веселее?

«Но этого не может быть. Этого не будет».

Это уже другой вопрос. Конечно, не будет, поскольку не будет новой революции. Но, значит, не «всякая власть объективно лучше»? Значит, может быть и хуже?

«Но это лишь на короткое переходное время, а потом всё образуется».

Опять: что за детская резвость, что за мотыльковая лёгкость мысли? Всё равно, что пресловутые «две недели» большевизма... Почему, как, чем и кем образуется? Почему, наоборот, не развалится окончательно?

*«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти», – писал некогда мудрый царь Соломон (Притчи, 14).*

Никак не могут излечиться от старой страсти к «великим потрясениям», к «прямым путям» политической хирургии! И кричат о борьбе вслепую, возводят борьбу в фетиш. Какая безотрадная, удручающая картина!.. И неужели 20 год ничему не научил!

Перефразируя старые слова, можно сказать:

*«Контрреволюцию делали плохо. Но не в этом суть дела. Она не в том, как делали контрреволюцию, а в том, что её вообще **делали**».*

Это не только вывод из прошлого, но и урок для будущего.

Сейчас, мне кажется, меньше всего годны акафисты «героической воле» (нынешний лейтмотив писаний П.Б. Струве). Пользуясь известным противоположением старых «Вех», можно сказать, что «подвижничество» теперь нужнее и умнее «героизма». Кутлер был «подвижником». Шумливые «герои»

эмиграции – порождение не «Вех», а разоблаченной ими старой интеллигенции.

Отсюда – и душная атмосфера в зарубежных убежищах. Нетерпимость, узость, какая-то дешёвая, подпольная подозрительность, сектантство, демагогия. В этом отношении поучительно читать того же Струве: до чего неприятно-претенциозен, груб, самодоволен стал зачастую даже самый **стиль** его политических статей! Поразительно и грустно наблюдать, как этот человек с его огромной культурностью, умом, исключительным литературным чутьём и прежде столь **благородно-недогматическим** складом мышления, сам того не замечая, становится порою просто **безвкусен** в своей эмигрантской публицистике!..

П. Н. Милюков гораздо выдержанней, степеннее, академичней, холоднее. Он никогда не заменит ругательствами доказательства. Он часто неподражаем в своих мастерских анализах прошлого, нередко убедителен в своей критике настоящего. Но в отношении будущего, когда нужна «интуиция», он был всегда менее удачен и удачлив. Бесспорно, на фоне преобладающих эмигрантских настроений он выделяется авторитетным и достойным контрастом. Но и его основная ориентация – стародемократическая, радикальная – порочна и недействительна в корне. Она **не звучит** в русской атмосфере. И это даже не «пропавшая грамота», ибо в России её, в сущности, никогда и не теряли. Это – душа, обречённая остаться нерожденной...

Прислушайтесь к шумящей сейчас в Парижах и Прагах эмигрантской травле «евразийцев». Точь-в-точь по стопам старой интеллигенции: «политический монодеизм». Судят по этикетке: «непримиримость или соглашательство?» И когда не получают односложного ответа на этот простой, мелкотрав-



чатый, кавалерийский вопрос, – открывают пальбу из всех орудий: «переливчатые идеи!», «универсальный магазин!», «ни Богу свечка, ни чёрту кочерга!»...

Евразийство, насколько можно судить издали, – наиболее живое, идейно свежее течение эмиграции. Оно многое чувствует, многое улавливает в современности. Оно как-то прикосновенно к её «ритму». Но и оно, однако, окунаясь в политику, не избегло общеэмигрантской доли, когда вдруг вздумало мечтать о роли «идейного штаба» для формирующегося «правлящего слоя» СССР (ср. евразийский катехизис «Евразийство»). Не могут люди не словесно, а подлинно и до конца осмыслить, что «смена» со всеми своими «штабами» формируется «там», созревает непосредственно в революции, вскармливается и вспаивается революцией. И на ней – прямой ответ революционного пожара и, следовательно, революционных идей. Нельзя ободрять себя примером дореволюционной эмиграции, из женевских мансард перекочевавшей разом в Кремль: ибо новой великой революции не может быть и не будет.

Будет много мимикрии. Будет много оппортунизма. Будет много тайных помесей, примесей, амальгам. Будет непременно не только революционная фраза, но и революционная **природа**. Лишь в ограниченном, условном смысле «смена отцов» может стать «сменой вех». Будет идеология, преемственно вытекающая из «ленинизма», пропитанная им, гордая им. Целый большой период **переваренной революции**.

Однако и переваренная революция вовне, перед лицом мира, будет ещё долгое время реально и активно революционна. Французская революция вовне не завершилась до 1814 года, т.е. гремела четверть века. А опыт показал, что русские сроки ещё протяжённее. Да и размах русской революции шире, круче, субъективно дерзновеннее французского:

*Мир раскололся на две половины:  
Они и мы. Мы юны, скудны, — но  
В века скользим с могуществом лавины  
И шар земной сплотить нам суждено!*  
**(В. Брюсов)**

Итак, да здравствует русская революция!

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Неизвестная статья Н.В.Устрялова: П.Сурмин. В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) (1917)

#### I.

В начале войны и врагов и друзей согласия объединяло, как это ни странно, одно словесное знамя. Я не буду парадоксальным, если выражу его словами, такими знакомыми читателю: «Россия и её союзники борются за цивилизацию», «Германия и её союзники борются за цивилизацию».

Тогда казалось, что именно в этом смысл великой войны. В статьях газет и журналов, в речах ораторов, в парламентах и на площадях, в окопах и лазаретах именно так понималась и толковалась правда этой войны.

В самом деле, казалось тогда, Россия вступилась за маленькую Сербию, которую великодержавная Австрия хотела предать огню и мечу; Франция поддержала свою союзницу, и Британия лишь тогда вмешалась в войну, когда «тяжёлый германский сапог уже топтал цветущие поля Бельгии». Война ведётся державами во имя справедливости и права: они защитницы «униженных и оскорблённых». Напротив, Германия — палач Европы, жаждущий стальными цепями сковать её демократию. Она хотела войны, её вызвала, для неё ми-

литари́зм всегда был родной стихией. Надо преодолеть мощь её штыков, — и победа над германским милитаризмом будет означать зарю новой жизни для народов Европы.

Таково было евангелие сторонников согласия. В него верили, ему присягнули не за страх, а за совесть миллионы людей. Оно объединило, видимо, все партии — и у нас, и во Франции, и в Англии.

Но это евангелие разделяли и немцы! Они заменяли лишь названия стран.

«Германия и её союзники борются за культуру! Они ведут войну оборонительную, спасают себя от нашествия варварской России. Германские социалисты должны идти на фронт, иначе казаки будут в Берлине! О, если бы Франция не вступилась за Россию, — против Франции никогда не выступила бы германская социал-демократия!» Всё остальное — окровавленная Бельгия, Лувэн и Реймс — лишь трагическая необходимость, военная беда, но не вина, случайное, хотя и тяжёлое последствие обороны германской культуры. И Англия, чьё вмешательство осложнило эту оборону, казалась немцам преступившей заветы самого Бога, — и Он должен её покарать!

Шли дни, тяжёлые и трудные дни войны, но, чудилось, единый порыв воюющих не ослабевает, внутренний мир не нарушается. Националисты могли праздновать победу, капиталисты торжествовать; красная опасность исчезла, пролетарии каждой страны и буквально и переносно шли в ногу с буржуазией своей родины и стреляли в пролетариев других стран.

Кризис социализма наступил: интернационал оказался фиктивной величиной. В Германии вначале лишь один Либкнехт был его неизменно преданным слугой и бодро нёс крест идейного одиночества и тюремного заключения. Такой же одиночкой был и Фридрих Адлер, который, получив винтовку, стрелял по тому врагу, что оказался ближе всего, — по австрийскому премьеру Штюргку. Лишь немногие социалисты признали, что, принявши войну, *«социал-демократия явила миру зрелище политического банкротства, свернув своё знамя и рабски последовав за знаменем милитаризма».*

В странах согласия также одиноки и малочисленны были протестанты.

Потом наступил перелом: ещё казались крепки внешние союзы – но союз внутренний дал трещину во всех воюющих странах. Вначале это был глухой подземный процесс. Его ускорила и усложнила великая русская революция.

Когда мы, как в сказке, в один прекрасный день проснулись гражданами «самой свободной республики в мире», то это пробуждение, лишь постепенно, но вызвало в нас переоценку ценностей. Эта переоценка отразилась и на нашей внешней политике.

При Николае II в России война далеко не всеми была единодушно принята. Русский социализм, например, оказался чуть ли не самым последовательным: крайняя левая в Государственной Думе – трудовики и социал-демократы – неизменно голосовали против военных кредитов.

Революция ещё определённое, ещё резче поставила перед русской демократией вопрос о смысле войны. На исторической сцене появился новый враг милитаризма: русская демократия. И сразу поблекло евангелие империалистов всех стран и сразу ярче наметилась внутри каждой воюющей страны борьба двух сил: империализма и демократии. Стали отчетливы их стремления, и первой задачей для народов Европы оказалась переоценка войны – и отказ от неё!

## *II.*

Сложна и запутана политическая жизнь в наши дни; она – клад для будущих историков. В ней они станут находить богатый материал для самых сложных построений. Нам, современникам, трудно быть бесстрастными аналитиками, трудно свободно разбираться в сложной ткани событий. И всё-таки «объяснение» войны и нам нужно, – нужнее, чем потомкам.

Когда вы спросите у среднего русского социалиста: кому нужна война, каков её смысл? – то услышите такие простые объяснения: она вызвана волей господствующих классов, она нужна финансовому капиталу Германии и Англии. Во

имя экономического господства в мире борются две картели держав: австро–германский союз и кольцо согласия. Точно так же и публицист, и политик, и экономист в поисках причин великой войны находят их в характере современного империализма.

Как и всякое понятие, охватывающее историческую жизнь, империализм обозначает очень сложную группу явлений. Как и всякое широкое историческое понятие, он многозначен, не поддаётся точному определению. Здесь нам придётся коснуться лишь некоторых его сторон, остановиться на его политическом и экономическом смысле.

В политической мысли мы можем наметить две оценки его: положительную и отрицательную. Положительную оценку мы находим в следующем, например, утверждении: империализм – это политическая система, задача которой – распространение данной государственной власти на другие народы и племена путём завоевания и культурного ассимилирования. При этом народ–империалист обладает значительно высшей культурой и большей политической силой, чем покоряемая нация. Империализм не применим к равным по культуре народам.

В этом определении – таком обычном – заключается некоторое оправдание империализма: он – действие государства, обладающего высшей культурой, и ей да подчинится культура низшая! С этой точки зрения признак культурного превосходства характерен для империалистического государства.

Если принять это определение, то придётся признать, что империализм совершает в мире очень тяжёлую, но полезную миссию: ведь он заключается в подчинении народу–гению малокультурных племён.

Но последним не нужен заёмный, насильно навязанный свет чужой культуры: они могут загореться своим собственным светом.

Оправдывающие империализм часто упускают из виду, что история есть движение и творчество, и что народ может часто обладать скрытыми духовными силами. И для того, чтобы они проявились, вовсе не нужен меч Вильгельма и со-

трудничество орудий Круппа. Пушки культуры не рождают, они её убивают.

И всё-таки империализм как культ великого царства пока — это идея-сила, правящая толпой, массами, даже народами. Она может изменить лицо земли, может толкать на подвиг, на жертвы, на смерть: во имя Великого Царства сладостно жить, радостно умереть.

Тяга к такому царству теперь словно стихийно овладела людьми, и особенно Германией. Немцы и воюют оттого, что мало им места под солнцем. Германии необходимо, — утверждают они, — преобразиться в великое и потому живучее средне-европейское государство: она должна раскинуться от стальных вод Северного моря до солнечных равнин Месопотамии. Пусть это величие, если оно станет историческим фактом, может железными цепями сковать народы, колючей проволокой их опутать. Это не пугает властителей дум современной Германии.

Не без поэзии изображает один из них грядущие цепи траншей вокруг великой «Средней Европы». После этой войны не наступит, конечно, вечный мир. И траншея неизбежно станет основной формой защиты отечества. Цепи окопов окружают новое Великое Царство. «Вокруг него будут воздвигнуты римские валы и китайские стены из железа и колючей проволоки». Такие железные границы и должны отделять одно государство от другого. Если под ненужными пирамидами полегли многие тысячи рабов, то за Великое Царство можно отдать целые гекатомбы жертв. Но жертвы эти оправданы: исторические судьбы требуют теперь создания лишь великих царств!

Так до крайности доводят немцы ту идею, что ещё недавно, как Божий дух, носилась над народами, дышала, где хотела: она звучала и в национальных гимнах, и в миллионах патриотических стихотворений, и в бесчисленных статьях публицистов.

Но царство должно быть не извне, а «изнутри».

Римские валы, китайские стены, взоры ненависти великодержавных легионов — всё это лишь трагическая необходимость исторического сегодня.

Не физически, но духовно может притягивать великий народ народы малые. В будущем тяга к *великой державе* должна смениться тягой к *великой культуре*. Духовное первородство, народная гениальность — вот что определяет право на великую роль.

Земные царства, даже огромные, падали одно за другим, но царство культуры всё росло да росло. А в нём малые царства сыграли не меньшую роль, чем царства великие. Всякий народ, всякое государство — большое или малое, — всё равно может порой совершенно неожиданно культурно расцвести. И не столько пространство, территория, политическая роль, — сколько творческие достижения будут мерой его величия!

Империализм, как насилие над малыми или слабыми народами, оправдан быть не может. Интересам культуры, как свободного творчества народов, гораздо более отвечает демократический принцип — о праве всякого народа на самоопределение.

### III.

Историческое развитие движется от ремесленной мозаики многих мелких государств к немногим великим мировым организациям, — к государствам-картелям. Таков экономический смысл империализма.

Деление наций на баловней и пасынков судьбы — неизбежно. Есть не только классы, есть «государства-буржуа» и «государства-пролетарии». Первые — это царства империалистов, государства богатые, с высоко развитым промышленным и финансовым капитализмом. Но капитал в наши дни чувствует себя слишком тесно в государственных границах. Если он развивается так стремительно и быстро, как германский, то внутренний рынок очень скоро оказывается насыщенным и, следовательно, невыгодным. Оказывается необходимым экспорт, нужна бывает прочная связь с другими странами—



покупателями. Связь эта не всегда бывает свободной, наоборот, часто принудительной. Эта принудительность выражается в так называемой колониальной политике; государство империалистическое силой присоединяет страны, бедные промышленностью, но богатые произведениями природы. Страны «аграрные» поэтому часто скованы принудительным союзом с «промышленными». Судьба Индии и Египта, Африки и Китая – всё это однообразные иллюстрации к этому закону. Кроме этого прямого подчинения империалистическая держава подчиняет себе отсталые страны и косвенно. Туда вывозят финансовый капитал: снабжают займами южно-американские республики, Турцию и т.п., устраивают железные дороги и т.д. Как известно, Англия так поместила более 30 миллиардов рублей, Германия – 15 миллиардов.

Таким образом буржуазия «великих» держав собирает мёд – прибавочную стоимость – воистину с пролетариев всех стран. Капитал интернационален; для него *ubi bene, ibi patria*.

Внутри каждой страны политическая власть буржуазии и вообще господствующих классов, кроме законов экономического развития, обеспечивается вооружённой силой – армией.

К этой же силе ей приходится прибегать и в области колониальной политики: постоянно отправляются экспедиции в Африку, Азию; и покорённая колония – новое место сбыта для товаров, лишнее усиление могущества капиталистов. Поэтому есть несомненно большая доля истины в утверждении: «современная война – капиталистическое предприятие!» Капитализм и милитаризм – это вечные спутники, неразлучные друзья. Недаром апологеты буржуазии так упорно, с таким энтузиазмом защищают войну.

Пафос современного милитаризма хорошо может быть выражен словами прусского монарха XVIII в.: *«Все жители страны родились для ношения оружия и обязаны подчиняться команде»*... капиталистов. Вот чего в наши дни добивалась, и отчасти уже добилась буржуазия великих держав. Но одной «командой» капиталистов не объяснить повсеместного «приятя» войны. У неё, очевидно, не одни экономические корни, но и корни психологические. В самом деле, оправдание

войны никогда не было так обычно, как теперь. До русской революции она повсюду встречала пассивное непротивление и активное сочувствие. Этот факт можно различно оценивать. Гневно, презрительно отнесётся к нему социалист, но положительно примет его империалист.

Антитеза «цезарь и раб» потеряла свою остроту: раб в Европе стал гражданином и... всё-таки принял войну. Очевидно, что «гражданин» идёт не только по воле власти, а часто во имя свободного «хочу»; идёт потому, что отечество в опасности, идёт потому, что хочет усилить его мощь. При этом в его сознании в наше время нет даже веры в вечный Рим, нет порой никаких религиозных корней. Воины Корана, когда они шли на войну, могли свободно принять смерть: она лишь призрак, иллюзия, путь к совершенной жизни. Такого сознания нет у современного германца или француза: небо глухо к его гибели, а отечество лишь похоронит его труп под деревянным крестом или каской.

Отношение народов к войне теперь, когда потускнел её религиозный венчик, указывает на отсутствие у многих чувства абсолютной ценности жизни. Жизнь можно прекратить даже во имя временных целей: «величия» страны, что длится века – не более. Далее, смерть не самое страшное для человека. Жизнь он жертвует по имя целого – «отечества» – чаще, чем во имя своё, во имя «личной радости» или счастья. «Государству», «нации», «народу» кровавую жертву приносили и приносят миллионы!

Это факт, для наших дней особенно характерный. Надо смело признать: империализм, облечённый в маску патриотизма, у демократии имел больший успех, чем социализм! Лозунг последнего: у пролетария одно истинное отечество это интернационал, – вызывал лишь словесное сочувствие. Лозунг «отечество в опасности», напротив, собирал миллионы добровольцев-воинов. Последствия этого увлечения, этого опьянения демократии империализмом известны: демократия приняла крест войны и в первые годы 1914 и 1915 – его бодро несла «рассудку вопреки».

Если бы «вольный сын эфира» пролетал над полями битв, улыбнулся бы он улыбкой мистической иронии: «игрушечного дела людишки» возьмётся на полях битв, убивают друг друга, умирают муравьиной смертью. Цели, во имя которых умирают эти «бабочки–подёнки», так эфемерны, так призрачны. Ложно звучат их лозунги: Великая Германия, Великая Англия, Великая Россия. Мгновенные исторические поросли выдаются ими за вечные; карликовые цели – за гигантские. «Войны величавые волны» – лишь случайные всплески в океане вечности, люди – марионетки, которыми правят карлы–великаны, история – трагический водевиль!

Чашу смерти выпили миллионы солдат. Нужна ли была эта смерть для демократии, для культуры? Нет! О, конечно, в сознании иного солдата мелькала мысль: «умираю за отечество – во имя его спасения». Но часто это было объективно неверно. Пока политическая власть находится в руках господствующих классов, дипломатия – аристократична, её пути и цели неведомы народным массам; последние оказываются лишь марионетками в руках режиссёров войны. Не ими объявляется война: им о ней сообщается лишь тогда, когда она стала уже трагической необходимостью. А раз пожар возник, то надо бороться с огнём, чтобы разбушевавшаяся стихия всего не уничтожила. Вильгельм II объявил войну, и демократия Германии очутилась перед угрозой: «казаки будут в Берлине» – и приняла войну; узел был завязан, война втянула в себя ряд держав, ей покорно подчинившихся. И любопытно: ни одна страна не хотела признать себя виновницей войны: виновных нет – все страны правы! Трагедия же была в том, что народные массы, у которых есть ещё право обсуждать налоги, законы и т.д., лишены права решающего голоса, когда их миллионами обрекают на заклятие короли, императоры, юнкера, финансисты. Вопросы войны и мира – смерти или жизни для многих миллионов людей – должны быть в их же руках. «Правом на жизнь» могут распоряжаться лишь те, кто её отдаёт родине. Никогда ещё не была так оправдана идея народной милиции и референдума, как теперь. Армия не должна быть в руках профессионалов войны, её кадры не

должны получать казарменного воспитания, цель которого — лишать солдата всякой инициативы, обезволить и обезволенного легко принудить выступить на битву.

Несомненно, что после войны империализм и его вечный спутник — милитаризм пойдут на убыль. Здесь поневоле вспомнишь диалектику истории. Никакие воззвания, никакие революции не смогли нанести империализму тот удар, который нанесён ему им же вызванной войной. В самом деле, логика истории здесь совершила своеобразное *reduction ad absurdum*.

Война несомненно была затеяна капиталистами и юнкерами Германии во имя мирового господства и тех выгод, которые она должна была принести. Англия вступила в войну потому, что она хотела сохранить уже достигнутую ею роль баловня исторической судьбы: её буржуазия извлекает прибыль с полей, лесов и фабрик  $\frac{1}{4}$  части земного шара. Молодой капитализм Германии боролся со старинным — английским. В этой борьбе за власть воюющие страны пришли к парадоксальному положению. Расширение власти финансового капитала, возможность свободной эксплуатации земледельческой и слабой России увлекала Германию. И на войну, которая для Германии грозит кончиться без всяких аннексий и контрибуций, ей приходится расходовать сумму втрое большую, чем весь германский капитал за границей: за возможное увеличение этих 30 миллиардов ей пришлось потратить сто миллиардов. В погоне за усилением мощи отечества пришлось его обессилить — умертвить или искалечить чуть ли не каждого пятого взрослого немца.

России, защитнице Сербии, пришлось принести в жертву во имя этой защиты втрое больше взрослых людей, чем их всего заключала защищаемая Сербия.

Австрия, во имя небольших выгод, от пути к Салоникам, разорила себя на десятки лет.

В этой войне средства неизменно оказываются дороже целей: России, говорят наши империалисты, нужны Константинополь и проливы. Но они нами ещё не заняты. Значит — нужно продолжать войну, т.е. уложить ещё на полях битв миллиона два солдат, потратить ещё 10–15 миллиардов из

средств нищей России и достигнуть возможности устроить новый Порт–Артур и, пожалуй, все выгоды от этого нового морского пути затратить на его оборону.

Франция теперь на третий год войны неустанно требует Эльзас–Лотарингию. Но, чтобы заставить Германию уступить силе оружия, надо воюющим странам принести ещё жертву Молоху войны, равную хотя бы населению всего Эльзаса.

Англия требует восстановления Бельгии за счёт Германии, — для этого надо продолжать ещё, полгода, скажем, и потратить на неё средства, достаточные для того, чтобы воскресить десять Бельгий.

Так империализм съедает сам себя. И никогда ещё так настоятельно, так определённо перед демократией Европы не стояла задача:

*Во имя культуры, во имя борьбы за цивилизацию демократия должна сбросить иго империализма и милитаризма. В имя самосохранения она должна это сделать: нельзя, чтобы правительства расточали человеческие жизни так же щедро, как и кредитные бумажки.*

В великой и страшной игре жизнью народов европейская демократия может проиграть всё!

Не должны быть народы колодниками войны. А между тем для руководящих классов так характерно презрение к народным массам. Во время войны и в Англии, и в Германии, и во Франции правительства успели отнять у своих народов чуть ли не все гражданские свободы: свободу слова, печати, стачек; сумели понизить заработную плату; не раз стреляли в голодающие толпы. Людям предоставили лишь свободу умирать на полях битв. Германия, например, ввела почти крепостное право для трудового народа.

Когда идеологи милитаризма утверждают: «без войны мир погрузился бы в объятия материализма», «война будет существовать до конца истории», и когда генералам и профессорам вторят служители церкви: «наше тщательное изучение истории и Библии привело к убеждению, что война между народами есть мировая необходимость», — то, конечно, от этой «мировой необходимости» страдают, прежде всего, трудя-

щиеся классы. Они несут на себе всю тяжесть милитаризма, а блага его достаются власть имущим. В погоне за прибылью военно-промышленные фирмы ведут преступную политическую агитацию, возбуждают одну сторону за другой; эпоха организованного убийства – война – для них эпоха больших прибылей. Общеизвестна история с Круппом, заключившим сердечное соглашение с военными чиновниками; посредством подкупа, фирма друга императора получала копии с секретных документов и пользовалась ими в своих целях. Но точно так же, по признанию демократических кругов Англии, британская нация находится в когтях военного треста, который столь же силен и *антипатриотичен*, как германский.

Да, «эта война – не наша», может смело сказать демократия. Её члены – люди труда, они производят и творят, а солдаты – разрушают. Ни одна война не уничтожала так упорно и систематически, как эта «великая» война.

России она обойдётся в половину её национального и без того недостаточного богатства. В меньшей степени обнищают Германия, Англия и Франция, – но и им придётся утроить налоги. И народ, расплатившийся за войну миллионами своих сынов, будет ещё долго платить недоеданием, почти голодом, усиленным обложением, ослабленным темпом культурного творчества.

И в результате демократия должна, обязана будет признать: нет, эта война – не наша!

Английские рабочие очень решительно приняли эту войну – и свою упорную волю и свою трудоспособность отдали на усиление обороны страны. Наблюдатели, отмечающие рост военной промышленности, с удивлением указывают, как в Англии в четыре месяца среди пустыря вдруг вырастает город-завод, с сотнями построек, со многими десятками тысяч рабочих. За ним растёт ещё завод... ещё... и ещё... И всюду горы снарядов... горы трупов через несколько дней. Всё это производство орудий смерти, так гигантски растущее, не может быть оправдано одними экономическими или политическими приобретениями. Правда, удачная война может – прямо или косвенно, как война 1871 года, напри-

мер, — несколько улучшить благосостояние демократии. Но неужели в её глазах — лишний клочок земли, рост комфорта может оправдать, осмыслить миллионы жертв: трупов, калек, безумных!

Люди должны ведь не только принимать факты истории, но и осмысливать их. Эту попытку делает один из вождей войны — Ллойд-Джордж. В словах английского министра выражается желание, которое разделит с ним и всё культурное человечество. Не так давно через газетный рупор он сказал всему миру: «На театре военных действий царит неопишущий ужас. Мне казалось, — я у преддверия ада: миллионы человеческих жизней стремятся в это пекло — и либо полягут костями, либо вернутся калеками. Да будет эта война — войной последней: подобные картины никогда больше не должны повторяться на земле!»

Только эта цель и может объяснить дух британской армии: её солдаты не рыцари меча, но рыцари мира. Несомненно, что именно это убеждение собрало под британские знамёна пять миллионов добровольцев. Они тем более могли поверить в эту цель войны с Германией, что ещё в 1906 году Англия обращалась к Германии с предложением остановить вооружения — на что германское правительство ответило в том же году новым морским законопроектом... Очень ясно и отчётливо мотивы таких предложений Англии изложены были уже в 1913 году в речи министра Черчилля:

*«Почему бы нам не объявить в деле судостроения праздника на год... приостановить постройку судов. Это предложение не вносит никакого изменения в относительную мощь флотов».*

Конечно, Германия не могла принять этого предложения: голодный империализм её никак не мог найти пути к примирению с сытым империализмом Англии. Вот почему и Ллойд-Джордж заблуждается, когда верить в сокрушение одним милитаризмом, английским, другого — германского, хотя бы последний, по меткому, но теперь Шейдеманом забытому выражению, является agent provocateur мировых

вооружений. Милитаризм не есть национальное свойство, но свойство известного общественного строя.

В отношениях между государствами господствует *анархия*, подобно тому, как она господствует в отношениях отдельных предприятий: буржуазное государство создаёт и организует внутри, но разрушает вовне. Его заповедь: сохраняя свой народ, уничтожай чужой. Эта международная анархия выражается в борьбе за обладание рынками, как и конкуренция отдельных предприятий – в борьбе за данный рынок. Частные предприятия, конкурируя друг с другом, развивают своё производство без ограничения и согласования с другими предприятиями, без учёта потребностей рынка. Оттого и возникают мирные (*так в тексте – М.К.*) кризисы – перепроизводство товаров.

Конкуренция национальных капиталов побуждает государство неограниченно развивать свою вооружённую силу – милитаризм, что неизбежно должно вести к мировому военному кризису.

Но если так органична связь милитаризма с буржуазным строем, то он надломлен будет тогда, когда приблизится последний день капитализма. И надломают его не добровольцы, одетые в цвет хаки и воюющие под знаменем Англии, но те воины, для которых красное знамя и лозунг «мир и братство народов» действительно дороже всего.

Как характерно, что все воюющие правительства так неохотно и так недоброжелательно ответили на призыв петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Последний в своём воззвании провозгласил как будто приемлемую для «антимилитариста» Ллойд–Джорджа формулу мира: мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов. И, однако, так неизбежно было недоброжелательство союзных правительств. Ведь эта формула прозвучала странной иронией над политикой всех империалистов: последние ждали удачной войны, – войны до победы, – но «мир в ничью» казался им особенно опасным. Война тянулась годы и ничего не дала, вернее – не даст: никаких «присоединений», никаких возмещений убытков. Правительства потратили многие де-



сятки миллиардов народных денег, братские могилы на полях битв тянутся иногда на вёрсты, и весь этот ужас, всё это человекоистребление оказываются вдруг вовсе не нужными. Принять такой мир империалистам — это значит развенчать войну, выдать себе *testimonium paupertatis*. И что ответят тогда правительства, как оправдают ужасную, но бесплодную войну? Характерно также, что присоединения Эльзас–Лотарингии требует теперь и значительная часть демократической Франции, — а до войны идею реванша разделяли чуть ли не один Поль Дерулэд и его немногие сторонники. Английские «рыцари мира», не присоединяясь пока к русской демократии, требуют от Германии восстановления Бельгии, и поэтому хотят продолжать войну. Между тем лишь недельный расход воюющих держав уже смог бы возродить Бельгию.

В каких-то тенетах бьётся пока демократия, — от них ей надо освободиться. И пролетариат возлагает свои надежды на возрождение нового, на этот раз мощного Интернационала.

Прежний — обманул ожидания. В 1912 году Базельский конгресс социалистических партий за два года до войны оптимистически утверждал: «Рабочий класс и его парламентское представительство во всех странах, которым угрожает война, обязаны принять все меры, чтобы предотвратить взрыв войны. Конгресс с удовлетворением отмечает полное единодушие социалистических партий всех стран в войне против войны».

Прошли немногие годы, и группа Либкнехта в Германии должна была установить следующие пессимистические положения:

1. Мировая война уничтожила результаты сорокалетней работы социалистических партий Европы, уничтожила их престиж.

2. Она разбила рабочий интернационал, бросила одних пролетариев против других, приковала надежды народных масс к колеснице империализма.

3. Такая политическая позиция официальных партийных представителей воюющих стран и в первую голову Германии, партия которой стояла до сих пор во главе Интернационала,

является изменой основным положениям международного социализма.

Но если мировая война как будто уничтожила результаты многолетней работы социалистических партий Европы, то она же её возрождает, делает небывало напряжённой и мощной. Социалисты России уже повели классовую борьбу против империализма. К ним медленно, но неуклонно присоединяются социалисты Запада. Падение социализма оказалось лишь шагом к его возрождению, к его восхождению на высшую ступень. Пройден путь резолюций, и борьба с империализмом должна вступить на путь революции. Слишком долго демократия Европы бряцала своими цепями. И они привели миллионы её сынов к могилам. Смерть реально примирила и объединила пролетариев всех стран, но теперь должна их объединить жизнь. Трудящиеся должны перестать быть рабами империализма. Так надеются оптимисты социализма. Но как характерно, что раб чаще гибнет на войне, а не в восстании! И то, и другое ведь может принести ему смерть, но в бунте, восстании ему нужно в себе почувствовать владыку, а историческое воспитание не создавало этого чувства; оно и теперь слабо лишь намечается. Народовластие всё ещё правовая теория, а не политическая действительность. Нужно объявить войну войне, но она лишь тогда увенчается успехом, приведёт к победе, когда народу будет принадлежать вся полнота власти во внешней политике!

Право обрекать на смерть может принадлежать лишь тем, кто во время войны прежде и чаще всего пьёт чашу смерти до дна, т.е. трудящимся массам демократии.

Демократия должна стать властной и лишь усиление борьбы за власть против империалистов и её успех может привести к преодолению милитаризма. Будет ли велика роль русской революции в жизни всех европейских народов, на западе, на это сейчас трудно ответить, но одно несомненно: если евангелие милитаризма ярче всего исповедывалось Германией, то евангелие демократии, её заповедь — «мир и братство народов» — ярче всего проповедуется русскими социалистами.

Восторжествует ли это евангелие? Наступит после войны новая эра мира и братства народов? Трудно на это ответить. Скорее всего, что нет. Сами же социалисты связывают гибель милитаризма с гибелью всего современного общественного строя. Но пока капитализм торжествует лишь в Европе, Северной Америке, отчасти в Австралии. Остальные части света — девственная почва для его завоеваний. Если после великой войны и наступят сумерки милитаризма в нищей Европе, то Япония и Америка, например, станут странами его расцвета. Мы ещё *в начале* борьбы империализма и демократии: не скоро ещё начнётся закат империализма, не скоро народы перестанут быть колодниками войны!

## Первая формула национал–большевизма: письмо Н.В. Устрялова к П.Б. Струве (1920)

Это письмо Н.В. Устрялова к П.Б. Струве (тогда ещё начальнику Управления внешних сношений правительства Юга России при главнокомандующем Вооружёнными силами Юга России генерале П.Н. Врангеле) было прославлено самим его адресатом в его «Историко–политических заметках о современности» в газете «Руль» и журнале «Русская Мысль»<sup>1</sup> уже после падения белого Крыма, после напрасных попыток Врангеля использовать наступление Польши Ю. Пилсудского против Советской России с целью отторгнуть от неё Белоруссию и Украину, которое в самой России, напротив, вызвало подъём национального чувства и примирение многих с большевиками как защитниками национальной государственности.

Благодаря уже эмигранту Струве, это частное послание Устрялова получило известность в качестве, наверное, первой формулы национал–большевизма<sup>2</sup>, а внимание Струве, можно сказать, сделало национал–большевизм публичным фактом идейной истории. За эту известность всё ещё ученически ухватился Устрялов, составив из формулы целую доктрину. Затем за формулу ухватилась советская пропаганда, в сотрудничестве со спецслужбами сформировавшая движение вокруг сборника «Смена Вех» (июль 1921), в котором (поначалу вслепую, не понимая его природы как большевистского проекта) принял участие Устрялов. Затем в поддержку этой формулы–доктрины попытались выступить евразийцы, тщетно рассчитывая на поддержку в этом самого Струве<sup>3</sup>. Здесь письмо публикуется полностью, по рукописному оригиналу<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Руль. Берлин. 9, 16, 27 июля 1921 («По существу»); Русская Мысль. София, 1921. Кн. VI–VII.

<sup>2</sup> М. Агурский. Идеология национал–большевизма. Paris, 1980. С. 64.

<sup>3</sup> П.Н. Савицкий. О национал–большевизме (1920).

<sup>4</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.143. Лл.237–239.

*Глубокоуважаемый Петр Бернгардович!*

А. А. Стахович любезно предложил мне передать Вам письмо, и я радостью этим предложением воспользуюсь, чтобы вкратце сообщить Вам о положении на Дальнем Востоке.

Положение это весьма неважное. До Иркутска обосновались большевики, Западное Забайкалье занимает «Верхнеудинское Правительство» (большевики под демократическим забралом), претендующее на центральное руководство «дальневосточным буферным государством». Восточное Забайкалье принадлежит семёновской армии (тысяч до 20), за которую борются разные генералы, полоса отчуждения прибрана Китаем и вообще иностранцами, во Владивостоке – «коалиционное» (ныне распадающееся) правительство – от кадетов (Виноградов, Кроль) до большевиков и, наконец, Благовещенск подобен Верхнеудинску.

Это пёстрое одеяло каждый хочет выкрасить в один цвет, и естественно, что операция такая удаётся весьма посредственно. Москва отказалась от Дальнего Востока и предложила организовать ему в «буферное государство» (для Японии), но, конечно, хочет, что<бы> это образование не было ей враждебно. Япония идёт на подобную комбинацию, б<ольшевик>и не могут сговориться с эсерами, а правые круги (их центр – Харбин, а точка опоры – Семёнов и армия) мечтают о резко антибольшевистском объединении под властью диктатора (Хорват, Семёнов, Лохвицкий, Гондатти – из-за лица идут бесконечные, чисто декадентские споры) и при помощи японцев.

Шансы непримиримых противобольшевистских групп, опирающихся на иностранцев, здесь очень слабы. Слишком памятно невероятно гнусное предательство Колчака Францией (Жанен) и чехами, чтобы даже умеренные элементы могли поддерживать интервенцию. Ряд офицеров ушёл к амурским большевикам. Другие (ген. Пепеляев) сошлись с эсерами. Кроме того, Дальний Восток ещё не изжил большевизма. Польская кампания усилила большевистскую ориентацию, а вести о полной ликвидации Деникина и укрепляли ещё более.

Руководствуясь обстановкою, после бегства из красного Иркутска я занял здесь весьма одиозную для правых позицию «национал–большевизма» (использование большевизма в национальных целях. Кажется, в совр<еменной> Германии такая точка зрения тоже высказывается некоторыми). Мне представляется, что путь нашей революции мог бы привести к преодолению большевизма эволюционно и изнутри. Сейчас сборник этих моих статей печатается<sup>5</sup>, и напечатанную его часть я просил А.А. Стаховича Вам передать.

Насколько можно судить отсюда, курс, избранный Вами, встречает много возражений с национальной точки зрения. Я очень боюсь, что он превращается в идеологию эмиграции и что Вы идёте по пути наибольшего сопротивления. Получающиеся здесь номера «Общего Дела» не рассеивают этих опасений – до того элементарно там ставятся и решаются все политические проблемы, столь бесконечно сложные в настоящее время. Широкий «федерализм», Вами тактически воспринятый, может принести такие плоды, которые потом Вам не удастся преодолеть. Дружба с агрессивной Польшей, с Румынией царапает национальное чувство. Мне думается, что гражданская война (после Деникина и Колчака) – наименее удачный путь уничтожения большевизма. Нужно сказать, что до успехов Врангеля эта точка зрения здесь была распространена довольно широко. Теперь Ваши дипломатические и военные успехи создают здесь невероятный идейный разброд и сунбур, несомненно, усиливая позицию непримиримых сторонников вооружённой борьбы до конца. Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы нашли возможность как–нибудь отозваться на эти сомнения в целесообразности Вашего пути. Выступая в защиту прекращения вооружённой борьбы с большевизмом, я и мои единомышленники всё время сознавали внешнюю «еретичность» этой точки зрения, но обстановка полного разложения «контрреволюции» и величайшей одиозности «интервенции» настойчиво диктовала именно такой выход из положения. Может быть, на юге дело

---

<sup>5</sup> Н. Устрялов. В борьбе за Россию (сборник статей). Харбин, 1920. – Прим. ред.

обстоит иначе? Впрочем, может быть, ответ будет дан жизнью до того, как до Вас дойдёт это письмо...

Из Сибири идут вести о недовольстве крестьян против большевистской власти, об эсеровском движении, причем во главе этого антибольшевистского движения эсеры становятся лица, погубившие в прошлом году Колчака, разлагая его тыл и организовывая вооружённые восстания. Словом, старая песня... Большевики в ответ начинают усиливать террор.

Усиленно муссируются областнические лозунги – «свободная Сибирь», «бело-зелёное знамя» etc. В противобольшевистском лагере, по обыкновению, величайшая разногласица, взаимная травля, и прямо-таки не представляешь себе, что произойдёт, когда эта тысячеголовая гидра дорвётся до власти... Все утешают себя надеждой, что на юге – иное. Дай Бог...

Здесь сообщают, что в Казани умер Н.А. Бердяев. В Иркутске в тюрьме умер от тифа Д.В. Болдырев. Расстреляны Черв<ен>-Водали, Клафтон, С.А. Котляревский – на «каторге», за какой-то заговор. В Вост<очной> Сибири голод вследствие бестоварья и обесценения денег. В Туркестане – очень прочна больш<евистская> власть и, как говорят, усиленно готовят поход на Индию. Как бы то ни было, большевики оказались хорошими революционерами, и России не придётся сегодня стыдиться за них...

Глубоко уважающий, искренно преданный Вам Н. Устрялов.

P.S. Мой адрес: Харбин. Коммерческое училище, проф. Ник. Вас. Устрялову.

*Харбин, 15 окт<ября> <1>920 г.*

## Журнал «Смена Вех» (Париж, 1921–1922). Роспись содержания

### **№ 1. 29 октября 1921**

Передовая. 1

С.С. Лукьянов. Голод и эмиграция. 3

Н.В. Устрялов. Фрагменты. 6

Ю.В. Ключников. Международное значение России. 8

Мих.Григорьев [И.Г. Лежнев]. Русская экономическая проблема. 11

А.А. Носков. Красная армия. 14

О критике «Смены Вех». 17

*Из России:*

В. Дорошевич. Красные и белые. 20

Александр Блок. Владимир Соловьев и наши дни. 22

### **№ 2. 5 ноября 1921**

Передовая. 1

Ю. Ключников. Вашингтон и Москва. 3

С. Лукьянов. Революционное творчество культуры. 7

Вл. Львов. Русская революция и религиозная свобода. 9

А.А. Носков. Командный состав красной армии. 11

Ю. Потехин. Фатальный тупик. 15

А. Бобрищев–Пушкин. Драматический театр в России. 17

*Из России:*

М. Кузмин, Сергей Городецкий. Стихотворения (Петербург 1921 г.). 22

### **№ 3. 12 ноября 1921**

Передовая. 1

Мих.Григорьев [И.Г. Лежнев]. Денационализация промышленности. 4

А. Бобрищев–Пушкин. Мистика на службе. 7

А.А. Носков. Интервенция. 10

Н. Устрялов. Национал–большевизм. 13

Новая экономическая политика (обзор по сообщениям советских газет). 16

Из русской заграничной печати (обзор). 19

*Из России:*

В. Муйжель. Жабы. Фельетон. 22

### **№ 4. 19 ноября 1921**

Ю. Ключников. Наш ответ. 1

\*\*\* [Ф. Кудрявцев]. К годовщине Крыма. 6

Н. Устрялов. Две реакции. 8

Н. Насветевич. Швеция и Советская Россия. 12

Вл. Львов. Вероисповедные организации и новая русская государственность. 15

А.В. Бобрищев–Пушкин. Свобода, равенство и братство. 18

Студент. Русское студенчество в Праге. 20

*Из России:*



С. Членов. Новая интеллигенция. 21

**№ 5. 26 ноября 1921**

Ю. Ключников. Из переписки. 1

С. Лукьянов. Эволюция. 11

Ю. Потехин. Перед катастрофой. Письмо из Вены. 15

Х. Советская власть в борьбе за русскую Государственность (лекция Вл.Н. Львова). 19

Письмо в редакцию. 20

*Из России:*

М. Кузмин. Двойник. Стихотворение. 21

Э. Голлербах. Михаил Кузмин (портрет). Стихотворение. 21

Я. Светляков. Она ожила (Беседа с ректором академии художеств А.Е. Белогрудом). 22

Э. Голлербах. Выставка О-ва Куинджи в Петрограде. 23

**№ 6. 3 декабря 1921**

\*\*\*. О «красном империализме». 1

Мих. Григорьев. Пути русской внешней торговли. 7

Ю. Потехин. Две правды (Достоевский и революция). 7

С другого берега: Ю. Стеклов, Н. Мещеряков, С. Борисов, Д. Варварин, Л. Троцкий, Н. Гредескул. 12

**№ 7. 10 декабря 1921**

Передовая. 1

\*\*\*. Россия и Франция. 4

А. Бобрищев-Пушкин. Об амнистии. 7

Ю. Ключников. Сила и Право. 10

Н. Насветевич. Оландский вопрос. 13

С.Л.<укьянов>. Восточная политика Советской России. 16

*Из России:*

П.С. Коган. Поэзия эпохи Октябрьской Революции. 21

**№ 8. 17 декабря 1921**

\*\*\*. «Оздоровление от окраин». 1

Мих.Григорьев. Кредит России и старые государственные долги. 4

Н. Насветевич. Оландский вопрос (Окончание). 7

А. Бобрищев-Пушкин. Кошунство. 11

Скиф. «Неслыханное чудо» (Маленький фельетон). 14

С.Л.<укьянов>. Прибалтийская Экономическая Конференция. 16

Студент. Из дневника студента. 19

*Из России:*

Н.С. Московские впечатления. 20

Э.Г.<оллербах>. В Эрмитаже. 23

**№ 9. 24 декабря 1921**

Ю. Ключников. Признание Советского Правительства. 1

\*\*\*. После Термидора. 5

С. Лукьянов. Из Фукидида. 8

Роман Гуль. Дом в Вечности. 13  
Н. Устрялов. Духовные предпосылки революции. 14  
*Из России:*

В. Муйжель. Атавизм. 18  
С. Членов. Интеллигенция на распутье. 19  
Т. [В.Г. Богораз]. Из Москвы. 22  
Из русской провинции. 23

### **№ 10. 31 декабря 1921**

Передовая. 1  
\*\*\*. От окружения к соглашению. 4  
Ю. Потехин. Борьба за личность. 8  
Н. Рыгалов. О русском Добровольном Флоте (Письмо в редакцию). 12  
*Из России:*  
И.Л.<ежнев>. Диспут (В Петроградском «Доме Литераторов»). Речи проф. Адрианова, В. Тана, С. Любоша, проф. Н. Гредескула, Губера, А. Шебунина, Гамза. 16

### **№ 11. 7 января 1922**

\*\*\*. «Гарантии». 1  
Мих. Григорьев. О денационализации банков. 6  
Н. Устрялов. Проблема «возвращения». 10  
П. Яковлев. Научная медицина в Советской России. 13  
А.В. Бобрищев–Пушкин. Кошмар Ивана Ивановича. 14  
Скиф. Plusquamperfectum. 17  
П. Садыкер. «Вехи Смен» (Лекция проф. А.М. Горовцева). 18  
С.Л.<укьянов>. Борьба с голодом в России. 21

### **№ 12. 14 января 1922**

\*\*\*. Историческая неделя. I. 1  
Ю. Ключников. Историческая неделя. II. 6  
П. Садыкер. Войны будущего. 11  
Н. Доклад Луизы Вейс. 14  
Скиф. «Свет с Дальнего Востока». 15  
Вадим Белов. Эволюция местной эмиграции (Письмо из Эстонии). 16  
Студент. Русское студенчество в эмиграции (Письмо из Праги). 18  
*Из России:*

Тан [В.Г. Богораз]. Вера в Россию. 19  
С. Членов. Революционная законность. 21  
А. Горовцев. Письмо в редакцию. 24  
Из хроники. 24

### **№ 13. 21 января 1922**

Ю. Ключников. Генуэзская Конференция. 1  
Мих. Григорьев. Об оздоровлении русского денежного обращения. 9  
А.В. Бобрищев–Пушкин. Бывшие торговопромышленники. 15  
Н. Устрялов. Эволюция и тактика. 17  
*Из России:*

Э. Голлербах. Охрана предметов искусства в Детском Селе. 20  
Из резолюций и постановлений IX Всероссийского Съезда Советов. 21  
Ред. [Ю.В. Ключников]. В Петрограде (Из письма). 24

**№ 14. 28 января 1922**

\*\*\*. После Канн. 1

Ю. Потехин. Россия и Австрия. 4

С. Лукьянов. Русско–Английские торговые переговоры. 8

*Из России:*

В. Муйжель. Вечером. 17

Ник.Ашешов. В свете истории. 20

Э. Голлербах. Заметки о художественной жизни. 23

Ю.К<лючников>. Из блок–нота. 24

**№ 15. 4 февраля 1922**

Ф. Кудрявцев. За неделю. 1

А. Бобрищев–Пушкин. Юридическое положение эмиграции. 5

С. Чахотин. Психология примирения. 9

А.А. Попов. В Пражском «Земгоре» (Письмо в редакцию). 11

Н.С. После Съезда Советов – перед Генуэй. 15

Г. Лукомский. Охрана памятников искусства и старины в России. 18

*Из России:*

А.А. Блок. Пушкинскому Дому. 21

Н. Ашешов. Цена варягов (Письмо из Петрограда). 22

**№ 16. 11 февраля 1922**

С. Лукьянов. Голод и политика. 1

Лекция д–ра Фр. Нансена. 4

Мих.Григорьев. Государственные тресты. 5

Н. Устрялов. Три борьбы. 10

Скиф. В «Архив Русской Революции». 14

Ред. [Ю.В. Ключников]. Добровольный флот и Союз Моряков (Письмо в редакцию). 16

*Из России:*

Е. Северская. Венец из терний и роз. 18

Вл. Лаврецкий. Петроградские письма (Новые и старые «Вехи»). 21

**№ 17. 18 февраля 1922**

Ф. Кудрявцев. За неделю. 1

Сергей Чахотин. «Чумазый» или «хам»? 9

А. Бобрищев–Пушкин. Перед Генуэзской конференцией. 12

К. Треплев. «Девятый вал». 15

С.Л<укьянов>. Беседа с проф. Ипатьевым. 18

*Из России:*

М.С–а. Письма из Москвы. I. 20

Н.С. Из писем петербуржцев и москвичей. 23

С. Членов. «Печать и революция». 23

С. Багоцкий. Письмо в редакцию Делегата Росс. Общ. Кр. Кр. при Междунар. Кр. Кресте. 24

**№ 18. 25 февраля 1922**

Ф. Кудрявцев. Пойдем за ним! 1

Доклад д-ра Нансена о голоде в России. 4

Ред. [Ю.В. Ключников] Упразднение В.Ч.К. 9

Н. Устрялов. Пророческий бред (Герцен в свете русской революции). 10

Георгий Лукомский. Почему и кем разорена русская усадьба? 16

Скиф. Центральная сила. 19

Ю. Потехин. Мировой кризис. 20

М. Гр. Библиография. 23

**№ 19. 4 марта 1922**

А. Султанов. Выступление кавказцев. 1

А. Львович. Фритьоф Нансен. 4

А. Кислицын, П. Стрегулин. Стихотворения. 6

Ю. Потехин. Мировой кризис. 7

А. Бобрищев-Пушкин. Китайские тени. 10

*Из России:*

Ред. В.М. Дорошевич (Некролог). 14

С-а. Письмо из Москвы. 14

В. Муйжель. Вниз и вверх. 17

Письма в редакцию: А. Бобрищев-Пушкин, Н. Рыгалов. 19

## Библиография произведений Н.В. Устрялова в периодической печати (1916—1920)

### 1916

[Рецензия:] Религия небытия. (В. А. Кожевников. Буддизм в сравнении с христианством. Петроград, 1916. Том I (стр. 633) и том II (стр.756). Цена не обозначена), «Утро России», 8 октября 1916 г.

Очередь за Россией, «Утро России», 2 декабря 1916 г.

[Рецензия:] Свящ. С. Шукин. Божеское и человеческое. К–во «Путь», 1916. Ц. 1 р. 30 к. «Утро России», 3 декабря 1916 г.

Цель и средства, «Утро России», 4 декабря 1916 г.

Концентрация зла, «Утро России», 11 декабря 1916 г.

За счет России, «Утро России», 15 декабря 1916 г.

[Рецензия:] Г.В. Плеханов. Интернационализм и защита отечества. Кн–во бывш. М.В. Попова, Петроград, 1916. Стр. 31. Ц. 40 к., «Утро России», 15 октября 1916 г.

### 1917

Товарищ и гражданин, «Народоправство», 16 октября 1917 г., № 12

Революционный фронт, «Народоправство», 19 ноября 1917 г., № 15

### 1918

Судьба Петербурга, «Накануне», 7 апреля (25 марта) 1918 г., № 1

Мнимый тупик, «Накануне», 14 (1) апреля 1918 г., № 2

### 1919

Новое счастье, «Свободная Пермь», Пермь, 3 января 1919 г.

Рыцари печального образа, «Свободная Пермь», Пермь, 14 января 1919 г.

Крушение интернационала, «Отечественные ведомости», Омск, 9 марта 1919 г.

Провокация, Пресс–Бюро, март 1919 г.

Международная перегруппировка, «Правительственный вестник», Омск, 16 марта 1919 г.

Политическое обозрение, «Сибирский благовестник», Омск, март 1919 г.

Наша международная ориентация, Пресс–бюро, Омск, март 1919 г.

Политическое обозрение, «Сибирский благовестник», Омск, апрель 1919 г.

Большевики и мы, «Сибирская Речь», Омск, 12 апреля 1919 г.

Уроки революции, Пресс–бюро, Омск, май 1919 г.

Итоги кадетской конференции, «Сибирская Речь», Омск, 28 мая и 1 июня 1919 г.

Союзнки и Россия, «Сибирская Речь», Омск, 18 июня 1919 г.

Международные перспективы, Пресс–бюро, Омск, июль 1919 г.

Судьба Сибири, «День казака», Омск, 19 августа 1919; «Русское дело», Омск, 31 октября 1919 г.

Русское дело, «Русское дело», Омск, 5 октября 1919 г.

После Версаля, «Русское дело», Омск, 7 октября 1919 г.

Обреченные, «Русское дело», Омск, 10 октября 1919 г.

Памяти А.С. Белорусова, «Русское дело», Омск, 11 октября 1919 г.

Борьба за Россию, «Русское дело», Омск, 16 октября 1919 г.  
Воскресение, «Русское дело», Омск, 17 октября 1919 г.  
Самостоятельность, «Русское дело», Омск, 18 октября 1919 г.  
Петушки, «Русское дело», Омск, 20 октября 1919 г.  
Власть и общество, «Русское дело», Омск, 22 октября 1919 г.  
Немецкая ориентация, «Русское дело», Омск, 24 октября 1919 г.  
Без маски, «Русское дело», Омск, 25 октября 1919 г.  
Россия и Англия, «Русское дело», Омск, 28 октября 1919 г.  
Священное единение, «Русское дело», Омск, 1 ноября 1919 г.  
В Иркутске, «Русское дело», Иркутск, 9 декабря 1919 г.  
Единство власти, «Русское дело», Иркутск, 11 декабря 1919 г.  
На перевале, «Русское дело», Иркутск, 12 декабря 1919 г.  
Цель и средства, «Русское дело», Иркутск, 13 декабря 1919 г.  
Призраки, «Русское дело», Иркутск, 17 декабря 1919 г.  
Распутье, «Русское дело», Иркутск, 20 декабря 1919 г.  
Читинский проект, «Русское дело», Иркутск, 23 декабря 1919 г.  
Оттепель, «Русское дело», Иркутск, 25 декабря 1919 г.  
В грозный час, «Русское дело», Иркутск, 26 декабря 1919 г.  
Два берега, «Русское дело», Иркутск, 27 декабря 1919 г.  
Вместо передовой, «Русское дело», Иркутск, 28 декабря 1919 г.  
После грозы, «Русское дело», Иркутск, 30 декабря 1919 г.  
Новый фазис, «Русское дело», Иркутск, 30 декабря 1919 г.

## **1920**

Их программа, «Русское дело», Иркутск, 2 января 1920 г.

## ***Под псевдонимом П. Сурмин в газете «Утро России» (Москва, 1916–1918)***

Смирение и терпение, «Утро России», 2 октября 1916 г.  
Уговаривают..., «Утро России», 6 октября 1916 г.  
Наши Архимеды, «Утро России», 7 октября 1916 г.  
Богатое царство, «Утро России», 12 октября 1916 г.  
Восемьдесят седьмая, «Утро России», 14 октября 1916 г.  
Искатель правды, «Утро России», 21 октября 1916 г.  
Россия строится, «Утро России», 28 октября 1916 г.  
Герцен и Польша, «Утро России», 29 октября 1916 г.  
Правительство и социалисты на Западе, «Утро России», 4 мая 1917 г.  
Бланкисты, «Утро России», 13 мая 1917 г.  
Социалисты и действительность, «Утро России», 26 июня 1917 г.  
Кадеты, «Утро России», 29 июля 1917 г.  
Подпольная психология, «Утро России», 3 августа 1917 г.  
Революция на распутье, «Утро России», 10 августа 1917 г.  
Государственное совещание, «Утро России», 12 августа 1917 г.  
Слова и факты, «Утро России», 18 августа 1917 г.  
Манифест большевиков, «Утро России», 20 августа 1917 г.  
Сила и слабость революции, «Утро России», 3 сентября 1917 г.  
Пауза, «Утро России», 10 сентября 1917 г.

- Народ и власть, «Утро России», 12 сентября 1917 г.  
Призраки, «Утро России», 13 сентября 1917 г.  
Сумерки России, «Утро России», 14 сентября 1917 г.  
В тумане будущего, «Утро России», 24 сентября 1917 г.  
В наши дни, «Утро России», 29 сентября 1917 г.  
Невидящие Россию, «Утро России», 4 октября 1917 г.  
Закат Петербурга, «Утро России», 8 октября 1917 г.  
Мания величия, «Утро России», 11 октября 1917 г.  
Диктатура пролетариата, «Утро России», 21 октября 1917 г.  
О мире, «Утро России», 12 ноября 1917 г.  
Ещё о революции, «Утро России», 16 ноября 1917 г.  
Сатурн, «Утро России», 22 ноября 1917 г.  
Русский бунт, «Утро России», 26 ноября 1917 г.  
Великий подвиг, «Утро России», 2 декабря 1917 г.  
Начало конца, «Утро России», 7 декабря 1917 г.  
Сомнение, «Утро России», 23 декабря 1917 г.  
Русская звезда, «Утро России», 24 декабря 1917 г.  
В рождественскую ночь, «Утро России», 24 декабря 1917 г.  
О злобе дня, «Утро России», 29 декабря 1917 г.  
У врат мира, «Утро России», 17 января 1918 г.  
У перевала, «Утро России», 21 января 1918 («Накануне», 7 апреля (25 марта) 1918)  
Новая война, «Утро России», 20 (7) февраля 1918 г.  
Конец большевизма, «Утро России», 28 (15) февраля 1918 г.  
Якобинцы (историческая справка), «Утро России», 15 (2) марта 1918 г.  
Уроки революции, «Утро России», 16 (3) марта 1918 г.

## Примечания

Подготовка текста О.А. Воробьёва. Статьи печатаются по второму, пересмотренному и дополненному изданию авторского сборника: *Н. Устрялов. Под знаком революции (Сборник статей)*. Харбин: Типография «Полиграф», 1927 (первое изд.: Харбин: «Русская жизнь», 1925), который полностью включил в себя первое авторское собрание: *Н. Устрялов. В борьбе за Россию. (Сборник статей)*. Харбин, 1920. С. 3–5 (Переизд. в составе сб.: *Н. Устрялов. В борьбе за Россию (Сборник статей)*. [США] 1987). Из издания 1927 года автором были исключены статьи: «Памяти В.Д. Набокова», «Из прошлого», «Генерал Пепеляев» и «Россия на Дальнем Востоке». В то же время во второе издание были добавлены статьи: «Национализация Октября», «Пестель», «Вперед от Ленина», «14-й съезд», «Кризис ВКП», «Оппортунизм», «О разуме права и праве истории», «Из записной книжки 1926–27 годов», «О русской нации».

Осенью 1925 г. экземпляры первого издания сборника поступили в Москву, где на него обрушилась советская критика (Зиновьев, Бухарин). Сборник, а также его критика в печати и сам автор широко обсуждались на открывшемся в декабре 1925 г. 14-м съезде ВКП(б). Наиболее ярко по поводу статей Устрялова высказывались Сталин, Л. Каганович, М. Томский, М. Рютин. Зиновьев, помимо выступлений на съезде, продолжил полемику и на страницах контролируемой им «Ленинградской правды». Комсомолец Рейнак–Бартольдov писал Н.В. Устрялову из Москвы 20 декабря 1925 г.: «Вы с замечательной ловкостью систематизируете факты советской жизни и из этого сделали вывод, что Советы перерождаются, что постепенно, путем незаметных отклонений от прежней линии, они идут к типу буржуазной государственности. Председатель Коминтерна, Зиновьев в своей брошюрке «Философия эпохи» старался Вашу теорию сбить с ног. Результат: «Философия эпохи» вышла весьма бледно, не опровергая основных Ваших положений. Я, лично, гражданин СССР, член Комсомола с шестилетним стажем, присматриваясь к окружающей меня действительности, прихожу к выводу, что начиная с 1921 года «линия» советской власти происходит. У меня, как у работника Комсомола, активиста накопилась масса



фактического материала о перерождении Комсомола» (Hoover Institution on War, Revolution and Peace. N. Ustrialov Collection. Box 1. Folder 4. #63. P. 101). Другие отклики на вошедшие в сборник статьи и сам сборник см.: *Б. Мирский*. Приходящие справа // Последние новости (Париж). 8 июня 1922; *С.С. Лукьянов*. Равнодействующая // Накануне (Берлин). 16 августа 1922; *А.С. Бубнов*. Три лозунга // Правда. 15 июля 1923; *И.Г. Лежнев*. Письмо проф. Н.В. Устрялову // Россия. № 9. М.; Пг., 1923. С. 5–11; *Виленский–Сибиряков*. СССР – земной шар по–советски // Известия ВЦИК. 11 июля 1923; *Г. Зиновьев*. Философия эпохи // Правда. 1 сентября 1925; *Н.И. Бухарин*. Цезаризм под маской революции. (По поводу книги проф. Н. Устрялова «Под знаком революции») // Правда. 13–15 ноября 1925; *А. Зайцев*. Об Устрялове, «не-оНЭПе» и жертвах устряловщины. М.; Л., 1928; *Б. Мирский*. Новый манифест сменовеховства // Последние новости (Париж). 23 августа 1925.

Все статьи сборника сопровождаются автором ссылками на издание и дату их первой публикации. Ряд из этих ссылок дополнительно авторскими комментариями о контексте публикации. Кроме последних, все они перенесены в нижеследующие примечания в интересах целостности текста.

### **Перелом**

Впервые: Вестник Маньчжурии. Харбин, 1 февраля 1920. Авторские переизд.: *Н. Устрялов*. Под знаком революции (Сборник статей), Харбин, 1925 (2 изд.: Харбин, 1927). С. 3–5 (далее – ПЗР-1925 и ПЗР-1927).

### **Интервенция**

Впервые: Новости Жизни. Харбин, 24 февраля 1920. Авторские переизд.: ВБР. С. 6–8; ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 6–8.

### **О верности себе**

Впервые: Новости Жизни. Харбин, 4 мая 1920. Авторские переизд.: ВБР. С. 18–23; ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 9–14.

### **Врангель**

Впервые: Новости Жизни. Харбин, 15 сентября 1920. Авторские переизд.: ВБР. С. 56–63; ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 15–21.

### **Перерождение большевизма**

Впервые: Новости Жизни. Харбин, 6 апреля 1921. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 27–32.

### **Наша генеалогия. (По поводу статьи А.В. Карташева)**

Впервые: Новости Жизни. Харбин, 15 мая 1921. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 33–35.

### **«Редиска»**

Впервые: Новости Жизни. Харбин, 22 мая 1921. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 36–40.

### **Путь Термидора**

Впервые: Новости Жизни. Харбин, июнь 1921. Авторские переизд.: Смена Вех. (Сборник статей), Прага, 1921 (советские неавторизованные переизд.: Тверь, 1922; Смоленск, 1922). ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 41–46. В последние

годы неоднократно переизд. в составе сборника «Смена Вех», начиная с последних советских переизданий: Вестник высшей школы. 1990, № 12; Литературное обозрение. 1991, № 7.

### **Национал–большевизм. (Ответ П.Б. Струве)**

Впервые: Новости Жизни. Харбин, 18 сентября 1921. Авторские переизд.: Смена Вех. № 3. Париж, 12 ноября 1921. С. 13–16; ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 47–53.

### **Сумерки революции. (К четырехлетнему юбилею)**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 7 ноября 1921 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 67–69.

### **«Вехи» и революция**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, ноябрь 1921 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 70–73.

### **Эволюция и тактика**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 20 ноября 1921 г. Авторские переизд.: Смена Вех. Париж, 21 января 1922 г., № 13. С. 17–19; ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 74–77.

### **Вперед от Вех!**

Впервые: «Смена Вех (Сборник статей)», Прага: Логос, типография «Политика», 1921 / Тверь, 1922 / Смоленск, 1922 (частично). Авторские переизд.: «Новости Жизни», Харбин, 7 января 1922 г.; ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 85–90.

### **Смысл встречи.**

### **(Небольшевистская интеллигенция и советская власть)**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 12 февраля 1922 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 91–98.

### **Потерянная и возвращённая Россия**

Впервые: «Русская Жизнь». Альманах. Харбин, 20 мая 1922 г., № 1. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 111–116.

### **Логика революции**

Впервые: «Русская Жизнь». Альманах, Харбин, июль 1922 г., № 2. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 117–127.

### **Годовщина**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 7 ноября (25 октября) 1922 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 136–138.

### **Основной «базис»**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 1 апреля 1923 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 147–150.

### **Сменовехизм**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 4 января 1925 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 192–196.

### **«Гетерогения целей»**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 19 апреля 1925 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 197–198.

**Оппортунизм**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 7 января 1927 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 199–203.

**Февральская революция. (К восьмилетнему юбилею)**

Впервые: «Вестник Маньчжурии», Харбин, март 1925 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 204–208.

**Обогащайтесь!**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 5 июня 1925 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 209–211.

**Национализация Октября. (К восьмой годовщине)**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 7 ноября 1925 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 212–218.

**Интеллигенция и революция**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 4 ноября 1921 г. Авторские переизд.: Духовные предпосылки революции: «Смена вех», Париж, 24 декабря 1921 г., № 9. С. 14–17.; Интеллигенция и народ в русской революции: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 248–255.

**Народ в революции**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 29 января 1922 г. Авторские переизд.: «Накануне», Берлин, № 1; Интеллигенция и народ в русской революции: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 255–262.

**Кризис современной демократии**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 1 октября 1922 г.; «Накануне», Берлин, 13 ноября 1922 г., № 185; «Новости Жизни», 7 ноября 1923 г.; «Новости Жизни», 10 января 1924 г.; «Накануне», 21 февраля 1924 г.; «Новости Жизни», 29 января 1924 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 263–267.

**Вера или слова? («Царство зверя» г. Мережковского)**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 20 апреля 1921 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 312–319.

**Русская звезда. (Отрывок из дневника)**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 8 апреля 1923 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 320–323.

**Трагедия правды.**

**(Памяти Л.Н. Толстого, как социального философа)**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 21 ноября 1920 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 324–328.

**Пестель. (К столетию 14 декабря)**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 27 декабря 1925 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 329–335.

**Пророческий бред. (Герцен в свете русской революции)**

Впервые: «Смена Вех», Париж, 25 февраля 1922 г., № 18. С. 10–16. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 336–345.

**Юбилей смерти**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 1 августа 1924 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 357–358.

### **Судьба Европы**

Впервые: «Россия», Москва, 1924, № 3(12). С. 121–132. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 358–368.

### **О русской нации**

Впервые: ПЗР-1927. С. 374–393. Авторское переизд.: Vseslavenski Zbornik. Zagreb. 1930.

### **Из записной книжки 1920 года**

Впервые: «Новости Жизни», Харбин, 28 ноября 1920 г.; «Новости Жизни», Харбин, 1 января 1921 года; «Новости Жизни», Харбин, 8 марта 1921 г. Авторские переизд.: ПЗР-1925; ПЗР-1927. С. 394–403.

### **Из записной книжки 1926–27 годов**

Впервые: ПЗР-1927. С. 403–415.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

### **Неизвестная статья Н.В. Устрялова: П. Сурмин. В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) (1917)**

Публикуется по: М.А. Колеров. Неизвестная статья Н.В. Устрялова: П. Сурмин. В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) [1917] // Русский Сборник: Исследования по истории России. XVI. М., 2014. С.481–494. Источник: П. Сурмин. В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) // Европа и Война. Россия и её Союзники в борьбе за цивилизацию. Т.Ш. Империализм и демократия. Издание Д.Я. Маковского. М., 1917. С. 5–15. П. Сурмин – характерный псевдоним раннего Н.В. Устрялова. В известных библиографиях автора не упоминается. Среди объявленных других участников издания: В.Я. Брюсов, П.Г. Виноградов, Э.Д. Гримм, Ф.Ф. Зелинский, Н.И. Кареев, Л.П. Карсавин, Ю.В. Ключников, С.А. Котляревский, Б.Э. Нольде, А.Л. Погодин, М.И. Ростовцев, Е.В. Тарле, В.М. Фриче и другие. Републикация М.А. Колерова.

### **Первая формула национал–большевизма: письмо Н.В. Устрялова к П.Б. Струве (1920)**

Впервые: М.А. Колеров. К истории национал–большевизма: письмо Н.В. Устрялова к П.Б. Струве (1920) // Россия и реформы. Вып. 3. М., 1995. С. 155–158.

### **Журнал «Смена Вех» (Париж, 1921–1922).**

#### **Роспись содержания**

Впервые: Исследования по истории русской мысли [3]. Ежегодник за 1999 год / Под ред. М.А. Колерова. М., 1999. Составитель – О.А. Воробьёв.

### **Библиография произведений Н.В. Устрялова в периодической печати (1916–1920)**

Составитель – О.А. Воробьёв

# Содержание

«Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Устрялова. <i>Модест Колеров</i> .....	5
Перелом .....	57
Интервенция .....	61
О верности себе.....	65
Врангель.....	72
Перерождение большевизма .....	80
Путь термидора .....	88
Национал–большевизм ( <i>Ответ П.Б. Струве</i> ).....	97
Сумерки революции ( <i>К четырехлетнему юбилею</i> ).....	105
«Вехи» и революция.....	109
Эволюция и тактика.....	114
Вперед от Вех! ( <i>«Смена Вех». Сборник статей. Прага, 1921 год</i> ).....	119
Смысл встречи ( <i>Небольшевистская интеллигенция и советская власть</i> ).....	127
Потерянная и возвращённая Россия.....	137
Логика революции.....	145

Годовщина.....	159
Основной «базис» .....	163
Сменовехизм.....	168
Два этюда .....	174
Февральская революция (К восьмилетнему юбилею).....	183
Обогащайтесь.....	189
Национализация Октября (К восьмой годовщине).....	193
Интеллигенция и народ в русской революции .....	202
Кризис современной демократии.....	222
Вера или слова? («Царство Зверя» г. Мережковского).....	248
Русская звезда (Отрывок из дневника) .....	258
Трагедия правды (Памяти Л.Н. Толстого, как социального философа).....	263
Пестель (К столетию 14 декабря).....	269
Пророческий бред (Герцен в свете русской революции).....	278
1914–1924 .....	291
О русской нации .....	307
Фрагменты.....	333
Приложения .....	363
Неизвестная статья Н.В.Устрялова: П.Сурмин. В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) (1917) .....	363
Первая формула национал-большевизма: письмо Н.В.Устрялова к П.Б.Струве (1920) .....	380
Журнал «Смена Вех» (1921-1922). Роспись содержания .....	384
Библиография произведений Н.В.Устрялова в периодической печати (1916-1920).....	389
Примечания.....	392

**Устрялов Н.В.**

- У82 Под знаком революции. Национал-большевизм.  
Избранные статьи 1920-1927 гг. /  
Ред.-сост. М.А.Колеров. М.:  
Издание книжного магазина «Циолковский», 2017 г. – 400 с.

ISBN 978-5-9500361-4-9

Трудно представить себе, кто ещё в России XX века пользовался таким громким влиянием на публичную политическую дискуссию и политическую борьбу в самых верхах власти, каким пользовался Николай Васильевич Устрялов (1890-1937), не будучи совершенно никем, кроме как просто «практическим философом» и публицистом, одиночкой, в чьи формулы решили вцепиться большевистские вожди Ленин, Бухарин, Троцкий, Сталин, нарицательное имя, жупел, от чьих формул шарахались вожди белой эмиграции. Когда настал этот интеллектуальный и властный триумф, Устрялову едва исполнилось тридцать лет. Когда триумф этот преодолел свой зенит, Устрялову едва исполнилось тридцать пять. Всё дальнейшее в его жизни было осознанной жертвой: причём в жертву, призванную подтвердить высшую ценность и искренность своей мысли, Устрялов принёс не только себя, вернувшись в Россию-СССР как раз накануне Большого террора, но и свою семью, последовавшую за ним.

УДК. 101.1:316(081)

ББК 87.6я44

© Составление и редакция. М.А.Колеров

© Подготовка текста и библиография О.А.Воробьёв

**Н.В. Устрялов**

# НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ



*Избранные статьи 1920-1927 гг.*

*Редактор-составитель М.А. Колеров*

*Издатели: Максим Сурков, Константин Харитонов*

*Обложка: Алиса Цыганкова*

*Верстка: Василий Востриков*

**16+**



**Книжный магазин «Циолковский»**

Философия, история, социология, богословие, научпоп,  
художественная литература, искусство, букинистика

**Адрес:** г. Москва, м. Новокузнецкая,  
Пятницкий пер. д. 8, стр. 1, 4 этаж.

[www.primuzee.ru](http://www.primuzee.ru)

(495)951-19-02